Ярослав Шипов

УЕЗДНЫЙ ЧУДОТВОРЕЦ


рассказы
рас
ска
зы
рассказы
рассказы


рас-
сказы
рас·сказы
рассказы

Ярослав Шипов

УЕЗДНЫЙ ЧУДОТВОРЕЦ

РАССКАЗЫ

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1990

ББК 84Р7
Ш63

Ш $\frac{4702010201 - 063}{М106(03) - 90}$ 150 — 99

ISBN—5—270—00765—7



УЕЗДНЫЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Живу я в «академическом» доме. Сосед слева — физик, справа — биолог. По вечерам они бегают от инфаркта. Бывало, встретимся, спросишь: что нового? «Еще одну частицу открыли»,— кричит, убегая, физик. «Еще один вид вымер»,— не останавливаясь, отвечает биолог.

Мой дед — Иван Ильич Ва́куров — родился сто лет назад в кромешной глуши. Детство и юность его скрылись за непроглядною мглою времен, и никто никогда уже не расскажет ни о его отце, ни о матери, ни о той школе, где он изучал «аз, буки, веди, глаголь, добро»,— памяти об этом на земле не осталось.

Потом наступил двадцатый век, произошла русско-японская, и дедушку мобилизовали. Первое дело, в котором ему довелось участвовать, случилось не под Мукденом и не под Ляояном, а в значительном от них отдалении — на перегоне Галич-Шарья. Здесь был обнаружен труп офицера, выпавшего из предыдущего эшелона, и новобранцу Вакурову приказали охранять этот труп до прибытия судебно-медицинских экспертов. Господин полковник самолично предупредил: «Дело это — государственной важности»,— и поинтересовался насчет дедушки:

— Он, часом, не япономан?

— Никак нет, ваше превосходительство, он— паровозофоб,— ответил штабс-капитан.

(Любовь к словотворчеству «на заграничный манер» впоследствии дорого обошлась господину полковнику: он был разжалован за то, что назвал генерала Куропаткина «простофилом».)

Остался Иван караулить — начальство обещало, что утром приедут доктор и военный прокурор. «А может,

сам господин генерал пожалует»,— обронил, между прочим, полковник.

Было полнолуние, глаза мертвеца и начищенные сапоги его жутко блестели, но Иван не отходил ни на шаг — исполнял маневр. И пролетали паровозы, осыпая что живого, что мертвого искрами, обдавая паром, дымом и кислым запахом перекалившегося угля. Как еще дедушку бутылкой не укокошили — прямо над головой просвистела.

Потом вдруг — поздно ночью уже — послышался вдалеке разговор. Иван насторожился. Глядит — человек идет.

— Стой!

— Это я,— говорит,— Нюра.— Баба, стало быть.

— А кто еще с тобой?

— Никого, одна я.

Подошла, увидела труп, заверещала, да к солдату на грудь: «Ой, боюсь! Ой, умираю! Ой, не могу!»

— А с кем это ты разговаривала?

— Ах, это вам приблазнилось.

— Дак вроде разговаривала.

— Ну, может, если только сама с собой, чтобы не так боязно было. Ну проводите же, а то я в омморок упаду или совсем умру,— и падает.

Испугался Иван, подхватил бабу:

— Так и быть, провожу, но недалеко: мне никак нельзя отлучаться — государственной важности...

— Ну хоть сколько-нибудь, а то такой интересант и такой бессердечный: я ведь совершенно умереть могу.

Повел он ее, а самому все чудится: шебаршит за спиной кто-то... Но только обернется, Нюра сразу: «Ах, умираю»,— хвать его за рукав и виснет. Сколько-то протащились, бабешечка поуспокоилась, поутихла.

— Благодарствую,— говорит.— Дальше я и сама дойду. Извиняйте, что оторвала вас от военного дела.

Расстались. Возвращается Иван, а подшефный его — без сапог. Вот те и Нюра. Стало быть, не одна она шла, а в компании... Сапоги же, надо сказать, стоили в ту пору бо-ольших денег. Ну, понятное дело, Ивана тут охватило отчаянье. Такое отчаянье, что другой кто не выдержал бы и руки на себя наложил. Однако дедушка воспитан был в сильной строгости, он полагал самоубийство тягчайшим грехом, да и приказ выполнять следовало.

Прибывшие утром эксперты обнаружили Ивана босым,

а офицера — в обмотках. Посмеялись, а потом старший из офицеров спросил:

— Грамотен?

— Так точно. Читать и писать умею.

— Будешь учиться на фельдшера... Здоров, грамотен, честен, с трупом обходишься по-свойски — что еще надо?

Так Иван оказался при госпитале. Тут как раз начались сражения, и учеба пошла донельзя споро. Круглые сутки везли раненых, хирурги махали ножами с виртуозностью кавалерийских рубак: ампутированные руки и ноги летели — знай успевай выносить, кровь лилась со столов на земляной пол, гнила в земле и смердила.

С войны Иван Ильич возвратился фельдшером. Военным фельдшером. То есть умеющим оказывать милосердную помощь пострадавшим от пуль, штыков, сабель, огня и осколков. Для мирного времени этого не хватало. Поэтому пришлось съездить в губернию на акушерские курсы, потом — на курсы дантистов и, наконец, на ветеринарные.

Родной городишко его располагался в такой труднодоступности, что доктора сюда почти не попадали. А если и попадали, то уж не задерживались. Лечить же и народ, и скотину, невзирая на незавидное расположение, было надобно. И он лечил... Но дело, строго говоря, не в этом — не в общественной полезности его деятельности — полезность тут очевидна, бесспорна, и более к сему ничего не добавишь. Дело в том, что жизнь свою Иван Ильич воспринимал до невероятности однозначно: как служение. Он полагал, что в этом служении его человеческий долг на земле, и нисколько не роптал на неудобства, неизбежно сопутствующие подобному отношению к цели существования: в любое время, в любую погоду за фельдшером можно было прийти, и он, не поворчав и не вздохнув даже, смиренно отправлялся к больному.

Денег Иван Ильич не брал. Между тем семья у него была немаленькая — шестеро детей. То есть всего — девятеро, но трое умерли во младенчестве. Вся эта семья жила на фельдшерское жалованье, ну и, само собой, огород выручал. Можно предположить, что бабушку его стойкость по отношению к материальным соблазнам не приводила в восторг, однако сознание этой

деревенской женщины не было помрачено туманом эмансипации: она имела ясное представление о своем месте и потому никаких претензий к Ивану Ильичу никогда не высказывала. Возможно, именно это обстоятельство и придавало их семейной жизни необыкновенную прочность.

А еще Иван Ильич сроду ничего не копил, да и домашним не позволял. Он говорил так: если у тебя копится, значит, кому-то недостает.

Каким образом шло развитие этой натуры — неведомо. Одно точно: душа Ивана Ильича, выпестованная катехизисом и Домостроем, оказалась вполне подготовленной к пожизненному служению милосердием.

Лекарское пристрастие передалось от Ивана Ильича детям, внукам и даже правнукам. Впрочем, это не повлекло за собой наследования иных его добрых качеств.

Женился дедушка романтически — невесту взял из Трескова, самой волчьей деревни во всем уезде. Надлежит указать, что в местности той и сейчас волков тьма-тьмущая, а тогда — воображением не охватишь. Иван Ильич хранил на крыльце заряженное ружье и неоднократно бивал зверей прямо во дворе, огороженном, как и все прочие дворы этого города, полуторасаженным глухим забором.

Зимой дело было, ехали в санях,— а от Трескова езды верст десять,— волки и налетели. Передал Иван вожжи невесте, сам — отстреливаться. И все бы благополучно, да один пустяк: с невесты платок сорвало. Потом, когда уже спаслись от волков, разыскали и чем повязать невесту — все ж не с пустыми руками она ехала, кое-какое приданое везла. Вскоре, однако, дня через два-три, открылась у нее простуда, стали побаливать уши. Иван Ильич перепробовал известные ему средства, свозил супругу к губернским врачам, но слух ее все слабел. Через несколько лет она оглохла.

Впрочем, и это обстоятельство не ослабило их взаимной привязанности, привязанности, которую каждый из них хранил до последних дней: Иван Ильич ненадолго пережил бабушку, умер он на ее могиле.

Печальному сему событию суждено было произойти в тысяча девятьсот сорок шестом году, женился же

дедушка в тысяча девятьсот шестом, то есть впереди еще оставалось сорок лет жизни.

Три года из сорока ушли на очередную войну — империалистическую, которую Иван Ильич добросовестно отработал в полевых лазаретах двух фронтов: сначала — отступавшего Северо-Западного, затем — блистательно наступавшего Юго-Западного. Домой попал в самом конце семнадцатого. Не успела бабушка высушить слезы радости, как в дверь постучали и на порог ввалился мужик:

— Спаситель! Приехал! Батюшка! Иван Ильич! Дите помирает!..

— Иду, голубчик, иду. Сейчас... Только вот саквояжик возьму...

С саквояжем этим Иван Ильич в мирной жизни не расставался. На ярмарку ли идет, на рыбалку: всегда в руке саквояж. Даже на охоту таскал: бродит, бродит по лесу, выйдет к какой-нибудь деревеньке — погреться, чайку попить, заодно и с народишком пообщается: того послушает, тому порошочков даст, тому ранку полечит. А хозяевам, которые его угощали, обязательно дичину оставит — рябчиков, тетерочку: даже пустячной прибыли не сносил.

Бывало, спешит со своим саквояжиком по узенькому дощатому тротуару — они сохранились в городе и поныне,— навстречу священник. Остановится Иван Ильич:

— Эх, батюшка, грешен я, грешен — сколько времени уже в храм не захожу...

Тот ему:

— Да что ты, отче?! Если и есть душе твоей сокрушение, так в этом мой грех — мало, значит, молюсь за тебя. Что ты?! Ты уж беги, беги. Не останавливайся.— Благословит фельдшера да еще и вслед не единожды перекрестит.

Когда я родился, Ивана Ильича уже не было. Рассказывали же мне о нем крайне немного. И вероят-

но, причину этому следовало бы искать в охватывавшей нас спесивости: слово «гордость», которое от веку обозначало собой наиболее низменное человеческое свойство, незаметно оборотилось в символ вполне добродетельный. Приличным становилось гордиться званиями, накоплениями, кичиться наградами, успехами, должностями. Понятие престижности завоевывало признание общества и начинало собирать душегубительную свою дань.

Естественно, провинциальный фельдшер оказывался в этих условиях фигурою малопривлекательною, предком, что называется, незавидным. Однако, начав ездить на его родину, я обнаружил, что фельдшера помнят, хотя к той поре со времени его кончины прошло уже лет двадцать пять. Более того, почтительность и благодарственность, окружавшие его имя, были столь велики, что перепадало и мне — совсем, конечно же, незаслуженно. Но пока неграмотная душа моя робко поворачивалась к Ивану Ильичу, люди, знавшие его, уходили и уходили. В конце концов достались мне одни крохи: разрозненные картинки жизни его.

Во всяком незначительном городишке — так уж заведено — существует шальной краевед, тщащийся доказать, будто все великое на земле произросло из его местности. Вот и здесь нашелся такой. Он быстренько объяснил мне, что половина российских гениев и героев так или иначе причастна этой отчаянной глухомани, скорее даже не половина, а значительно более того, правда, у него пока не хватает свидетельств доказать, но это лишь дело времени...

Потом в ворохе знаний своих краевед отыскал кое-что, представлявшее интерес и для меня.

Жил некогда в уезде до чрезвычайности богатый помещик. Прославился он тем, что в годы подготовки реформы сам попросил у государя вольную для своих крестьян. Государь, надо полагать, увлекся возможностью произвести пробу и высочайшим рескриптом пожаловал всем его крепостным вольную.

Освобождение свое они восприняли как знак барского недовольства: начались обиды, народом овладело уныние,

и барину большого труда стоило вернуть в свои земли уверенность и покой. Ни один человек дома родного не оставил.

Об обстоятельствах опыта и о поистине идиллическом его завершении было, разумеется, доложено государю. Что думал он по этому поводу, мы уже не узнаем, но известно, что помещик, о котором идет речь, был экземпляром не самым типичным и потому едва ли многого стоил опыт с его крепостными. Дело в том, что человек этот являл собою пример охотничьей безграничности, то есть, с одной стороны, он и страсти своей предавался безгранично, а с другой — охотничья его известность не признавала ни уездных, ни губернских, ни даже государственных границ.

Крестьяне, ему принадлежавшие, ничего не сеяли, но занимались прасольством. А когда из Москвы приезжал барин... нет, не так... Когда барин, скакавший словно на сечь, влетал наконец в свои угодья, крестьяне отбрасывали всякое полезное дело и, надрывая глотки, вопили «ур-ра!». Начиналась охота: гончие, борзые — праздник! Интересно, что угодья его резко отличались от окружения: просторнейшие луга с оврагами и островками леса — чистая полустепь, тогда как на много верст кругом — буреломы и всё предремучие.

Отохотившись, он убывал в Москву, и снова по деревням тишь да спокойствие. Чего ж оставлять такого барина? Конечно.

Как-то гоняли лису — не складывалась охота, долго гоняли. И вот, когда собаки должны были уже взять зверя, баба-дура возникла: как получилось — никто не видел. Подскакал барин к лесу: баба орет, борзые рядом стоят, а лисы нет. В сердцах стеганул бабу арапником, развернулся да и назад. Вечером сказали ему, что баба преставилась — по горлу он ей попал...

Барин положил пенсион сиротам, вышел в отставку, осел в Москве, ходил каждодневно в церковь, подавал нищим и через несколько лет умер со словами: «Нет мне прощения и не будет».

Сын его совершенно не имел черт, сделавших известность отцу. Да это и понятно: воспитывался он в то время, когда отец безуспешно усердствовал на ниве искупления тяжкой вины. Молодой барин вырос человеком необычайно сдержанным — и в движениях, и в словах. Получив значительное образование, он начал серьезно за-

ниматься экономическою наукой и попал в число тех, кто волею обстоятельств был подвигнут на поиски выхода из смятения, в котором после японской войны пребывала Россия.

Люди эти, известно, взялись за дело резво, и Европа вскорости поняла, что, если не втянуть Россию в новую войну, ее, быть может, уже и не остановишь...

Ивану Ильичу пришлось раз принимать роды у жены молодого барина, однажды он выдергивал зуб самому помещику, но более всего семья эта подружилась с фельдшером, когда он вылечил старого кучера. Старик этот был мужем несчастной бабы, некогда убитой арапником, и молодой барин, взваливший на себя бремя отцовского долга, умолял спасти старика. Фельдшер и сам проникся чужой виной, но — чахотка... Разве ее одолеешь?

Отступила, однако. Как? Кто ж знает. И фельдшер не знал — лекарств у него не было. Он, сдается мне, лечил более всего разговорами.

Если барин был молчалив, то уж кучер — напротив: и кашляет, а все бормочет. От него фельдшер узнал, что у молодого барина много врагов.

— Как же так?— не понял Иван Ильич.— Он ведь вроде за мужика, за Россию...

— В точности,— согласился старик.— За Россию, за мужика, оттого и враги.

— Да кто же они?

— Книжники и фарисеи,— удивляясь фельдшерову недоумению, объяснял больной,— кто же еще?

А затем сообщил и главный секрет:

— Скоро развалюция будет.

Но это Иван Ильич совсем уже отказывался понимать.

Короче говоря, все они утверждали, что лучшего лекаря нет и быть не может. То есть Иван Ильич определенно стал семейным доктором этой фамилии.

Примерно через полгода после возвращения фельдшера с империалистической войны молодой помещик оказался в уезде: он направлялся в свое имение, чтобы взять некоторые, должно быть, весьма необходимые ему бумаги. Зайдя в избу к фельдшеру, он сказал:

— Иван Ильич, дорогой, собирайтесь. Едем в Париж. Все, все вместе: с супругой вашей, с детьми. Едемте. Я назначу вам хорошее жалованье... Мы так привыкли

к вам, вы — совсем не то, что эти бездушные городские доктора...

Дедушка выслушал, за доверие поблагодарил, а потом и говорит:

— Это немыслимое дело.

— Вы же нищий здесь, а там я устрою рекламу — озолотитесь!

Иван Ильич даже растерялся, услышав такую, по его мнению, глупость от образованного человека:

— Желанный, да как же вы?.. Да за право жить здесь и заплатить можно...

— Если б жить! А то — страдать, мучиться, терпеть издевательства... А потом погибнуть какой-нибудь нелепой и пустой смертью.

— Дак за право умереть здесь и тем более заплатить следовает...

— Интересно... интересно...

Интереснее всего, что помещик этот не покинул России. Жизнь его оборвалась в 1920 году. При каких обстоятельствах — неизвестно, где он похоронен — тоже неведомо.

Узнал я и еще одну историю, совсем коротенькую. Будто в ноябре сорок первого дедушка сумел предсказать дату контрнаступления под Москвой.

Дело было в больнице. Хворый народ рядил, гадал, и все упирались в двадцать первое декабря — в день рождения вождя нашего.

— Устрашительно,— согласился дедушка.— Очень даже. Но сподручнее все-таки шестого — в день Александра Невского. Единственный святой, который бил немца, так что подходяще шестого начать.

Ну вскоре, понятное дело, дедушку разлучили с бабушкой и, по слухам, пригрозили легонько, мол, держись теперь, мракобес, доберется теперь до тебя товарищ Емельян Ярославский! Но тут как раз подоспела сводка о начале контрнаступления, и фельдшер оказался в совершенных героях — одни стали приписывать ему дар прорицания, другие поговаривали о его тайных — через посредничество воюющего на фронте сына — связях со ставкой. А он лишь недоумевал: когда как не на Александра Невского начинать подобное дело? Чего же тут непонятного?

В конце сорок четвертого он предсказал еще, что окончится война «на Егория», потому как и «главный полководец у нас Егорий», да и вообще —«так сподручнее». То ли он староват стал, то ли ход его рассуждений был на сей раз недостаточно точен, только уж просчитался фельдшер. Чуть-чуть, в три денька, а просчитался. Случись такое в сорок первом году — несдобровать бы ему, а тут — простили. Правда, пожурили для строгости: «Жаль, не слышит тебя теперь товарищ Емельян Ярославский»,— но простили.

Когда умерла бабушка, Иван Ильич стал пропадать на погосте. Народ захаживал за ним и сюда. И фельдшер, по обыкновению безропотно, отправлялся, куда звали. Здесь, на погосте, он и успокоился: саквояжик в этот миг был при нем.

Сосед слева — физик, справа — биолог. По вечерам они бегают от инфаркта. Бывало, встретимся, спросишь: что нового? «Еще одну частицу открыли»,— кричит, убегая, физик. «Еще один вид вымер»,— не останавливаясь, отвечает биолог. Так и живем.

Так и живем.

СТАРЫЙ УЧЕБНИК



борник арифметических задач, издававшийся во времена, которые мало кто теперь помнит, мог бы ошеломить не только нынешнего старшеклассника, но, пожалуй, и нынешнего студента. Скажем, вот.

«Некто оставил трем сыновьям вексель в 28034 рубля, который был учтен ими математически по 8,4 процента за десять месяцев до срока с тем, чтобы они распределили его обратно пропорционально их возрасту. Лета младшего относятся к летам среднего как 0,045 к 7/111, лета среднего составляют 0,875 лет старшего, младший моложе старшего на девять лет. Капитал младшего сына был помещен по пять с половиной процентов; средний сын приобрел на оставленные ему деньги четырехпроцентных бумаг по курсу восемьдесят; старший купил землю по сто сорок рублей за десятину и отдал ее в аренду по семь рублей в год с десятины. Определить, сколько лет каждому из братьев и чей капитал помещен выгоднее?» Это — далеко не самая сложная, хотя и не самая простая задачка из четырех тысяч, предназначенных для учащихся реальных училищ, гимназий и семинарий. Приказчикам больших магазинов надлежало решать такие задачи с ходу и только в уме.

Однако книжка достопримечательна еще и вот почему: автор ее частенько державал неизменяющееся пари, что всякое событие всякой жизни можно легко изложить в нескольких строках школьной задачки. «Свадьба? Пожалуйста! Смерть? Чего проще!» И действительно, в каждое переиздание он включал все новые и новые истории человеческого бытия, а значит, новые и новые пари выигрывал. Он вообще был удачлив.

Книжки его расходились мгновенно, их покупали не только учащиеся, но также лавочники, купцы, помещики, генералы, ростовщики... Покупали, разумеется, вовсе не из желания повторить правила и поупражняться в

решении арифметических задач, а для того, чтобы на досуге заняться разгадыванием наиновейших включений.

— Так, стало быть,—морщил лоб владелец шляпного магазина где-нибудь на Кузнецком и в очередной раз повторял:—«Торговец закупил партию сукна, платя за аршин три рубля двадцать восемь копеек. Перевоз по реке обошелся ему...»

— Про Абрикосова,— вновь пытался уверить его приказчик.

— Думаешь, Абрикосов?— Он поднимал голову от учебника, взгляд его устремлялся за окно и замирал на недвижной точке, невесть как найденной в мельтешении шляпок, зонтов и вуалей.— Савватеев это,— нерешительно предполагал он.— Абрикосов нынче сукном ни в одном магазине не торговал.

— А тут и не сказано, чтоб торговал: купил! А он совершенно вполне мог приобрести и придерживать — цену ждать...

— Да у него и складов-то подходящих нет, а у Савватеева... Погоди, погоди-ка... Так это ж Кузьмин!

— Точно! Кузьмин! В Нижнем Новгороде!

— Ну! И по Волге доставил!..

Той же порой в другом доме на другой улице стареющая графиня выговаривала супругу:

— Не послушались меня, сударь мой, поленились в Верею съездить, а Дурасов не проморгал, и вот, пожалуйста: «...заливные луга по девяносто рублей за десятину, шестьдесят десятин лесу по двести пятьдесят два рубля». О внуках, сударь мой, не думаете: усадебка там хотя и невелика, да новехонька, а отдали — почти даром.

То есть задачник этот, кроме прямого своего предназначения, обнаруживал еще и иные, подчас несколько неожиданные направленности. То ли автор таким вот образом удовлетворял тайную беллетристическую страсть, то ли, может быть, завоевывал популярность, то ли он, попросту говоря, шалил — трудно теперь сказать, да и не о том речь: в задачник этот вкраплены биографии ряда интереснейших людей своего времени. В частности, небезызвестных купца М. и банкира Д. Д.

Вот как, если, конечно, освободить текст от помрачающей восприятие арифметической сложности, описана жизнь М.

«Купец имел начальный капитал восемьдесят тысяч рублей. В первый год своего торга он получил убытку пять тысяч рублей, во второй — барыша семь тысяч рублей, в третий — также барыша двенадцать тысяч рублей, в четвертый — опять убытку две тысячи...

Слуга нанят за сто сорок четыре рубля в год. По прошествии семи месяцев он получил шестьдесят рублей и платье...

Начав в 1880 году торговлю с капиталом восемьдесят тысяч рублей, купец в 1910 году имел два миллиона...

Купец пожертвовал десять тысяч рублей на строительство шоссе, пятьдесят процентов этой суммы на богадельню и двести процентов на церковь...

Для ярмарки были наняты сто работников, с тем чтобы за каждый рабочий день они получали по одному рублю двадцать пять копеек, а за гулевой день сами бы платили хозяину по семьдесят пять копеек...

Купец имел тридцать два магазина в Москве, двадцать семь в Петербурге, шесть в Нижнем Новгороде, два в Твери, по одному в Астрахани, Галиче, Вятке, Великом Устюге и двадцать восемь в Сибири...

В больнице из двадцати холерных умерло трое...

Купец завещал одну двадцатьчетвертую своего состояния на музей, столько же на строительство церкви, девять сорок четвертых остатка на школу, восемь двадцать восьмых нового остатка на богадельню, а остальные деньги положил в банк по пять процентов, с тем чтобы четверо его сыновей пользовались ежегодным доходом в шестнадцать с половиною тысяч каждый...»

А вот краткая биография банкира Д. Д.

«Комиссионеру было поручено продать дом не менее как за двадцать пять тысяч рублей, причем в вознаграждение ему обещано два процента от этой суммы; а если бы ему удалось продать дом дороже, то сверх условленных процентов в его пользу должна остаться половина излишка цены; дом продан за тридцать тысяч...

Некто дал взаймы три тысячи рублей по пять процентов...

Некто дал взаймы шесть тысяч рублей по восемь процентов...

Некто дал взаймы восемнадцать тысяч рублей по

девять с половиной процентов (проценты сложные)...

Банкир купил на одиннадцать тысяч рублей акций, причем за каждую акцию платил меньше ее номинальной цены; через несколько времени он продал эти акции, получив за каждую дороже номинальной стоимости...

Банкир перевел в Берлин через Амстердам четыре миллиона рублей. Сколько марок окажется на его счету в Германии, если за тридцать девять рублей дают в Голландии пятьдесят гульденов, а за один гульден дают в Берлине одну марку шестьдесят девять пфеннигов и за перевод денег надобно заплатить один процент?»

Случилось так, что младший сын купца М. и единственный ребенок банкира Д. Д. росли вместе: учились в одной гимназии (по этому самому учебнику), потом оканчивали университет (слушая лекции автора этого учебника), наконец, сын купца завел свое дело, а сын банкира вошел в дело родителя. Тут жизнь развела их: Д. Д. сделался челноком между Петербургом и Западною Европой, а М. попал на Дальний Восток, где вел не очень прибыльную торговлю с заграницею. Сначала по поводу отъезда М. из столицы ходили исполненные недоумения слухи, но со временем утвердилась мысль, что шаг этот вызван унаследованным от отца качеством натуралиста и пристрастием к зверовой охоте. Общество скорехонько успокоилось и позабыло незадачливого торговца.

Между тем он прожил на Дальнем Востоке до начала двадцатых годов, и о последних днях его пребывания на российской земле кое-что, хотя и немного, известно. Трудно вот только сказать, для чего более сведения эти пригодны: для того, чтобы осветить судьбу отпрыска семьи М. либо, наоборот, для того, чтобы сокрыть ее мраком. Но как бы там ни было, известно вот что.

Когда после неоднократной смены властей город захватили японцы, М. вдруг заметил, что за ним следят: одетый под мастерового мужичок стал то и дело попадаться на улицах. Тут в городе появился и Д. Д.-младший: он уезжал из России через Дальний Восток и заскочил проведать друга. Ужинали в ресторане. Пока сцена была пуста, вели беседы элегического характера, потом пришел куплетист: «Ах, мои курочки, такие дурочки, такие дурочки, все — монамурочки», пел он, ударяя по клавишам маленького аккордеона и одновременно отбивая

чечетку. Никаких дурочек в ресторане, увы, не было — канкан разбежался год назад.

— Он тут так и пляшет при всех властях?— поинтересовался Д. Д., указывая на куплетиста.

— Наверное,— равнодушно отвечал М. И тут разговор принял неожиданный оборот:

— Ты не завербовал его?

— Не понял...

— Не прикидывайся,— усмехнулся Д. Д.,— я все знаю.

— Что именно?

— Что ты здесь не по торговым делам. Или точнее: не столько по торговым. Что ты представляешь интересы главнейшего из секретных департаментов Российской империи. Что твои магазинчики в разных странах, это — сеть...

— Ты, братец, здоров ли?

— Вполне... Мой родственник стал большим человеком у красных: он сам видел кое-какие документы и сообщил о них мне.

— Ну-ну. А что ты не остался при своем родственнике?

— Зачем хорошим людям быть в одном месте? Хорошие люди должны быть везде... Но слушай: мы могли бы продать твою сеть японцам или американцам — все равно России она теперь не нужна... Я бы взял только пятьдесят процентов... Или даже сорок, пускай...

— Бред.

— Подумай... У тебя молодая жена, дети...

На следующий день М. проводил жену и двоих детей к знакомому охотнику, жившему на окраине города,— тот обещал переправить их в отдаленное займище. Филер снова следил.

Вечером, возвращаясь домой, М. зашел в темный подъезд двухэтажного кирпичного особняка, оставленного жильцами. Подождал. Дверь медленно приотворилась. М. выстрелил: вспышка озарила на миг не успевшее испугаться лицо «мастерового», и, перешагивая через падающий навзничь труп, М. вышел на улицу.

Потом была принудительная эвакуация: пароход, толпа пассажиров на палубе. Японский патруль, продираясь от одного пассажира к другому, проводил досмотр личных вещей. М. раскрыл перед солдатами саквояж и в это

мгновение услышал голос Д. Д., который с почти истеричною торопливостью объяснял что-то отставшему от патруля переводчику — русскому офицеру: «немедленно», «сеть», «японцам», «переведите немедленно»— долетало до слуха.

— Я тебе сейчас «продам», гнида!— и переводчик обрушил на голову Д. Д. кулак.

Тотчас рядом возникли еще несколько офицеров, банкира скрутили и куда-то поволокли.

— Господа, убедительная просьба: не расстреливайте на палубе!— прокричал с мостика капитан.

Д. Д. не расстреляли — его выбросили на пирс. Прямо с палубы.

Патруль протискивался дальше.

— Так куда же все-таки нас повезут — на Сахалин или в Японию?— полюбопытствовала у М. прижатая к его локтю старушка.

— Не знаю,— отвечал он.

— В Японии русским не жизнь,— сказал кто-то.— Лучше — в Австралию...

— Или в Китай,— присоединился кто-то еще.— Там хоть, в Харбине, наших много...

— Из Японии зато можно в Америку: говорят, пароходы один за другим идут...

— А что за нация в Новой Зеландии, никто не знает?..

— Туземцы...

— Тогда уж лучше в какую-нибудь Аргентину...

— И чего это япошки не стали оборонять город?..

— Сил не хватает...

— А у большевиков, что — очанно много сил?

— Да говорят, эти, которые подходят, и не большевики вовсе, а какие-то бандиты или партизаны...

— Армия Дальневосточной республики...

— Наоборот: они против Дальневосточной республики...

— Какая разница: грабят да убивают — все Приморье кровью залили...

— Так куда же все-таки нас повезут?..

— Неизвестно...

— Может быть, и вернемся еще...

— К разбитому корыту...

— Хоть так...

— Господа,— вновь принялся кого-то увещевать капитан,— я же просил: не расстреливайте на палубе.

Пароход отчалил.
— Так куда же все-таки нас везут?..

Автор знаменитого учебника арифметики не дожил до этих дней, которые никакой алгеброй не поверишь: он умер, так и не проиграв ни одного пари. Он вообще был удачлив.

СЧЕТ



рату было шесть, сестре — двенадцать. В конце лета их вывезли из Москвы.

Вокзал, ночь, затемнение. Крики, плач. Холодные, неотапливаемые — чтобы не было искр над крышей — вагоны. Ни матрацев, ни одеял. На нижних полках самая мелкота валетом по двое, на верхних — старшие по одному. Наглухо зашторены окна, но свет все равно не зажигают — фонари только у проводников.

Полустанки, разъезды, станции. На станциях — кипяток. Воспитатели заваривают в бидонах чай — морковный, фруктовый, выдают сухие пайки. Семафоры, водокачки, стрелки, тупики, мосты, у мостов охрана, зенитки.

Далекая заволжская станция, колонна крытых брезентом грузовиков, разбитый проселок, лужи, грязь. Лес, убранные поля, среди полей — деревеньки. Снова лес, лес, лес. Наконец двухэтажное здание бывшего дома отдыха.

Среди ночи подъем — «тревога». Директор интерната — лихой, веселый мужчина в морской фуражке, летчицкой куртке, с кобурой на боку — выстраивает в коридоре старших, сообщает, что в районе кладбища высадился вражеский парашютист, которого надо обезвредить, и приказывает: «Вперед! Стране нужны только сильные люди!»

Гонит их на погост, заставляет ползать между крестами, потом дает «отбой». Одних благодарит «за смелость и мужество», другим выносит взыскания «за малодушие». «Тревоги» отныне следуют через ночь, по ночам же устраиваются пионерские сборы и заседания совета дружины.

Однажды на легковой машине прибывает начальство — гражданское и военное. Осматривают противопожарный инвентарь, заглядывают в продовольственную

кладовку, дровяной сарай, проверяют документы у взрослых, и, к всеобщей неожиданности, интернат оказывается без директора.

— Это недоразумение,— успокаивает он растерявшихся подчиненных,— кое-каких записей не хватает.

— На фронте добавят,— мрачно шутит военный и протягивает руку:— Оружие...

Директор расстегивает кобуру, передает револьвер и стыдливо опускает глаза: «Ненастоящий».

За неимением выбора новым руководителем назначается доставленный из ближайшей деревни бывший конюх.

— Титов? Иван Валерианович?— спрашивает военный, разглядывая конюхову справку.

— В точности так, Аверьяныч я.

— Действуйте.

С тем и уехали.

Первым делом воспитательницы робко поинтересовались, как часто будут теперь устраиваться «тревоги». Аверьяныч, не успевший еще, кажется, осознать, что сталось, обвел всех рассеянным взглядом и тихо сказал: «Пошто зря ребятишек мучить? Да и покойников гневить грешно...»

Собрали во дворе детей, представили им нового директора.

— Вот что,— проговорил он, когда толпа, обсудив случившееся событие, попритихла. Откашлялся и повторил:— Вот что... Война, по всему видать, к зиме не кончится, стало быть, про дрова думать надо, про харчи. Запасов ваших... наших то есть... надолго не хватит. Так что, хорошие вы мои, жизнь у нас с вами пойдет такая: которые еще совсем малые — не ученики,— тех за ворота не выпускать, не потерялись чтобы. Остальные — и вы, гражданки учителки, тож, извиняйте, конечно,— разделимся на бригады, работать будем: дрова заготовлять, грибы, ягоды...

— Урра-ааа!— закричали дети.

— Поголовье сохранить надобно,— сказал еще он, но этих слов никто уже не услышал.

«Здо́рово-то как!— подумала сестра.— Жаль, что война скоро кончится». Предыдущим вечером она по просьбе старухи нянечки читала вслух письмо из Ленинграда.

Письмо было июльское, читанное не единожды, старуха знала его наизусть и, одобрительно кивая, повторяла шепотом: «Дедушка ваш задерживается... по причине военных действий... дороги закрыты... временно... до октября... от Коли весточки нет... Алеша уехал... учиться на танкиста... Маруся». «Маруся — это невестка моя,— объясняла старуха,— Алеша — внучек, Коля — сынок, он моряк у меня, в плавании, а дедушко, вишь, попроведать внучека поехал, всего на неделю-то и собирался, да вот — по причине, до октября».

Шел сентябрь.

Аверьяныч спешил. Грибов запасли быстро: насолили, насушили, должны были вот-вот управиться и с ягодой: клюквой, брусникой. С дровами дело обстояло куда хуже: работники годились лишь чтоб собирать хворост. Конечно, начальство обещало прислать на несколько дней пару-тройку леспромхозовских вальщиков, но Аверьяныч, как всякий бывалый человек, следовал принципу: «На Бога надейся, а сам не плошай». Когда они смогут выбраться, лесорубы-то, да и достанет ли им времени заготовить дров на всю зиму — как-никак плита и четыре печки... Каждое утро, затемно еще, уходил Аверьяныч в лес, валил тонкомерные сухостоины, обрубал сучья, а хлысты выволакивал на просеку, с тем чтобы вывезти их потом на санях. Пока топили остатки прежних запасов.

Дни становились короткими, темными, снег шел, дождь моросил. Детей теперь не выпускали из дома. Болезни начались. Карантин отделил первый этаж от второго, и сестра, жившая со старшими на втором этаже, скопив косточек от компота, заворачивала их в бумажный фантик и опускала на нитке к форточке первого этажа — брату, гостинец.

Нянечка получила новое письмо: «Зачем вы только старика своего прислали? И так есть нечего, а тут еще он. Работать, видите ли, не может, только лежит да за сердце держится, а чем я его кормить буду? Знали, что больной, так и не присылали бы на мою шею нахлебника. Будьте вы прокляты!»

— Фашистка!— возмущенно воскликнула читавшая письмо сестра.

— Не знала я ничего,— качала головою старуха,— здоров ведь был, не хворал ведь... Да и войны тогда не было... Дедушко ты мой, дедушко, прости...— Она стянула с головы платок и долго сидела так, в неподвижности, не утирая слез.

Карантин вскоре пришлось отменить — чихали и кашляли все. Докторша не успевала ставить банки. Запасы лекарств, и без того ограниченные, иссякли.

— Что у тебя осталось?— спросил Аверьяныч.

— Канистра спирта, литр йода, бинты,— отвечала докторша.

За полканистры спирта он выменял где-то мешок горчичного порошка, за пузырек йода — корзину сушеной малины. Можно было лечить.

Весь вечер жарко топилась плита, пар из кухни валил, точно из бани; с ведрами, полотенцами бегали нянечки, воспитательницы, учителя, директор: понаставили всем самодельных горчичников, понапарили ноги, а потом еще напоили всех чаем с малиной и до утра простыни меняли у малышей. Утром интернат начал выздоравливать.

Но Аверьяныч попросил еще один пузырек йода: «Ослабли ребятишки, мясцом бы их подкормить». Однако мяса, против ожидания докторши, он не принес, зато принес дроби, пороху, и со следующего дня самым хилым да хворым стало перепадать по кусочку зайчатины или другой дичины. Потом навалило снегу, и старик охотиться перестал. Однажды еще он сменял двести пятьдесят граммов спирта на раздавленную лошадью курицу, но потом уже и менять нечего стало.

Поехал Аверьяныч в райцентр. Дали ему мешок овсяной муки, подводу картофеля, подводу моркови, бочку керосина, соль, спички, мыло.

Под Новый год Аверьяныч взял на берлоге медведя. Как это было — никто не видел, никто не знал. Когда директор вернулся, руки у него тряслись — не то от усталости, не то от пережитого. Но отдыхать было некогда, следовало поскорей вывезти тушу, чтоб волкам не досталась. И тут же, потемну, взяв с собой самых крепких теток из интернатского персонала, отправился он на санях в лес. Доро́гой заставлял напарниц петь погромче, и они усердно блажили, а на обратном пути Аверьяныч, шед-

ший за санями, то и дело поджигал в руках пучки сухих еловых веточек и, дав разгореться, бросал в снег. И уж неподалеку от дома, услыхав вой, он разочек бабахнул для острастки из двух стволов, так и добрались.

Медвежатины хватило надолго, но вот дрова скоро кончились: и прежние запасы, и заготовленные хлысты сушняка. Аверьяныч перевез в интернат собственные — все до полешка. «Январь протянем,— прикидывал он,— там штакетник начнем палить, а потом?» Снова собрался в город, но тут наконец нагрянули лесорубы. Не вальщики, правда, а вальщицы — мужиков и в леспромхозе не оставалось, но зато целая бригада: со своими харчами, своими лошадьми и даже с сеном для лошадей, а главное — с бензиновой циркуляркой, которой можно было кряжевать бревна.

Женщины разместились было в интернате, но уже вечером стало ясно, что это ошибка: дети плакали, кричали наперебой: «Это моя мама», «Нет, моя»,— просились на руки... Измученные вальщицы провели полночи в слезах и рыданиях. Пришлось переселить их в деревню, в пустующую Аверьянычеву избу. Отработали они неделю без продыху и уехали. Глядя на заваленный чурками двор, директор объявил: «Теперь не замерзнем».

Вскоре после Нового года нянечка получила очередное письмо: «Дедушка умер. Похоронила я его хорошо. В Колину рубашку одела. Помните, ту, с украинской вышивкой, почти не ношенную. На кладбище свезла и даже колышек с дощечкой в землю заколотила, чтобы знать место, а то хоронят там всех вперемешку. Пишу я из Вологды. Меня эвакуировали сюда как тяжелораненую. Во время бомбежки завалило меня и перебило обе ноги. Хоть нынче я и без ног, но все плачу от счастья, что живая. Мама, страшнее того, что я видела и перенесла в Ленинграде, быть ничего не может. После блокады и ад раем покажется. От Коли так весточки и не было, и про их корабль ничего узнать мне не удалось. Да теперь я Коле такая и не нужна. Лешенька писал шесть раз из Москвы, потом там наступление началось и что-то нет писем. Простите меня, мама, за все и прощайте. Адрес свой я вам сообщать не буду».

В конце января докторша ездила на станцию, получила медикаменты, и у Аверьяныча вновь появился обменный фонд, с помощью которого он сумел полностью укомплектовать интернат теплой одеждой и валенками. Не все, конечно, было новым, не все — нужных размеров, и взрослые теперь по ночам шили, кроили, штопали. «Покрепче, главное,— наставлял директор.— Пусть не так баско, но покрепче — нам долго еще тут куковать». Сам он подшивал валенки.

Брат писать еще не умел, он нарисовал отцу поздравительную открытку: танк со звездой. На обороте сестра написала: «Дорогой папочка! Поздравляем тебя с Днем Красной Армии! Желаем перебить всех фашистов! Я сочинила стихотворение: «Жду тебя, и ты вернись, только очень жду...» Заканчивалось стихотворение словами: «Просто я умела ждать, как никто другой». Спустя время пришел ответ: «Хорошие вы мои, дорогие! За поздравление спасибо. За «стих», если вернусь, выпорю»— вот и все, что было в конверте со штемпелем «просмотрено военной цензурой».

Немного совсем оставалось уже до весны: «Скорее бы таять начало,— вздыхал Аверьяныч.— Тетеревов, глухарей добудем, соку березового попьем, а там, глядишь, утки поприлетят, гуси — все перепадет хоть что-нибудь. Чахнут ребятишки-то... Дотянуть бы до Егорьева дня, дальше легче: хвощи-пестыши повылазят, другая травка — подлечимся. Бывало, на Егория скотину выгонишь, побродит она по отмерзшей земле под солнышком, подышит ветерком, чего-ничего пощиплет и — где хворь, где худоба?»

Не дотянули: корь, коклюш, скарлатина. Три палаты пришлось превратить в изоляторы, власть взяла докторша: «Полная дезинфекция, марлевые повязки, проветривание помещений...». «Усиленное питание»,— чуть было не скомандовала она машинально, но спохватилась и промолчала.

Брат заболел скарлатиной. В палате рядом с ним лежала дочь докторши. Остальные скарлатинники выкарабкались кое-как, а этим становилось все хуже и хуже — не повезло, тяжелая форма.

Наступила ночь, которая должна была стать последней. «Сорок и восемь, сорок один и две»,— записав показания градусников, докторша вдруг спросила нянечку:

— От вашего сына... ничего нового нет?

— Нет,— отвечала старуха.— Ни от сына, ни от внучека.— И вдруг заплакала.— Невестка писала, что...

Но докторша перебила ее:

— А кто родители этого мальчика... не знаете?

— Этого? Как не знать — знаю, сестра евонная мне рассказывала. Отец воюет у них — командир, а мать... запамятовала, кем она... Одним словом, в Москве, в столице самой... Там рядом и Алешенька в наступлении...

— А мне муж писал, что должен вот-вот отпуск получить... Навестить меня собирается.

— Дак говорили вы мне... Да... Это, конечно, дело хорошее.

— Идите, отдохните немного, скоро светать начнет.

— А вы управитесь?

— Чего ж теперь не управиться?— докторша холодно усмехнулась.

А старуха пошла будить Аверьяныча:

— Желанный, ты уж подымайся: надобно два домика сострогать, кончаются ребятишки-то...

— Дура!— он свесил с кровати босые ноги, протер глаза.— Городишь незнамо что! Кто ж живым людя́м гробы робит? Кикимора! Для себя самого еще — куда ни шло, а для других... Да не реви ты, буде, наголосимся еще.

К рассвету девочка умерла. Мальчик же стал поправляться и вскорости совершенно выздоровел.

А муж к докторше так и не приехал — отпуск он получить не успел.

После войны сестра окончила педагогический институт, получила распределение в Ленинград и до пенсии преподавала литературу в детских домах.

Брат стал крупным физиком. Он то ездит по заграницам, выступая на симпозиумах и конгрессах, то катается с гор где-нибудь в Бакуриани. В редкие дни, когда он дома, собираются у него гости,— такие же, как он, ученые люди. Они любят петь под гитару о дождях, комарах, кострах и разлуке, поют отрешенно, самозабвен-

но. Любят беседовать о «безграничных возможностях человеческого мозга», о «величиии силы познания», о том, что «умение считать только и может спасти человечество от катаклизмов». «Нас спасет счет»— любимая их поговорка.

Давным-давно нет Аверьяныча, старухи нянечки, нет и докторши. Страшный, немилосердный ей выпал жребий: в ту далекую зимнюю ночь у нее было двое смертельно больных, а доза пенициллина — чудо-лекарства, присланного из Москвы, могла спасти только одного...

БАКЕНЩИК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ



Никушин лениво вытаскивал из щели между бревнами не перестававших клевать ершей, снимал их с крючка и бросал в ведерко.

День начинался облачно и хмуро, но скоро просветлел, последние перья облаков унесло куда-то за лес, и теперь солнечные лучи, не встречая препятствий, падали на землю и жгли ее.

С мертвых сосновых бревен испарялась смола, отчего над плотом стоял тяжелый хвойный дух. Вода в ведерке грелась, и ерши переворачивались вверх белыми животами, засыпая в теплой воде.

Изредка Никушин поднимался, потягивался, потом, стараясь удержать равновесие, перепрыгивал со связки на связку, направляясь к краю плота, где у него стояла донка «на леща», снимал с крючков размокшие хлебные шарики, насаживал новые и забрасывал тяжелый груз подальше, на глубину. А когда, увлекаемые грузом, скрывались под водой крючки с насадкой, Никушин вздыхал, все-таки желая если не леща, то подлещика, хотя понимал, что по такой жаре клева не будет. И возвращался дергать ершей для развлечения.

Плоты были причалены к низкому травянистому берегу, на котором сонно паслись, утомленные жарой, стреноженные лошади. Дальше, вдоль пыльной дороги к пристани, стояли хромые избенки небольшой старой деревни.

— Здравствуй, дядя Мить!— донеслось с берега.

— Здоровы, здоровы,— Никушин крякнул, вытер скользкие после ершей пальцы о рубашку и достал из нагрудного кармана пачку папирос. Он не заметил, как пришли Санька и Серенька, хотя знал,что они придут, и ждал их появления. Каждое погожее утро они приходили к берегу, ложились на траву, и все повторялось и не удивляло уже Никушина.

— Мы закурим, дядя Мить?

— Курите, курите, не скажу.— И закурил сам.

— Ставлю семь из Тарзана,— объявил Санька.

— Ха! Ложка придет первей! Семь на Ложку,— сказал Серенька.

Никушин продолжал воевать с ершами, а ребята вытащили из полотняного мешочка большой ломоть свежего черного хлеба и положили его рядом с собой на траву.

Лошадь, первой почуявшая запах хлеба, глухо ударяя копытами связанных передних ног, приближалась к ребятам, но хлеб сразу же прятался в мешочек, и животное, обиженно заржав, уходило.

— Моя взяла!— ликовал Санька.— Обратно на Тарзана! А Ложка дура.

— Дура,— соглашался Серенька,— поставлю на Ларчика.

— Семь на Тарзана!

— Семь на Ларчика!

— Играешь в долг.

— Знаю.

И снова из мешочка извлекался хлеб, и снова, пофыркивая, приходила лошадь, и, наверное, это был Ларчик, потому что семь копеек отыгрывались.

У них было только по семь копеек.

И все сначала...

Солнце забралось на самый верх, и Никушин решил наконец смотать донку. Он подошел к краю плота, собрал леску на мотовильце, смыл с ладоней засохшую рыбью слизь и мокрыми руками отер лицо.

— Семь на Ларчика!

— Семь на Аракса!

Потом, когда солнце покатилось вниз, Никушин взял ведерко и направился по липким от смолы бревнам к берегу и домой, чтобы сварить уху, пообедать и выспаться до вечерней проверки бакенов.

— Это Аракс, я выиграл.

«И впрямь Аракс, шельмы,— отметил Никушин, взглянул на берег.— Это ж надо — по голосам узнают!» И тут, еще с плотов, увидел он Дашу. Она шла сюда, к своим Сереньке и Саньке. Никушин ускорил шаг, спрыгнул на берег, бросил мотовильце и коротенькую удочку в ведро и, сорвав на ходу несколько стебельков мяты, подошел к ребятишкам: «Жуйте по-быстрому — мать идет!»

— Санька, Серенька — обедать!— звонко и протяжно позвала Даша. Они вскочили с травы, выплевывая горьковатую жвачку.

...Ребятишки шли рядом с матерью, а Никушин поотстал и молча тащился сзади, посматривая то на выгоревшие ребячьи затылки, то на Дашу. Иногда догонял и мог видеть красивое Дашино лицо, и без единой морщинки, как будто не было Даше тридцати лет, не было работы в поле, не было того дня одиннадцать лет назад, когда она родила близнецов, и дня, когда муж бросил ее, Саньку, Сереньку и уехал в неизвестном направлении. Как будто ничего этого не было.

«Вот,— говорил себе бакенщик,— вот красавица ведь? Красавица. А ты чего? Чего ты?— Он вспомнил свое отражение в полоске воды между бревнами.— Ты мужичонка задрипанный, чтоб не сказать: дерьмовый. Поганка ты поганая рядом с ней».

— Ну, мне пора, сворачивать мне, бывайте.

— Ага, Митя, бывай. Ты бы это... ты бы зашел как-нибудь... вечерком,— Даша взглянула на ребят,— чайку бы попил, что ли.

Никушин вздрогнул, посмотрел на ребят, которые стояли рядом, подняв лица, и вытер пот со лба.

— Не стесняйся, Мить, соседи мы с тобой как-никак, свои люди, можно сказать... Приходи хоть сегодня. Бакены проверишь и приходи.

В ее голосе, кроме волнения, было и еще что-то — решительность, что ли,— отчего Никушин согласно кивнул.

— Мам, а дядя Митя красивый?

— Красивый, ребятки, красивый,— слегка смутившись, скороговоркой ответила мать.

Никушин опустил голову, увидел мятую, заляпанную рыбьей слизью рубаху, грязные сапоги, вспомнил опять свое отражение рядом с пробочным поплавком и подумал, что он, пожалуй, все-таки не дерьмовый мужичонка. Ну, плохонький по крайности, но уж не дерьмовый, не задрипанный даже.

— Дядя Мить, приходи! Ну, дяденька Митя...

Руки у него ослабли, и он едва удержал ведро. А в груди, цепляясь за ребра, к сердцу, к горлу поднималась радость. От боли он сожмурил глаза. А когда открыл, то увидел, как радость, которой уже тесно стало в никушинской груди, охватывает луг, потом лес и по железной

дороге приближается к городу с церквами, монастырем, милицией, исполкомом и рыночной площадью, на которой продают пиво. Радость готова была захватить весь белый свет!

— Приходи, Мить, они никому не скажут...

Никушин испуганно посмотрел на Дашу, на ее молодое и нравящееся ему лицо, на блестящие голубые глаза, потом посмотрел на поднятые лица ребят, на их одинаковые, бесцветные, никогда не видевшие света глазенки, глубоко вздохнул и, крепко сжав в руке дужку ведерка, так, что грязные ногти врезались в мокрую от пота кожу ладони, зашагал прочь, едва сдерживая незнакомый кашель, прорывавшийся из пустого нутра.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛИНИЮ ФРОНТА



ок прекратился. Я свистнул, услыхал ответ и выбрался из шалаша.

Солнце поднялось и пригревало. Поляна, совсем недавно еще седая от инея, теперь блестела, и, когда мы сошлись покурить, сапоги наши были до колен мокры.

— Ничего не осталось,— вздохнул полковник.— Что значит бесснежная зима! Померзли, о наст побились...

Сняв очки, он протирал платком стекла и, устало сощурясь, разглядывал их на свет.

— В прошлом году здесь до двенадцати штук токовало, а сегодня,— снова вздохнул,— пара... ленивых,— нацепил очки и спрятал платок.— Идемте полем, может, случайно какого... Там где-то бормотали...

Я тоже слышал на заре еще два тока, один тетерев и сейчас «чуфыкал».

Вышли из леса, сразу увидели на дальнем взгорке подпрыгивавшего косача. Второй сидел метрах в полустах от него.

— Ну, к этим не подойти.

— Без толку,— согласился полковник.— Экая беда... На глухарей, что ли, попробовать?

— Место знаете?— спросил я с надеждой.

— Есть неподалеку. Но вдвоем там не развернуться.

Я кивнул: глухариные тока, известно, хранят в секрете. Но ведь полковник сам уговорил меня сойти в Лыскове. Не окажись этого случайного попутчика, я бы охотился в своей Можарке, где худо-бедно, а вальдшнепов настрелял бы.

— Да и погода дурацкая. То вроде ничего, а то дождь, как вчера. А в дождь они не поют, сами знаете...— Полковнику стало неловко, и он замолчал.

Я тоже молчал, завидуя полковнику, понимая его и все-таки назвав про себя «жмотом».

Прошли еще немного. Вдруг он остановился.

— Вот, кстати, тот сарай, вон развалюха, видите?— И даже как-то обрадовался оттого, что нашел тему для разговора.— Вот там нас и «накрыли». Двоих сразу — у немцев там пулемет был. Мы — к лесу. Пока бежали — еще двоих: Пряхина и сержанта, который из другой роты прибился к нам. Помните, я рассказывал?

— Помню, помню.— Я все еще обижался на полковника.

— Ну а мы с Емелей удрали. Вечер уж был — они в лес не решились. Добрались мы, значит, до Мшаны... Вот где глухарей, между прочим! Но далеко, и места жуткие!

— Сколько?

— Да километров двенадцать будет.

— Двенадцать — ерунда,— возразил я.

— Километры бывают разные,— многозначительно указал полковник и продолжал: — Ну вот, сидим у болота, дальше идти нельзя — через Мшану не перебраться, а утром наверняка за нами придут... Да, брат, тебе ничего этого не досталось. Ты даже не видел их...

Я промолчал, хотя я видел «их». Правда, были они без погон и строили дома на Хорошевке. Иногда стучались в дверь, просили воды. Отец приносил воды, хлеба, они смотрели на его пустой рукав и тихо говорили: «Данке».

— А ночью еще в передрягу эту попали: немцы летели бомбить, наши встретили, те побросали бомбы — и назад. Представляешь: темень, рев, бомбы сыплются, деревья трещат, из болота грязь! Емелю там и зацепило. Осколком. В живот!— неожиданно зло сказал полковник и поморщился, словно от боли.

Я подумал, что в моей жизни не было, да и едва ли могло быть такое, о чем и через тридцать лет я вспомнил бы с похожей горечью и болью. Это счастье, наверное. И даже вполне определенно — счастье. Однако во мне шевельнулось чувство вины, словно... нет, конечно, мы не сами выбираем себе год рождения, и все-таки...

- Пришлось податься на юг вдоль болота. Утром слышал стрельбу — лес прочесывали. В общем, на третий день выкарабкался.

— А потом?

— Что?

— Во время наступления?

— Это уже на другом фронте. Здесь потом никого не было — немцы сразу большой кусок отдали. А я довоевался до упора, дважды ранен. В грудь — удачно, а в ногу... Хоть и стараюсь не хромать... После войны приехал, четверых нашел, позарыты были кто где. Вот они-то как раз на станции теперь похоронены: Пряхин, сержант и те двое. А Емелю отыскать не удалось. Каждый год приезжаю, на Мшану ходил, местных все время спрашиваю, но редко кто там бывает. Это раньше когда-то старики охотники хаживали, даже на другую сторону перебирались, а теперь...

Мы разрядили ружья, миновали крайнюю избу, и чей-то гончий пес, завидев нас, взвыл от тоски и зависти — ему-то до поздней осени не бывать в лесу.

Набравши наставлений и советов, в полдень я ушел искать тока. Держал все на восток, к Мшане. Километры и впрямь были нелегкие: бурелом, мхи, сырые низины, потом попался гнилой березняк: земля — месиво, кабанами изрыта. Березняк шел в болото. Перебираясь с кочки на кочку, огибая большие, правильно-круглые окна воды, я медленно продвигался вперед к старому лесу и, казалось, вот-вот должен был выбраться, но кочек становилось все меньше, воды больше, дважды я срывался, проваливался по пояс и вдруг, когда до леса оставалось метров сто — сто пятьдесят, передо мной открылся поток. Назад идти не было сил. Я спрятал спички под шапку, патронташ поднял повыше на грудь, шагнул в красновато-бурую воду и, не достав дна, отчаянно заработал ногами, пробиваясь к противоположному берегу. Вскоре мне удалось ухватиться за ветки куста, торчащего из воды, я подтянулся, влез на кочку и через полчаса, преодолев еще сто метров топи, добрался к лесу. Сапоги у колен были перетянуты ремешками, так что воды попало немного, но одежда вымокла, и, чтобы не простудиться, я побежал через лес, благо это был чистый сосновый бор. Однако он тут же и кончился: огромное, рыжее от мха болото расстилалось на многие километры вперед и по сторонам. Вспомнив рассказы полковника, я сообразил, что заблудился и перешел Мшану — «непроходимую топь». От осознания происшедшего почувствовал смертельную усталость. Развел костер, кое-как высушил одежду, почистил ружье и, достав из ягдташа крепкий

плащ, взятый специально для ночлега в болоте, привязал его на манер люльки к нижнему сучку дерева, забрался и заснул. Засыпая, приметил неподалеку развороченный муравейник, но возможное соседство с медведем нисколько не обеспокоило меня — охотился я не первый год и знал, в какой страх вогнал человек природу. А кроме того, я выпил перед сном сто пятьдесят граммов водки — весь НЗ.

Проснулся ночью и огня не разводил. Услышал вскоре глухарей, тетеревов — все рядом, на опушке. Сорвался с места, чтобы красться,— вдруг все затихло, и начался дождь. Я прошел вдоль мха, свернул к Мшане, раздумывая, как бы перебраться, и тут наткнулся на Емелю. Он лежал, укрывшись многолетней хвоей, и только выржавевшая каска оставалась наверху. Я отпрянул, хотел бежать в деревню к полковнику, но неожиданно соображение остановило меня.

...Возвращался я тем же неудобным, но, по-видимому, единственно возможным образом: вплавь, потом соскальзывая с кочек, потом пробираясь между правильно-круглыми окнами воды. Я понял, что это затянувшиеся болотной жижей воронки.

В деревню пришел часам к двенадцати. Полковник завтракал. Был «с полем», но не слишком радовался: глухарь достался случайно: сел над головой — и все. А без песни глухарь — не глухарь.

Я медлил, сомневался, говорил все не о том: как шел к Мшане, как вышел на кабаний березняк.

— Ну, это ты сильно вправо взял. Самые тока левее, севернее, а ты вправо,— полковник показал рукой, где право, и пожал плечами: сам, мол, виноват, тебе ж говорили, куда идти.— А березняк южнее. Там где-то мы и сидели. Там где-то Емеля и остался... Я ведь там все излазил! И никаких следов...

— Я нашел...

— Что?

— Емельянова.

Лицо его сделалось серым:

— Где?

— За Мшаной.— И рассказал...

— Все правильно,— прохрипел полковник и откашлялся. Помолчал, шепотом повторил:— Правильно.— Закрыл лицо руками.— Он был еще жив, бредил... Я не решился тащить его ни через Мшану, ни к железной до-

роге. Мы бы оба погибли, понимаете?!— Сжал виски.— Застрелить его я тоже не мог. И ушел... Все равно, думал, до утра не дотянет. А он, стало быть, дотянул.— Полковник опустил руки и внимательно посмотрел на меня.

«И даже хватило сил через Мшану перебраться»,— промолчал я. Полковник, словно угадав мои мысли, кивнул.

— Все эти годы я мучился, не мог простить себе... Погибнуть надо было... вместе,— сказал он, кажется, одному себе.— Должны были оба погибнуть.

Я вытащил из ягдташа проржавевший ТТ.

— Его пистолет,— согласился полковник, несколько сосредоточившись.

— А что,— спросил я,— Емельянов левша?

— Вроде,— сказал он, припоминая.— А откуда вы знаете?

— Дырка в левом виске.

Он кивнул, взял пистолет, подержал на ладони, потом достал из кармана нож и расковырял ржавую рукоятку — ни одного патрона.

— Полная обойма была,— заметил он, убирая нож и поднимаясь.— Вот так-то... Значит, как перейдешь, вверх по Мшане?

— Да метров двести. Я там нацепил на сосну кольцо бересты.

Он подошел к окну:

— Удивительный день — похож на тот. А была осень. И, между прочим, красивая осень. Любоваться времени не было, но помню: сказочная! И сегодня прекрасный день!.. Ты вот что,— сказал он, не оборачиваясь,— оставь меня.— И тихо повторил:— Оставь.

Я попрощался с хозяйкой — глухой старухой и вышел.

Да, был по-осеннему призрачен и прозрачен этот апрельский день. Изумрудная озимь, умытая росой, сияла, на сиреневые бревна изб ложились черные тени сырости, но, как бывает и осенью, даль туманилась, покрывая лес тусклым, темнеющим серебром. Я запомнил все краски нарочно, потому что полковник назвал день сказочным и прекрасным, «похожим на тот».

Через два часа был на станции. Подошел поезд — паровоз, два вагона,— я забился в пустое купе, и, чем дальше от линии фронта, тем мучительнее становились

мысли о предстоящей встрече полковника с Емельяновым.

Да как же так получилось, что обида за Емельянова и желание восстановить справедливость — чувства, в правоте которых я был уверен,— вдруг соединились с чувством горькой моей вины? Где был я прав? Где не прав? Проклятый случай... Нет уж! Не дай нам Бог судить не наше время!

ДЯДЯ ВАСЯ



сть у меня дядя Вася. Никакой он мне, правда, не дядя и вообще не родственник, он — фронтовой друг моего отца, ну да не в этом дело.

Приезжает он тут ко мне и говорит: «Таисья пропала». Таисья — его жена. Стало быть — тетя Тая. Сколько-то времени уходит у меня на то, чтобы постигнуть суть происшедшего — не видел я дядю Васю лет двенадцать уже — со времени похорон отца,— не видел, не слышал и вдруг... Да и почему ко мне? У него сын есть, внуки... Насчет сына выяснилось быстро — он в командировке, а со снохой дядя Вася «раздрызгался». Что же до всего прочего — обнаружилась полная неразбериха: дядя Вася сумбурно и путано громоздил одну на другую какие-то истории, так что мне пришлось совершенно в духе криминалистических изысканий докапываться до первопричины, чтобы затем, отталкиваясь от нее, расположить события в разумной последовательности.

Начать, вероятно, следовало бы с того, что дядя Вася, сколько он был мне известен, «не любил» выпить. Впрочем, это — общее для всех дядей Вась свойство, а уж отчего так — судить не берусь.

В пору моего детства, когда принято было каждое воскресенье либо принимать гостей, либо отправляться в гости, когда каждый праздничный день заканчивался дружным, хотя и не вполне стройным пением «камыша» и «рябины», дядя Вася частенько бывал у нас, да и мы наезживали к нему в Перерву. Теперь это Москва, а тогда — лет тридцать пять назад — там еще водились рябчики, тетерева да и зайчишки иногда попадались, так что к приезду нашему дядя Вася неуклонно добывал дичь. Работал он инженером на легендарной станции аэрации — ее знает всякий москвич, не имеет права не знать: отец мой, выбрасывая в унитаз окурки, привычно напутствовал их: «К дяде Васе»...

Тетя Тая принадлежала к известной фамилии батюшка ее и дед в свои времена достойно поусердствовали на ниве отечественной живописи. Унаследовав от предков доброе предрасположение, она вела теоретический курс в художественном училище, при этом еще немножко «красила» и сама. Какой-либо оценки ее творениям — даже самой неграмотной — я дать не могу, так как видел их только в детстве и плохо помню. Сдается, правда, что работы ее были безусловно реалистичны. Однажды я сам наблюдал, как в писанные ее рукой гладиолусы бился шмель. В другой раз дядин Васин гончак впрыгнул всеми четырьмя лапами в траву, изображенную на пейзаже — пейзаж этот, подготовленный к выставке, был вынесен из дома и дожидался погрузки в автомобиль. Но несомненно лучшим подтверждением реалистичности ее холстов являлся случай, о котором любил рассказывать мой отец. Будто бы дядя Вася, вернувшись как-то с очередного ристалища, очень долго оправдывался: мол, не пил и не думал, да и вообще ни в одном глазу, ну, может, только так — кружечку пива, ну что ты молчишь, скажи хоть что-нибудь — пока наконец не обнаружил, что беседует с автопортретом жены.

Тетя Тая была женщиной тихой, неразговорчивой и, как понял я с течением времени, довольно замкнутой.

Единственного сына их, а он старше меня лет, наверное, на семь, я тоже не видывал с детства. Помню, как он, выучившись для необъяснимой надобности играть на самой большой трубе — на геликоне, демонстрировал мне свое умение: разложил ноты, два раза дунул, перевернул страницу, дунул вновь, теперь уже один раз, после чего вытер лоб и внушительно объявил: «Варяг». Тем же манером он исполнил еще несколько заветных вещей. Окончив школу, стал офицером, служил все где-то далеко и лишь недавно перебрался в Москву. Тут-то и произошел «раздрызг» стариков со снохой — насколько мне удалось понять, причиной тому послужила неуемная захватническая страсть этой женщины, проще говоря, она попыталась выжить стариков из их квартиры.

Это все — предыстория. А история того события, которое привело дядю Васю ко мне, начинается с позднейших времен. Постигая ее, я между тем названивал в милицию, морги, но пока безрезультатно.

...Выйдя на пенсию, дядя Вася решительно заскучал: прежде, бывало, он с приятелями чуть не каждый рабочий

день завершал в шашлычной, а тут вдруг мир ограничился стенами квартиры, для «выходов» же остались одни юбилеи да поминки. Он уж и выпивать почти перестал — здоровье не позволяло, но по гостям хаживал, случая упустить никак не мог. Хаживал пообщаться, разговоры послушать, любил, чтобы послушали и его. Рассказывал он одни и те же фронтовые истории — я помнил их с детства.

Про то, как они с отцом моим ехали на аэродром — в Боровичи, кажется, опаздывали, а машина то и дело ломалась. В конце концов не поспели —«дуглас» взлетел у них на глазах. Отец — человек раздражительный, резкий — набросился на шофера, дело дошло чуть ли не до расстегивания кобуры, но в это время раздался взрыв — самолет упал. Шоферу потом, винясь, флягу спирта отдали. «Полнехонькую»,— подчеркивал дядя Вася.

Другой эпизод касался выхода из окружения: с одним сержантом перебирались по гати через болото — дело было под утро: сумерки, туман. Слышат — навстречу немцы идут. Ну, сползли в топь — с головой, а руками за бревнышки ухватились. Немцы прошли, не заметили. У дяди Васи один палец так и не разгибается с тех пор — крючком, сержанту же отдавили кисть — пришлось ее ампутировать, а потом он и вовсе помер от гангрены.

Третья эпопея происходила в какой-то европейской столице уже после подписания капитуляции. Дядя Вася брел по ночной улице и обнаружил «виллис» со спящим водителем: «Ну, в дупелину! Голова на руле, руки обвисли!» Растолкал. Объяснил, что ему надо в штаб, поехали. А когда подъехали к КПП, где горели яркие фонари, дядя Вася увидел на капоте машины огромную белую звезду: «Американец! И как он понял, куда меня отвезти? Ну, малый! Ну, силен! Выгрузил — и опять отрубился!»

Был у дяди Васи еще сюжет — про возвращение с японской: он приехал в Перерву на белом коне, к седлу которого была приторочена фисгармония, а на поясе самого дяди Васи болтались три огромнейших пистолета. Пистолеты потом пришлось сдать. Правда, сдал дядя Вася только два — третий тетя Тая утопила в Москве-реке. Вместе с сотней патронов. Коня конфисковали — в момент!— по закону о раскулачивании, а фисгармония сохранилась, и тетя Тая с удовольствием играла на ней «Баркаролу» Петра Ильича Чайковского.

Все это дядя Вася обычно и рассказывал гостям юбилеев и поминок. Тетя Тая его путешествий не одобряла и сама никогда в них не участвовала. А тут получилось трое поминок подряд — дядя Вася аж в Саратов мотался, и тетя Тая не выдержала: перед третьими похоронами обиделась. А когда гуляка вернулся — и ездил-то на один денек, третьи недалеко были, в Мытищах,— супруги на месте не оказалось: «Таисья пропала!»

Ее не было день, ночь, а наутро дядя Вася начал метаться и попал ко мне: он пребывал уже в полной растерянности и ничего полезного придумать не мог.

Звонили десяткам знакомых — близких, полузабытых и забытых совсем, опять в морги... Наконец в одном из них нас «обнадежили»: поступила сбитая автомашиной женщина без документов. Впрочем, тут же и выяснилось, что ни по одежде, ни по внешности, ни по возрасту несчастная ничего общего с тетей Таей не имела.

Не берусь теперь восстановить ход своих мыслей, только в какой-то момент я поинтересовался у дяди Васи, не могла ли супруга его по собственному ее желанию прилечь в больницу? Оказалось, могла: знакомая врачиха давно уже уговаривала ее пообследоваться на предмет повышенного давления, почек и чего-то еще, но тетя Тая лишь плечами пожимала — у нее не болело ну совсем ничего.

Отыскали больницу, тут же и супруга нашлась. Старики маленечко побеседовали, дяде Васе велено было немедленно возвращаться домой и встречать выписывающуюся тетю Таю. Так закончился этот нервический эпизод. Я звонил в милицию, полузабытым родственникам и знакомым, стыдливо объяснялся, виновато давал «отбой», а дядя Вася возбужденно и весело мешал мне.

— Представляешь,— рассказывал он, едва сдерживая радостный смех,— она говорит: «Ты все-таки поехал к Пучкову?» Я говорю: «Поехал». А она: «И Валентина там была?» Я говорю: «А как же!» Она тогда: «Ну и как она?» Я говорю: «Почти не изменилась». Она аж чуть не взвыла: «Ты,— говорит,— и прежде ей шоколадки покупал, а мне — ландрин»... Ну ничего, обошлось...

— Какая Валентина?

— Не помнишь, что ли? А! Это до тебя было. Когда мы в Москву приехали, у Таисьи подруга завелась, Валентина, ну она и давай меня к этой подруге

ревновать — та уж и замуж вышла, а эта всё... Ландрин какой-то...

— Когда ж это было?

— Это?.. Году, наверное, в двадцать восьмом.

— И что, с тех пор так и тянется?

— Ну да: то к Валентине, то еще к кому. Валентины-то я лет пятьдесят не видел — она теперь согнутая вся, с клюшкой, а тогда — ничего была.

— И не тяжело, дядя Вась?

— Чего?

— Ну, терпеть все это?

— А чего тут тяжелого: жена — она и есть жена, мы с ней уже седьмой десяток вместе живем... С ней-то легко, а вот со мною... Я же одно время знаешь до чего допился?.. А-а, то-то же. В общем, стали ко мне являться лукашки да окаяшки: как надерусь, как крикну: «Не люблю все!»— они и являются.

— Что, с копытами и рогами?

— Насчет этого не скажу: на ногах — штиблеты, а волос у них кучерявый, так что не разглядел, да и хвостов не видал — при костюмах ведь, но в остальном — носатые и серой воняют, вот, брат!.. Один, кстати, сильно похож был на председателя худсовета, которому Таисья картины сдавала. Он всё пейзажи не любил, заводы всё требовал, фабрики, станки... да. Ну это так, к слову. Однажды я, знаешь, психанул на них,— а они народ такой, всё, бывало, посмеиваются да ухмыляются — ну, психанул, стало быть: схватил топор и ка-ак хрястну! Что тут бы-ло!.. Искры, огонь, дым... Оказалось, что по телевизору саданул. Ну, выкинул телевизор. И этих, знаешь, сразу же поубавилось. Немного, правда, на парочку, но... Вот, брат... Так что несладко ей со мною пришлось, несладко. Однако шестьдесят лет прожили. Это вы — нынешние: чуть что не так — побоку, разошлись как в море корабли. А чего расходиться-то? Это ж — крест: взвалил на себя — и неси, до упора неси, до конца. Чего его сбрасывать-то? Увидишь какой поменьше, думаешь: о, возьму его! Сбросишь свой, новый подхватишь, а он хоть и поменьше, зато из чугуна. Потом глядь — еще меньше: цап его — а он вовсе свинцовый. Махнешь его на пенопластовый, а тот — орясина — за все кусты задевает. Снова какой-нибудь деревянный подберешь — ан, весь в занозах... Так что тащи, что дали, и не рыпайся: браки совершаются на небесах — это мне Таисья сказала, когда я начал ее...

это... уговаривать... Мы ж с ней на дороге лесной сошлись: я из дома сбежал, учиться двинул, а у нее родителей шлепнули, вот и шастала, неприкаянная... Было нам тогда по пятнадцать лет. Ну, на небесах, говорю, так на небесах: зашли в церковь, обвенчались, вот и живем с тех пор. А насчет разных там выкрутасов, вроде больницы этой,— ерунда, на ход поршней не влияет. Как наставлял меня тот священник — ну, который венчал нас: «Женщина — сосуд слабый, немощный». Так что извини и спасибо.

Мы попрощались, и дядя Вася ушел. Через несколько минут позвонила мне тетя Тая. Попросила прощения за то, что «по своей бабьей дури»— ее слова — доставила столько хлопот мне и Василию —«человеку великодушному и благородному». «Вы знаете,— сказала она,— кроме меня, никто и не ведает, как он прекрасен и чист — я ведь и мизинца его недостойна...»

История эта оставила на память о себе вопрос, разрешить который, боюсь, мне никогда не удастся: что же соединило этих столь непохожих людей на весь их жизненный срок?.. Во времена, когда семья все более и более напоминает собой поле бессмысленной и жестокой битвы, супружество дяди Васи и тети Таи изумляет своею едва ли не фатальной надежностью.

Или, может быть, и взаправду браки совершаются на небесах?



ЗА ТЕНЬЮ

Баба Гаша из деревни Рысцово Новгородской области рассказывала мне, как вскоре после войны, году, кажется, в сорок шестом, а может, и в сорок пятом, проходили через ее деревню немцы. Несколько раз. Когда парами, а когда и поодиночке.

Она не могла точно вспомнить причину, вынуждавшую их возвращаться из плена пешим путем: не то обворованные, не то проигравшиеся, не то отставшие от эшелонов — ну да речь о другом: шли.

Рысцово было в ту пору обыкновенной, разоренной мором и голодом деревенькой дворов до тридцати — малолюдной и почти без мужиков. Хотя прежде здесь насчитывалось более сотни изб, но это давно, до коллективизации. Я же застал Рысцово о семи дворах и одиннадцати жителях, застал в самом начале того времени, как наши отчины стали делить на перспективные и неперспективные, так что ныне — вполне может статься — деревни и вовсе нет и мало кто помнит о ее существовании.

Самым дорогим достоянием послевоенных рысцовских хором были скорбные фотографии погибших родственников. У бабы Гаши погиб на войне муж Николай. Строгий и ясный лик его осенял из фотографической потусторонности все остававшиеся этому дому дни и ночи.

И вот в такую деревню, в такой дом приходили немцы. За скудный харч, за ночлег в сарае они выполняли посильный труд по двору и шли дальше. Никто их не обижал, разве только несмышленый народ — ребятишки: то освистают, то «немец-перец-колбаса», а то и камнем залепят, взрослые же относились к ходокам бесстрастно. По молодости я недоумевал: как так? Баба Гаша в ответ начинала смеяться — вздрагивая плечами, но совершенно молчком: у нее был только один зуб, и рта она не раскрывала — стеснялась. Я же еще более горячился, мол, как же так: может, именно они и убили вашего Николая, а вы..? В мгновение она становилась серьезной

и тихо соглашалась: да, может. Потом, жалостливо поглядев на меня, спрашивала:

— А что же оставалось делать?.. Смотреть, как они сгинут с голоду? Подкармливали... Мужики вон наши — все калеками повозвертались: у кого ноги нет, у кого руки, кто контуженый, в ком дырок, как в решете, а и то — дадут работенку да и покормят...

Как-то двое немцев подрядились поправить ей загородку. Сделали. Потом, стало быть, сидят в избе за столом и лопают постные щи с ржаным хлебом. Тут заявляется бригадир — он с костылем шастал, и костыль этот самодельный сильно по полу громыхал. «О-о,— говорит,— да у тебя гости! Кто ж такие?»

Агафья — а тогда она была не бабой Гашей, а колхозницей Агафьей Орловой — и отзываться на этот пустой вопрос не стала: «Не помню, косили мы в тот день или лен теребили: еще до рассвета из дома ушла, а вернулась аж к вечеру — сил никаких нет, а он с глупостями, будто не видит сам, кто они».

А бригадир и говорит: «Форма вроде германского образца, а сами что-то на немцев и не похожи».

Агафья отвечает ему: мол, немцы, документы показывали, из плена идут. Они достают документы, протягивают бригадиру, а тот лишь отмахивается: не верю, дескать, подделка.

Тогда один заявляет: «Я — Вебер, он — Браун»,— интересно, что фамилии эти баба Гаша запомнила, но произносила на свой лад: «Вебирь и Бряун».

Бригадир им снова напоперек: «Бывают такие Вебер и Браун, что и не германцы вовсе». Они разобиделись и стоят на своем: мы не другие какие-нибудь. А он опять: «Что я, германцев не видывал? Не знаю, как они робят? У них,— говорит,— ду́ши в безнадежной трезвости пребывают, потому робят они справно. А вы понаделали — кое-как: столбы неровно стоят, жердины приколочены криво, а грязи, грязи понатоптали», — аж рукою махнул.

«Ну, значит,— рассказывала мне баба Гаша,— они исть перестали, вынают из карманов нарочные тряпочки — ложки завертывать. Сперва, конечно, вытерли ложки этими тряпочками — чисто-начисто, потом завернули, попрятали, поднялись — ну, как тебе по команде!— и ушли. Да: «спасибо» сказали... Ну мне и ладно: ушли так ушли, мне и до изгороди дела не было: лишь бы крепко,

чтобы скотина не забредала. Дал бригадир наряд на завтра, вышла я за ним на крыльцо, глядь: немцы работу свою нарушают. Что ж ты,— говорю,— ирод хромой, натворил? Из-за тебя они теперь разорят все, бросят да и уйдут. Не бросят, говорит. И пошкандыбал себе. Ну, утром собирает он нас на работу, гляжу — все порушено: ох и посмеялись бабы-то надо мной! Зашла, правда, в сарайку.— спят работнички... Что делать? Оставила на крыльце чугунок с остатками щей, сковородкой прикрыла, а на сковородку еще утюг сверху — чтобы, значит, кошки с собаками не залезли. А когда воротилась, все уже было переделано: столбушок к столбушку, жердина к жердине, где понакопано было — дерн, дорожка песочком посыпана... Такие они, немцы-то».

Приходили и еще, но тех баба Гаша перезабыла, а этот случай запомнился ей. Вероятно, из-за вмешательства бригадира, вмешательства, придавшего событию неожиданный поворот. Бригадир, кстати говоря, последнее свое ранение получил на одной из центральных площадей Берлина.

Конечно, ходоки эти появлялись нечасто, тем не менее встречи с ними были достаточно заурядны: в селе, где стояла церковь и где погост, на котором покоятся теперь смиренные косточки Агафьи Орловой, немцы даже захаживали на службу — помолиться, и никто их не выгонял, никто не трогал, хотя знали, что веры они — иной.

Понятно, что пешком пробирались только те, у которых лучшего выбора не было. Однако сдается мне, что путешественники, отроду не полагавшиеся на авось, имели весьма точное представление о характерах и обычаях народа, через землю которого им — отвоевавшимся — предстояло проходить без оружия и без всякой еды.

Они не могли не знать, что русские после драки кулаками не машут, они должны были догадываться, что злопамятство здесь не в чести, им дано было увидеть — и в дни опьяняющего триумфа, и в дни бесславия своего,— как милосерден этот народ к убогим, нищим, к попавшим в беду.

— Вы с ними вроде бы как с цыганами?— уточнял я у бабы Гаши.

— Нет,— возражала она,— цыган опасаешься, как бы чего не скрали, а эти — ничего не возьмут.

— Ну, значит, как со странниками?

— Что ты, желанный! Странников в хоромине спать укладывали, а этих — нет: в баньке там или в сарае каком, а в доме — в доме нет... Встанут утречком, выйдут на дорогу и бредут за своей тенью: куда тень — туда и они. Так за тенью и шли, так и шли.



ЗАПАДНАЯ ОКРАИНА

есной ночная смена кончается, когда уже светает. Пока руки в керосине отмоешь да пока переоденешься, солнце успевает подняться над Ваганьковской рощей. Теплый свет его падает сначала на некрашеный дощатый забор, потом на стоящие у забора автомобили и, наконец, на утоптанный до каменной твердости пятачок земли посреди ремдвора.

Горько пахнет тополиной листвой, пылью железнодорожных откосов, желтыми цветочками мать-и-мачехи.

Сереге спешить некуда, да если б и было куда — сил нет. Забравшись на крышу «эмки», он засыпает. На широкой крыше соседнего «хорьха» спать, конечно, удобнее — можно вытянуться, с боку на бок перевернуться, но «хорьх»— розовый, а «эмка»— черная: быстрей нагревается.

За забором, рядом совсем, громыхают составы, паровозы ревут и свистят, но Серега не слышит — не может слышать: устал.

Просыпается он в полуденный час от негромкого, но неожиданного здесь, в мастерских, пиликанья гармошки: привалясь к бамперу «студебеккера», сторож Ландин рассеянно наигрывает вальс «Амурские волны». Серега по багажнику сползает на землю:

— А где народ-то?

Ландин перестает играть.

— На митинг ушли, к железнодорожникам,— отвечает он, глядя вдаль.

— А что такое?

— Война кончилась,— объясняет Ландин, удивленно посмотрев на Серегу.

— Совсем, что ли?

— Совсем.

— Везде?

— Вроде,— пожимает плечами сторож.

Серега трет спросонок глаза, зевает и задумывается.

— Знаешь чего,— просит Ландин,— не в службу, а в дружбу: сколоти мне какой-никакой костылик, а то, вишь, с места сдвинуться не могу.

— У тебя ж был?

— Психанул тут, понимаешь, на радостях, об железину обломал...

В углу двора, возле «тигра» без башни, валяются обломки ландинского костыля. «Тигр» этот попал сюда с нашей техникой еще в те времена, когда мастерские занимались ремонтом танков. Теперь на плоскостях его корпуса рихтовали жесть, а в катках гнули прутки и трубы.

Померились ростом, получилось, что костыль надобно делать чуть выше Сереги. Сходив в столярку, он скоро принес не очень красивую, но достаточно прочную опору для Ландина.

— Углы ножичком подстрогаешь.

— Какой разговор!— Ландин обрадованно подхватил костыль.— Самое то, что надо!

Остался б Серега — все равно опять в ночь,— да голодно, вот и приходится идти домой.

На Хорошевке военнопленные разворачивают строительство: роют под фундаменты котлованы, пилят доски, выгружают из машин кирпичи.

— Эй!— окликает знакомый немец, который как-то попадал на работу в Серегины мастерские.

Несколько человек подходят, сдержанно здороваются, выясняют, слыхал ли Серега об окончании войны, после чего с явной радостью сообщают, что нашли наконец одного, который воевал под Москвой, и указывают на пожилого офицера.

— Наро-Фоминск,— говорит Серега, вопросительно глядя в глаза пожилого военнопленного.

— Я, я!— немец кивает.

— Каменка,— уточняет Сергей и повторяет:— Деревня Каменка, река Нара.

— Я, я!— Присев на корточки, он начинает щепкою чертить на земле схему. Показывает, где стояла их часть, где была артиллерия, где танки.

Серега со всем соглашается и, сев напротив, показывает, каким путем водил он разведчиков в немецкий тыл. Офицер, тыча пальцем то в схему, то в Серегину грудь, сбивчиво и — странно — с очевидною радостью, словно

однополчанина встретил, все рассказывает и рассказывает что-то своим по-немецки.

Подошел молодой, не видавший войны конвоир. Немцы извинились за приостановку работы, и те, кто знал по-русски, принялись разобъяснять ситуацию.

— Правда, парень?— спросил конвоир.— Сколько же тебе годов-то было?

— Червонец.

— Ну ты даешь! Покажь медальку-то хоть! Или не заслужил?

— Дома,— устало отвечает Сергей,— в другой раз как-нибудь.

Немцы интересуются, отчего Серега в такой день не веселится, не празднует, дескать, неужели ему в день, когда окончилась война, «не карашо».

— Хорошо-то хорошо,— вздыхает Серега.— Да только...— обводит их тусклым взглядом.— Лучше б ее вообще не было.

Тут, усиленный рупором, с противоположной стороны улицы доносится резкий гортанный окрик. Немцы тотчас расходятся и вновь берутся за кирки и лопаты.

— Ихний начальник,— виновато пожимает плечами раздосадованный конвоир.— Вишь, вредный какой — лю́дям и поговорить не дает!— И неодобрительно покачивает головой.

На прощание он пожимает Сереге руку...

Возле бараков, среди развешанного белья веселится народ: патефон на табуретке, бабы, бабы, бабы да пяток мужиков. Один летун — при наградах, руках и ногах, и где ж его только отыскали такого? Остальные — калеки: у которого рукав в кармане, у которого деревяшка из галифе торчит, а есть и вовсе безногий, на тележечке. Отталкиваясь чурками, он подпрыгивает — танцует, и с дробным лязгом ударяются оземь колеса-подшипники, а лицо уже побелело от боли.

Приближается идущий на посадку зеленый «дуглас». Бабы, стараясь перекрыть шум моторов, начинают орать, машут руками.

Качнувшись с крыла на крыло, машина проносится над самыми головами, отчего сохнущее белье перехлестывается через веревки. Бабы шлют вслед самолету распоследнейшие слова, но он уже исчезает за забором Центрального аэродрома.

Мать в комнате. Сидит за столом. На столе бутылка вина и завоеванная Серегой медаль.

— Кого ждешь?— спрашивает Серега, решив, что мать совсем сбрендила и вновь стала ждать отца, хотя в сорок четвертом они даже могилку нашли.

— Тебя,— отвечает мать. Встает, подходит к нему.— Если б не ты, если б не ты,— начинает плакать.— Я не знаю...— Вдруг в голос кричит:— Сережа!— И судорожно прижимает его к груди.

Он терпеливо дожидается, пока схлынут рыдания, пока обессиленно опустятся руки.

— Ну ладно, мать, чего ты? Нормальный ход!

— Да-да,— кивает она,— конечно. Ты садись, садись. Сейчас я примус разожгу, кашу согрею, и пообедаем, и отпразднуем, садись...— и уходит на кухню.

Серега садится к столу, давясь слюною, глядит на закуску: ломоть хлеба, вареную морковину, соевые батончики и горсть сухофруктов. В животе начинает скрипеть, бурчать, булькать, но все равно хорошо и клонит ко сну.

Друг Сашка стучит в окно. Приходится встать и открыть форточку:

— Чего тебе?

— Слышал?

— Да слышал, слышал!

— Плотва пошла!

— Чего?— ошарашенно шепчет Серега.

— На Таракановке плотва пошла — сменщик мой тридцать штук с утра заловил, так что давай скорей. Два крючка у меня есть, нитки есть, пробки найдем где-нибудь, червей у кавалерийской школы нароем, а удочки на берегу вырежем. Половим до темноты, а там, может, и на ночь останемся, костер разведем...

— На ночь я не могу, мне в ночь работать.

— Чегой-то?— удивляется Сашка.— У нас на авиационном так всем выходной дали.

— Ладно воображать-то: «на авиационном, на авиационном». Мы всю войну танки ремонтировали — тоже не хухры-мухры. А потом... может, и у нас дали — не знаю. Я ж когда уходил, никого, кроме сторожа, не было... Да дело не в этом. Боюсь, мать не отпустит — она на кухне, мимо не проскочить...

— Через окно!

— Ну дак в форточку не пролезть, а рамы заклеены.

— Открой, все равно теперь уже тепло будет!

— А и вправду!

Прислушиваясь, не идет ли мать, Серега быстро надрезает ножом полоски бумаги, отворяет окно и выпрыгивает.

— Крупная плотва-то?

— Ну! Хорошая, говорят!

И они бегом бросаются к Таракановке.

ДОЛЖНИК



ндрей Скрябнев — добросовестный ученик новейших оракулов — был убежден, что человек не только предполагает, но и располагает, и даже война не сумела вышибить эту уверенность из его стриженой головы.

«Люба,— писал он жене летом сорок пятого года,— как я и обещал, возвертаюсь в целости и сохранности».

Тут удачливого бойца перевезли в Маньчжурию, где еще до начала боев он подорвался на мине — смерть без задержки приняла его в уготованные объятия.

— Дурак!— сказала бабка Маруся, прочитав похоронку.— Дообещался!— Она утверждала, что погиб он исключительно из-за письма:— Мыслимо ли: от гибели зарекаться?! Дурак пятилетошний.

— Поч-че-му-у «пят-ти-ле-тош-ний»?— всхлипывала Люба.

— У пятилеток выучился планы строить: столь зерна, столь картофеля, энтова числа посеем, энтова сожнем... Дурак.

— Не ду-у-рак!— обиделась Люба.— Все же у-учетчик!

— А что, учетчик не бывает дурак? Первый дурак и есть! Справный мужик каким-никаким ремеслом владеет: тот, скажем, плотник, тот — кузнец, тот — пастух... Это уж совсем напрасные, те — учетчики... И чего ты в нем только нашла?

— Га-ли-фе-э-э!— заревела новоявленная вдова.— Ди-го-на-ле-вы-е-э-э...

— Ну да оно и ты дура,— вздохнула мать.— Какой с тебя спрос-то?.. Эх, Андрюша-Андрю-у-шень-ка-а!.. На кого же ты нас о-оста-а-вил?..— И обе женщины зарыдали в голос.

Лучшее средство от скорбей — новые скорби: не успело пролиться вдоволь слез, как земля вздрогнула и гулкое

эхо разнеслось по окрестным лесам — это двенадцатилетний Петька Скрябнев вышел с фугасом на голавля. Петька и прежде глушил рыбу, и Люба не сильно ругалась — есть что-то надо было... Да и хлопало тихохонько, бестревожно. Но на сей раз взрыв получился страшеннейший: он потряс — в том смысле, что тряханул — Любу, и она испугалась.

— Должно, новый склад отыскал — с большими бонбами,— определила бабка Маруся.— Сам-то не сгинул ли?..

Однако Петькин черед еще не наступил, и даже коекакой рыбешкой перепало разжиться — ее вместе с поворотом реки забросило в поле.

— Ты вот что,— сказала бабка Маруся дочери.— Пока он не подзорвался да не отправился вослед за отцом, катись-ка к Наталье — сколь уж она тебя звала, с сорок второго, чай...

Так Петька Скрябнев попал в Москву.

Тетка Наталья, служившая в офицерской столовой кавалерийской школы, устроила Любу к себе и договорилась насчет жилья — койки в бараке:

— Утрамбуетесь: он у тебя совсех доходяга — чисто клоп, да и ты не больно кругла. А там видно будет: может, уедет кто или помрет — коечка и освободится.

В ту пору необычайное распространение имели преступные нравы. Это закономерно: народные бедствия благоприятны для волков, ворон и воров.

Подростки и прочая мелюзга сбивались в кодлы, враждовавшие из-за несуразных причин, а то и беспричинно: «Сокольники» шли на «Измайлово», «Роща» на «Пресню»...

Наивные участники баталий не ведали, что в сложнейшей алхимии преступных дел им отводилась роль раствора для кристаллизации будущих душегубов.

На берегах Таракановки обреталась кодла, именовавшаяся «Хорошевкой». Атаманил в ней Валерка Бакшеев, по кличке Бак. Было ему лет семнадцать: фикса, папиросочка в углу рта, надвинутая на глаза кепка, «ша, падла», «попишу-порежу»— все как положено. Хазой Валерке служила одна из землянок, вырытых в склоне оврага, по днищу которого Таракановка и текла. Землянки появились летом сорок первого года после ночной бом-

бежки, спалившей эту окраинную слободу. Бараки потом отстроили заново, а землянки остались вместо погребов.

Однажды Петьку силком приволокли к Баку. Расспрос был дотошным и длился долго. Выпроводив новичка, Бак приказал своим: «Не трогать».

Целый год Петьку никто не «трогал». Он ходил в школу, играл в войну, а зимой еще катался с горы на салазках: саней тогда не было, из толстого стального прута гнули салазки, на полозьях которых, прижимаясь друг к другу, устанавливалось до пяти человек.

Видел Петька и побоища: «Сокол» на «Хорошевку», «Тушино» на «Хорошевку». Собиралось человек по шестьдесят — семьдесят с каждой стороны, дрались всякий раз в овраге. Как правило, ограничивались «кровянками»— множеством разбитых носов, лбов, легкой поножовщиной, но случались и более грозные кровопролития.

Осенью с обрыва сброшен был к реке «воронок»— один милиционер погиб. Зимой проломили головы двоим хорошевским.

Горячечные эти события привораживали Петьку: всякий раз он оказывался рядом. И, не вовлеченный в общую суматоху, то и дело примечал откровения, досужему взору непредназначенные. Он знал, что неугодный милиционер был по-тихому убит участковым Аверкиным: громила Аверкин задержал его под каким-то предлогом возле машины и свалил ударом кулака по затылку. Появился Бакшеев: труп затолкали в кабину, и Аверкин убежал к месту побоища, где прибывшая с «воронком» группа усердствовала на ниве пресечения беспорядков. Бак свистнул, хорошевские, бросая колья, побежали наверх и, когда набралось человек двадцать, машину столкнули. Перевернувшись на дне оврага, она загорелась и взорвалась.

В другой раз Петька, наблюдая за ходом сражения с командных высот, увидел, как из находящейся неподалеку «штабной» землянки вышел Бак и... главарь вражеской кодлы. Покачиваясь, они пожали друг другу руки и разошлись.

— Из шинелки!— крикнул Бакшеев вслед.

Не останавливаясь, чужак на мгновение обернулся и успокаивающе кивнул. Тогда-то двое хорошевских и погибли: один был одет в шинельного сукна полупальтиш-

ко, другой носил шлем, сшитый из такого же материала. Хоронили обоих на Ваганьковском кладбище, хоронили с пышностью, непривычной для тех времен: духовой оркестр, венки с живыми цветами — а была зима... Особо тронула родственников сострадательность кладбищенского начальства, взявшего на казенный счет похороны, памятники и оградки.

Петька догадывался, что за погибельными этими случаями кроются тайные какие-то причины, смысла которых он, как ни старался, а угадать не мог.

Летом добрался Бак и до Петьки.

— Ты, кажется, говорил, что в лесу около вашей деревни...— Дело ему поручалось секретное:— Если выгорит — при деньгах будешь.

А деньги Петьке были нужны. Не для себя: матери босоножки-«танкетки» купить. А то бабы в бараке смеялись: «Любка все в кирзачах да в кирзачах — ни один кавалер танцевать не приглашает».

В назначенное утро на мосту через Таракановку приостановилась трехтонка. Быстренько — как наставлял Бак — Петька вскарабкался через борт и зарылся в солому, машина тронулась.

В Москву они привезли полный кузов взрывчатки.

Люба плакала, умоляла сына держаться подальше от греха, но червонцы взяла и босоножки купила.

Поездкой этой Петька заслужил такое доверие, что через неделю был призван в стремные и целыми днями пропадал теперь у ворот Ваганькова рядом с безногим попрошайкой. Иногда безногий отправлял его выследить какого-нибудь гражданина. Прячась за памятниками и деревьями, Петька наблюдал, а потом отчитывался перед калекой.

В те годы посреди Ваганькова стояли жилые дома: двухэтажный барак обслуги и хутор сторожа. По временам здесь собирались выдающиеся мастера отечественного беззакония, и тогда выставлялась охрана. Вот и сейчас на кладбище пребывал фрайер всесоюзной размашистости.

На переговоры с ним почти каждый день заявлялся крупный штатский начальник. Оставив черный ЗИС возле рынка, он покупал букетик цветов и спешил на кладбище. Пройдя непрямым путем в дальний угол, останавливался перед старинным памятником. Если вокруг было спокойно, рядом с ним оказывался всесоюз-

ный пахан и начинались переговоры. Петькина задача была — крутиться в некоторой отдаленности и при первых же признаках тревоги поднимать шум. Ближние подступы охранялись скорыми на руку молодцами. Застоявшись, собеседники начинали прогуливаться по аллее туда-сюда, и Петька, по случайности, однажды наткнулся на них и услыхал обрывочек разговора.

— А! Ерунда какая-то,— поделился он с безногим наставником.— Про канал какой-то да про канал...

— Канал, брат, это амнистия,— вздохнул калека,— а за амнистию надо платить.

Петькина благонадежность — совершенно в духе ратных традиций — была отмечена наградным оружием — маленьким пистолетом системы «Вальтер».

Дальнейшее течение его жизни делается в этот момент как будто бы предсказуемым, однако обстоятельствам вновь угодно было распорядиться по-своему: могущественный пахан внезапно умер.

— На игле,— объяснил инвалид, многозначительно подмигивая.— Что-то не то вколол.— И пожал плечами:— Бывает...

Убрали его в свежезасыпанную могилу: разрыли, бросили на чужой гроб и закопали.

Пока в коридорах двухэтажного дома утверждалась новая власть, Петька за ненадобностью отдалился. А осенью он пошел в ремеслуху, и времени на рисковое подвижничество хватать не стало.

Тут, не без содействия коварных «танкеток», охмурила мать дядю Володю — конюха из кавалерийской школы.

— Чего ты в нем нашла, Любк?— дивились бабы.— Старый и навозом всегда воняет.

— Дак ведь блондин!— изумлялась Люба.

Этот дядя Володя, сам того не ведая, привел Петьку к краю наземного бытия.

— Ты вот что,— сказал однажды Бакшеев,— насчет завтрашнего слыхал?

Петька знал, что на завтра назначено очередное побоище.

— Пора тебе,— усмехнулся Бак.— Созрел... Ты в фуфайчонке будешь?

Петька кивнул: кроме материной телогрейки, ему и надеть-то нечего было.

— И в этих валенках?.. Заметано,— Бак направился своей дорогой.

И тут вдруг в Петькином сознании яснее ясного изобразилось: это — смерть. «Фуфайчонка» связалась с «шинелкой», появление дяди Володи — с приездом отца одного из погибших. Предчувствия Петькины были верны: Бак боялся сторонних авторитетов, боялся, что мальцы болтанут лишнее, заложат его, и в сомнительных ситуациях легко расходовал их. На всякий случай... Правда, второй мальчишечка прибит был тогда по ошибке: шлем, вишь, у него из такого же сукна оказался.

Что было делать? Где защиты искать?.. Милиционер Аверкин — с Бакшеевым заодно, на Ваганькове власть сменилась... Конюх дядя Володя? А что он может? Ну, завтра прикроет, оборонит, а послезавтра? А через пять, семь, десять дней? Конюх — он то в конюшне, то в казарме, а Бак — рядом всегда. Тут уж не выкрутишься. И Петька пошел...

В минуту, когда чужаки, наведенные главарем, стали оттеснять его от хорошевских, Петька выхватил из кармана наградной «Вальтер» и пальнул прямо перед собой... Потом еще и еще. Ни в кого он не попадал — уж очень сильно подбрасывало пистолет при выстрелах,— но баталия сразу и завершилась: обе стороны бросились в паническое отступление. Возвращался Петька один. Бакшеев, стоявший у входа в землянку, молча провожал его взглядом: похоже, стрельба оказалась для него неожиданностью и теперь требовалось время, чтобы установить, кто именно облагодетельствовал ребятенка пушечкой — тут ведь и самому недолго промахнуться и в тартарары улететь.

Вскоре в барак заявилась не известная никому бабенка, порасцарапала Любе физиономию, и на этом роман с духовитым блондином закончился.

Минуло три года. Петька одолел курс наук и пошел в домоуправление слесарем, мать устроилась дворничихой туда же, получили они комнатушку в полуподвале, и началась новая жизнь. В пять утра — на тротуар: сметай пыль, сгребай снег, лед скалывай. Подсобит Петька матери, а потом весь день бегает: тут батарея протекла, там труба засорилась... Публика была неплохая: офицеры, генералы, тренер футбольной коман-

ды, велогонщик, министр, шофер легендарного полководца, два писателя... И ребятишки хорошие: мастерят самокаты на шарикоподшипниках, гоняют в футбол, зимой каток заливают, и никаких тебе кодл. Таракановка, Ваганьково, Бак — все это провалилось куда-то в прошлое, хотя и оставалось рядом. По вечерам — снова тротуар, снова — лом, скребок, лопата или метла с совком. Москву тогда чистили так, что и среди зимы асфальт был словно летний.

В свой срок ушел Петька в армию, в свой срок вернулся к унитазам и стоякам. Глядь, а у матери новый хахаль — завалященький старикашка такой.

— Больно уж неказист, мам.

— Зато моряк, Петенька: китель — черный, брюки — клеш, а на боку,— Люба закатила глаза,— кинжал...

— Кортик, называется... Ну-ну, тогда конечно.

Стал Петька замечать, что время жизни его вдруг задергалось: если, к примеру, футбольный матч на «Динамо» тянулся, как и прежде, едва не вечность, то некоторые месяцы и даже годы проскакивали в мгновение: год — и нет бараков, а на их месте возводятся железобетонные дома; другой — и на кладбище никаких следов от жилья не осталось; третий, пятый... Понеслось время безудержно.

Давно уже нет бабки, умерла мать, затерялся в бескрайних просторах отечества злоумышленный человек Бакшеев...

С особою прихотливостью распорядилась судьба Аверкиным. Он было достигнул знатных высот, но тут и пострадал. А вышло так: милиционеры притащили найденный где-то ржавый маузер. Аверкин взял пистолет в могучие руки и на робкое: «Там, кажется, патрон остался»— отвечал: «Не первый день замужем, разберемся». В сей момент грянул выстрел: пуля прошила дверь и, пролетев несколько метров по коридору, прервала свой печальный путь в мягких тканях другого начальника. Ранение было хотя и конфузливым, но неглубоким — вызванный доктор прямо здесь, в кабинете, извлек пулю. Однако по причине ее невероятной загрязненности случилось заражение крови, исход которого оказался роковым. Началось унылое в своей простоте следствие: была ведь уже решена почетная ссылка, и в

краю, где строился очередной великий канал, ждали уже Аверкина апартаменты побогаче московских. Убаюканный формальным ведением разбирательства, Аверкин потерял бдительность, и из кромешной тьмы его прошлого нечаянно выплыли факты, взывающие ко вниманию. Меткий стрелок заволновался, стал путаться и в конце концов покончил с собой.

Петька обрел жену, детей и квартиру и с неслабеющим упорством продолжал укрощать водопровод.

Дело шло к пятидесяти годам, взрослели дети. Привязалось к Петру Андреевичу Скрябневу неизъяснимое чувство. Сначала маленькое, чувство это стало затем расти и увеличилось до того, что пошевелило разум.

— Вот что интересно,— произнес как-то среди ночи Петр.— Это ведь сколько людей моего года поумирало уже!

— Ну и чего?— не поняла супруга.

— А я живу.

— И хорошо,— определила она.

— Хорошо-то хорошо, да вроде как должен кому-то.

— Чего должен?— спросила она с настороженностью.

— Понимаешь... Вот, скажем, в детстве: бросишь гранату, осколки — жжих, жжих, а меня — обносило. Один раз такой взрыв устроил, аж река испрямилась... Камни летели: в деревце попадет — хруп деревце, а меня опять обнесло. Потом это: в шайку угодил, как карась в бредень, и — нá тебе: точно против моего носа дыра — я и вывалился. Потом хмырь один вроде как приговорил меня — обнесло. А я сам? Из пистолета в упор стрелял — и промазал, смертоубийцей не стал... Что же это получается?

— Как «что»? Ну-у... повезло, и все тут.

— Вот именно: повезло. Но я ведь за это кому-то должен?

— Чего должен?

— Хотя б «спасибо» сказать.

— Кому?

— Не знаю.

Супруга принюхалась.

— Да не пил я.

— Ходишь по своим генералам, маразмом заражаешься...

— Да при чем тут?! Эх!..

— Ну и не лезь с пустяками, спи давай...

— Да какие же это пустяки? Это, может, самое главное в моей жизни!

— Вот ты и думай, а мне не мешай.

— Буду думать.

— Во-во...

И Петр Андреевич начал думать.

ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ



ыло это в пятьдесят втором.

Лагерь располагался на берегу Истры: поднимающийся от реки луг, на самом верху — двухэтажное деревянное здание, жутковатое по причине черноты стен и своей одинокости. Жилые бараки стояли ниже. Они были совсем новые — их не успели ни покрасить, ни проолифить. Сильно пахло сырой древесиной, смолой, земля вдоль стен была завалена стружкой.

Должно, от того, что воспитателей и вожатых недоставало, порядки там были вольные. Настолько вольные, что даже мы, дошкольники, состоявшие в самом младшем отряде, случалось, уходили в лес — благо забора не было, а лес начинался совсем рядышком и почему-то внушал нам куда меньше страху, чем мрачный короб, громоздившийся на вершине лысого и широченного — во весь горизонт — холма, хотя в дом тот нас водили до четырех раз каждодневно. Вблизи, правда, он не казался таким страшенным: заметно было, что стены — не черные, а темно-темно-зеленые, к тому же нас там кормили, а иногда еще и показывали в этом доме кино, но издалека, от бараков, вид его производил гнетущее впечатление — очень уж мрачным и безраздельным было господство этого предмета над видимою нам местностью.

Если мы — мелкота — бродили поблизости, то ребятишки постарше хаживали и в удаленные леса. Скитания их стали со временем приносить плоды, и в лагере появились патроны, снарядные гильзы, оболочки гранат. Эти вещи именовались в обиходе «штуками» и в зависимости от ценности обменивались на один или два полдника.

Выменяв все свои будущие полдники на пригоршню автоматных патронов, я решил, что настала пора действовать самостоятельно, и тоже пустился в поиск. Старшие ребята рассказывали, что искать лучше всего

в окопах, землянках и блиндажах. Конечно, все, что находилось в пределах моей досягаемости, было уже не раз проверено, однако перед шустрившими здесь прежде я имел одно преимущество — то самое, благодаря которому дети находят деньги значительно чаще, чем взрослые: я был ниже любого из них, а посему — ближе к земле. Вот под ногами-то я и обнаружил однажды проросшую травой пулеметную ленту. Следующей добычей оказался ржавый винтовочный ствол. Когда, задыхаясь от восторга, я волок этот ствол к лагерю, неподалеку от меня послышались знакомые голоса — это возвращались с «охоты» старшие. Нас разделял неглубокий, прятавшийся в бузине овраг — по сторонам его мы и шли. Я остановился: во-первых, «штука» была тяжеловата и требовалось отдохнуть, во-вторых, ребятишки, попадись я им, вполне могли изъять ее у меня — ствол, конечно же, стоил не одного полдника.

Они тоже остановились и о чем-то заспорили: «Я!»— «Нет, я!» Наконец как будто поладили, и тут же с их стороны вылетело нечто, похожее на камень или на бульдик, как мы говаривали тогда, и через несколько мгновений на дне оврага так жахнуло, что я упал: да, это была настоящая «штука», не то что моя труба.

В конце первой смены взрослые устроили праздник: приволокли из лесу огромную ель — волокли, впрочем, лошади, взятые напрокат в ближайшем колхозе,— стоймя вкопали ее посреди лагеря, накидали под нижние ветки дровишек, облили бензином и подожгли. С тех пор я никогда более такого костра не видел.

Вторая смена началась трагически: вбивая в землю штырь для растяжки флагштока, подорвался аккордеонист. На другой день в лагере появились саперы. До обеда мы вообще не выходили за дверь — еду сухим пайком доставили из черного дома сами солдаты, но к вечеру нас пустили погулять на волейбольную площадочку, ограниченную красными флажками. Срочно началось сооружение изгороди.

Через несколько дней территория была очищена от лежавших в земле металлических предметов, а наши тумбочки, матрацы и тайники — от «штук». Каждый вечер на той стороне реки гремели взрывы.

Наконец лагерь огородили. За пределы разрешалось выбираться только в сопровождении взрослых, передви-

гаться — лишь по тропинкам, обозначенным саперами. Так и шастали: гуськом, шаг за шагом, а справа и слева — бечевки с тряпочками-флажками.

Пообвыкли, боязнь стала таять, а тут еще малина поспела... И вот целый отряд — двадцать четыре пионера да с ними вожатая — свернул с тропки в малинник. Что ж — им по десять-одиннадцать лет, она тоже девчонка почти — очень уж ягод захотелось, наверное. В общем, разметало — не знали потом, чтó хоронить.

Ночью пришла колонна крытых грузовиков: при свете фар началась эвакуация. Офицер, руководивший погрузкой, давал команды: «В Немчиновку!», «В Мытищи!», «В Подольск!» Когда привели нас, он удивился: «А это еще кто такие?»— уж больно малы мы были.

— Сорок шестой-сорок седьмой год,— отвечала воспитательница.

— Послевоенные,— заключил офицер и подозвал другого, в руках у которого был развернутый командирский планшет —«штука» на десять полдников.

— Посвети-ка,— и наклонился к планшету. Потом ткнул пальцем:— Вот. Лучшее место!

— Может, сюда других?— возразил второй.— Есть ребятишки и поголодавшие, и сироты...

— Есть,— согласился старший и твердо повторил:— Есть. Но сюда,— он снова ткнул пальцем в список,— нужно отправить вот этих — первых послевоенных.

— Почему?

— «Почему?», «почему?»... Как ты, братец, не понимаешь?— воскликнул он.— Да! Те — голодали, теряли родителей, под немцем мыкались, а эти — счастливенькие, благополучные... Но давай хоть одного человечка вырастим неизломанным, ведь сколько лет... Сколько... десятилетий уже!.. А дерьма они еще полными ложками начерпают! — махнул рукой и ушел в темень.

Так что заканчивали мы вторую смену совсем в другом лагере: вместо бараков там были красивые терема, украшенные резными наличниками, перед каждым теремом — клумба, и целая бригада работниц во главе с садовником ухаживала за цветами — только поблекнут ноготки, глядь — на их местах душистый табак цветет, а начнет израстаться табак — на его месте гвоздички... Были там и голубые ели, и даже свой сад — с яблоками и диковинно крупной малиной. Каждый вечер крутили кино, в каждый теплый день возили купаться. На автобусе. До-

рога шла мимо песчаного карьера, в котором работали экскаваторы, и всякий раз вожатая говорила нам: «Стройка коммунизма! Смотрите и запоминайте!»— и мы смотрели и запоминали. Запоминали карьер, заливчик: справа — автомобильный мост через канал, слева — мачты высоковольтки, в небесах — самолет, а над водою скользили паруса яхт — всё, как на единообразных картинках, которыми в ту пору щедро украшались обложки журналов, коробки конфет и казенные помещения, вроде железнодорожных вокзалов. Иногда еще для пущей похожести появлялся глиссер, речной трамвайчик, а то и сам флагман московского пароходства — белоснежный «Иосиф Сталин».

Нас переполняло счастье, и казалось, что так будет всегда...

ВЕНЕЦ ТВОРЕНЬЯ



К концу войны приход за нерентабельностью закрыли, и Лукерья, служившая в церкви старостой, подалась за штат. Переехала поближе к Москве — купила полдома в деревне Карамышево — и зажила себе, ничего не делая, благо сбережений хватало.

Хозяином другой половины был Иван Тимофеевич Корзюков — человек рукодельный, мастеровой: пчел держал, ботинки чинил, столярничал. Лукерья по долгу бывшей своей службы относилась к умельцам разных полезных ремесел с особенною заинтересованностью, и, вероятно, Иван Тимофеевич смог бы вскорости добиться ее расположения, когда б не одно обстоятельство: сосед имел крайне нескладную конфигурацию. Туловище его было как бы вытянуто вверх в ущерб шее и даже отчасти голове. То есть это был нормального роста человек с очень высокими прямыми плечами, из которых чуть выпирала маленькая, словно обтаявшая, голова. Для придания голове хоть какой-либо стройности, Иван Тимофеевич постоянно напяливал на нее шляпу. Держаться шляпе, кроме как на ушах, было, понятно, не на чем, и уши от многолетнего на них воздействия оттопырились, наклонились и заняли совершенно горизонтальное положение, иначе — сделались параллельны плечам.

На лице Ивана Тимофеевича вполне хватало места для носа и глаз, но лба почти не было, а под носом в неимоверной тесноте лепились рот с подбородком.

— Небогоугодно это!..— подозрительно приглядывалась к соседу Лукерья, обладавшая, напротив, внешностью настолько ладной, что даже бывший начальник — истинный праведник — и то дня не удерживался, чтобы не сказать: «Вы бабочка путная и весьма не ровная, так и хочется за что-нибудь вас зацепить, но...»— тут он указывал глазами вверх и подневольно разводил руками. Лукерья с тяжким вздохом заканчивала разговор: «Это конечно».

Иван Тимофеевич всерьез занимался огородничеством и садоводством. Участок его был так аккуратен, как бывает разве только у немцев или у англичан. Половина же, отошедшая к Лукерье, быстро позахламилась, позарастала бурьяном, а на все замечания соседа о необходимости рыхления кругов под деревьями Лукерья с равнодушием отвечала: «Ежели оно ро́дит — и так роди́т».

Иван Тимофеевич носил с пустыря конский навоз. Лукерья тащила всякую найденную деревяшку, железку, кусок кирпича и складывала в кучу под вишнями.

— Зачем?— изумлялся сосед.

— Матерьял,— хладнокровно объясняла Лукерья.— Нельзя дак, чтобы исчезнул.

— Я могу достать для вас хорошего кирпича, досок, бревен...

— На кой?— недоумевала Лукерья.

— Ну вам же надобно для чего-то?

— Не надобно. Бог дал,— и показывала, к примеру, на кусок водопроводной трубы,— я подобрала. Вот и все.

— А зачем?— возвращался сосед к началу.

— Я ж говорю — матерьял! Чего ж тут непонятного?

Зимой в «матерьяле» поселилась собака. Лукерья никак не отваживала ее и даже кормила, то есть выбрасывала теперь мусор не в выгребную яму, а под крыльцо, что сразу же по достоинству оценили все карамышевские псы.

Весной, когда ненатурально ровные грядки соседа покрылись налетом всходов, Иван Тимофеевич объявил собакам войну: расклеил на заборах невесть откуда взятые печатные объявления об опасности заражения бешенством, вызвал из Москвы «живодерку», которая, правда, из-за распутицы не добралась, стал ходить по деревне с ружьем и однажды гордо похвастался, что «прибил наконец мерзавца, который топтал морковь».

— Так это же мой Трезор!— завопила Лукерья.

— Возможно,— согласился сосед.— Но ведь он — собака, а морковь — для меня.

— Ну и чего?

— А я человек.— Видя, что ход его рассуждений Лукерью не убеждает, вразумляюще заключил:— Венец, значит, творенья.

У Лукерьи раскрылся рот, глаза вытаращились до того, что стали сухими.

— Венец творенья?— переспросила она. И тут с женщиной случился приступ, вроде астматического: она даже засмеяться не могла — выла и захлебывалась в этом вое.

Испугавшись, Лукерья заставила себя смолкнуть, восстановила дыхание, но не иначе как сам черт дернул ее за язык:

— Венец, стало быть?

И все сначала.

— Пусть — не я, пусть — вы,— недоумевал Иван Тимофеевич,— но ведь не Трезор же?..

С трудом добралась она до кровати и повалилась ничком. В конце концов этот приступ сменился приступом голода — так много сил потеряла Лукерья.

Иван Тимофеевич недолго обижался на смех соседки. В начале лета он попросил помощи: умерла единственная его родственница, и нужно было перегнать из Расторгуева доставшуюся в наследство корову.

Первые километры, пока под ногами была земля, шли споро. Но потом земля кончилась, и животное об асфальт сбило копыта. Во дворе четырехэтажного дома на Мытной заночевали. Иван Тимофеевич подоил корову, привязал к дереву на газоне, попили с Лукерьей молока и, привалясь друг к дружке спинами, уснули на садовой скамье. Ночью было свежо, но Лукерья, прижимаясь к всхрапывающему соседу, не замерзала. «Все-таки с мужиком хорошо,— оценивала обстановку Лукерья.— Бывало, и печку натопишь, и ватным одеялом укроешься — все равно холодно, а вдвоем, вишь ты, даже на улице — и то ничего».

Вся ее «личная жизнь» сводилась к четырем дням замужества, а на пятый — это было в ее родном городке в тысяча девятьсот восемнадцатом — муж, не успев стать ни белым, ни красным, погиб от случайной, предназначавшейся вовсе не ему пули: сшиблись на окраине два отряда, перестрельнулись и разлетелись, а он невдалеке по улице шел да там и остался.

Стала Лукерья что ни день в церковь ходить — молиться за упокой души убиенного. Через эту преданность и усердие на службу к батюшке и попала. Четверть века старостой проработала и ни с кем, кроме батюшки, не зналась. Священник заповедей не нарушал,

и потому никакой «личной жизни» у Лукерьи впредь уже не было.

Теперь во дворе на Мытной Лукерья с тихой скорбью думала о своем одиночестве и винила себя за бесчувственное и даже, как ей казалось, недоброе отношение к столь теплобокому Корзюкову.

На рассвете корова пощипала травы и, не дав молока, тронулась дальше. Однако вскоре совсем обезножела: поревела, поревела и залегла прямо на тротуаре. Город начинал просыпаться — появились на улицах машины, дворники с метлами и жестяными совками.

— Пропадет животное!— всхлипнул Иван Тимофеевич.

— Сымай сапоги!— приказала Лукерья.

— Зачем?

— Сымай да надевай ей на ноги! Мысками назад!..

В шесть утра на Большой Каменный мост взошел босой Иван Тимофеевич с развевающимися тесемками исподних штанов, за ним плелась на веревочке черно-белая худая корова в кирзовых сапогах носками назад. Причем один был на правой передней, другой — на левой задней ноге. Следом, с фанеркою и ведром, приготовленными на случай внезапности, шла Лукерья. Всю эту команду на спуске с моста остановил милиционер. Долго и небеспристрастно беседовал, но проникся чувствительностью и разрешил пройти: «Чтоб духу вашего через минуту здесь не было!» Может, конечно, дело было вовсе не в чувствительности, а в духе. Но так или иначе, а пропустил. И корова дошла до Карамышева. Правда, для этого пришлось купить у инвалида-старьевщика еще одну пару сапог.

В те годы по Москве бродило много старьевщиков: «Старье бере-ом, старые вещи покупа-аем». В их огромных заплечных мешках валом лежали новенькие, «ни разу не надеванные» вещи: сапоги от тех, кому обувка уже не надобилась, гимнастерки, шинели, фуражки...

Лето соседи прожили душа в душу. Иван Тимофеевич частенько намекал Лукерье на то, что полдома — хорошо, а дом — лучше, и также — про сад-огород. Лукерья пожимала плечами, томно вздыхала и опускала долу глаза. Но как только Иван Тимофеевич начинал жаловаться, что, дескать, устает, что не успевает управляться с хозяйством, соседка встряхивалась и решительно возражала:

— Ну уж нет, это уже невозможно: и корова, и поросеночек, и пчелы, и огород, и сад — невозможно.

— Да пчел я уж как-нибудь сам,— робко отступал Иван Тимофеевич.— И огород тоже, и в общем-то поросеночка,— заканчивал он совсем шепотом.

Несколько подумав над этим дипломатическим меморандумом, Лукерья приходила к выводу, что ей предлагается полностью взять на себя заботы о черно-белой корове, половину забот о поросенке и, кроме того, удвоить объем стирки, уборки и прочих домашних дел.

— Нет!— звучало ее последнее слово, и разговор прекращался до следующего раза.

К середине лета Иван Тимофеевич сумел убедить соседку, что «матерьял» пришел в полнейший упадок и следовало бы от него как-то избавиться, не то, случись искра, вспыхнет пожар.

— Бог дал — Бог взял,— неожиданно легко согласилась Лукерья и, пока Иван Тимофеевич ездил на Ваганьковский рынок продавать мед, наняла двух «умельцев», которые закопали хлам прямо посреди сада.

Вернувшись домой и увидев выросший за день курган, сосед ахнул:

— Это ж земля!— имея в виду, что загублена территория, пригодная для земледельчества.

— Все из земли вышло и все туда же должно уйти,— между прочим отвечала ему Лукерья, разглядывая с высоты прекрасные дали.

Но, несмотря на полное пренебрежение к агротехнике, яблок, вишен и слив в ее саду уродилась прорва. А у Корзюкова, напротив, был неурожай, одно дерево и вовсе усохло.

— Это все из-за вашего «матерьяла»!— обижался он.— Не иначе — подземными водами заразу какую-то занесло.

— По́лно!— отмахивалась соседка.— На моем-то участке ничто не гибнет. Просто вы продыху растениям своим не даете: все что-то пилите, мажете, поливаете — тьфу, право. Им ведь тоже воли охота.

Иван Тимофеевич уговаривал поскорее собрать урожай да свезти на рынок, но Лукерья не торопилась, и в конце концов сад обчистили карамышевские мальчишки.

— Беда-то какая! Ах, беда!— причитал Иван Тимофеевич, ломая на груди руки.

А Лукерья облегченно перекрестилась:

— И мне — польза, и ребятишкам — хорошо.

— Как же вас старостой-то держали? Вы ж растрачивались, наверное?

— Боже упаси! Там ведь добро общественное — как можно?

...Осенью Иван Тимофеевич предложил обшить дом тесом.

— Зачем?— пожала плечами соседка.

— Для тепла.

— Эх, голубчик! Не в том тепло-то!— И отказалась.

К зиме половина дома была обшита свежими досками, другая так и осталась чернеть древней сосной.

Между тем Лукерья сумела вновь накопить кучу разнообразного «матерьяла», и в этой куче поселился новый брехлявистый Трезор не то Полкан.

Однажды зимой Лукерья пригласила соседа на день рождения. Выставила бутылку «белой головки», закуску приготовила, пирог испекла. Иван Тимофеевич принес в подарок кагору:

— Вы дамочка церковная, божественная, так что я кагорчику в том смысле, что и сам водки не употребляю.

Подумав и ничего не поняв, хозяйка решительно указала:

— Садитесь!

Выпили винца. Лукерья предложила спеть песню. Сосед стал смущенно отказываться, и Лукерья самостоятельно спела сначала «Шумел камыш», потом «Темная ночь», «Огонек» и, наконец, «Что стоишь, качаясь, то-онкая рябина...».

Терпеливо дослушав историю про рябину, которой хотелось перебраться к соседу-дубу, Иван Тимофеевич спросил:

— А у вас, извиняюсь, конечно, сбережений-то еще много осталось?

— Все кончилось, голубь мой, все! Менять нечего, покупать не на что.

— Это нехорошо! Совсем, знаете ли, нехорошо!— и полюбопытствовал:— Огородничеством, стало быть, займетесь? А может, и поросеночка?..

— Что вы?— возразила Лукерья.— Зачем? Я устроилась охранником на строительство моста: ночь дежуришь — ночь дома.

— Но ведь это,— наморщил он переносицу,— совсем мало денег.

— А на кой их много-то? Проживу! У меня их знаете сколько было? Мильены, наверное! Матрац был деньгами набит — подумаешь! Батюшка церковные деньги у меня хранил... Чего вы там углядели?.. Да не этот матрац — в этом солома... А нынче взяла я остатки и пошла тратить! Ведь.. Ой, щеки горят. Всегда у меня так от кагорчика... Ведь пока есть деньги, их надо тратить, потому что, когда их не будет, нечего будет и тратить, вот...

— Что ж вы приобрели?— осторожно спросил Иван Тимофеевич.

— Ружье. С патронами. У охотника одного.

— Зачем?!

— Хотелось, знаете, себе подарочек какой-никакой сделать,— усмехнулась она.— Пятьдесят лет все-таки. Попалось ружье, и хорошее, сказали, ружье, да к тому же еще и с патронами...

— Неправильно вы живете,— испуганно заключил Иван Тимофеевич.— Очень неправильно.

Она опустила голову, положила ладони на край стола и затихла. Сосед что-то говорил, говорил, но Лукерья молчала. Он обиделся и ушел. А Лукерья, отставив в сторону недопитый кагор, откупорила бутылку водки.

Поздно ночью она запела. Иван Тимофеевич проснулся. «Фи-и-и...» После каждого «и» она набирала воздуху, так что всякое следующее делалось громче и выше предыдущего. Наконец, достигнув предела возможностей, она сорвалась с этой высоты истошным бомбовым воем: «Ииильдеперсовы чулочки, фильдеперсовы мои!»

— Что с вами было?— участливо спросил ее на другой день Корзюков.

Лукерья нахмурилась:

— Это когда?

— Да ночью? Сегодня ночью! Вы не то пели, не то кричали...

— А-а, понятно. Это я развязала. Год в завязке была, а теперь, стало быть, развязала.— И, перекинув за плечо ружье, направилась к калитке.

— Куда же вы?

— Пойду потренируюсь: нынче ведь на охрану объекта заступать — мало ли что, а я стрелять не умею.

— Так неужели вы сможете на такое решиться? Вы ведь как-никак дамочка божественная и насчет всего такого-прочего...

Она недоверчиво посмотрела на него исподлобья:

— Да вы что, голубь? Неужели не понимаете? Это ж не огород, это же стройка — дело общественное! Я коменданта так и предупредила: ежели жулик или шпион какой сунется, я его с ходу... Прости, Господи! — и перекрестилась.

— Ну а что,— Иван Тимофеевич поперхнулся,— что комендант?

— Валяй, говорит: один раз — в воздух, а потом — валяй. Только вот стрелять не умею, потренироваться надобно.

Так и зажила Лукерья: днем спит или тренируется, ночью дежурит или поет.

К водке ее нечаянно привадил батюшка. Он брезговал употреблять этот напиток в одиночестве. Обычно, пересчитав доход и записав все, что полагается, в учетные книги, батюшка отправлялся затворить за старостой дверь, а заодно и «огурчиков принесть из чуланки». Матушка-попадья, не один год охотившаяся за спрятанными бутылками и знавшая много мужниных тайников, не догадывалась, что можно хранить бутылки в бочках с солеными огурцами. Сама она в рассол не лазила — руки берегла, а батюшка, заскочив с фонарем в чуланку и нашарив среди огурцов нужный предмет, быстро наполнял загодя припасенный стопарик, опрокидывал и наливал старосте. Медлить было нельзя: Лукерья залпом, по-мужски, выпивала и совершенно по-женски зажимала ладонью рот и выкатывала глаза. Батюшка, пристально и сопереживательно глядя на нее, натурально морщился, крякал и даже съедал еще один огурец.

— Ой, батюшка, не попадете вы в рай,— начав дышать, говорила Лукерья.— Нарушили-таки заповедь, сотворили себе кумира.

— Нисколько,— бросал батюшка.— Воля моя: хочу — выпью,— он наполнял стопарик и выпивал.— Хочу — не стану.— И, воткнув пробку, запрятывал бутылку снова под огурцы.

Все действо занимало не более минуты и сроду никаких подозрений у матушки не вызывало. Принеся к ужину соленых огурчиков, батюшка обыкновенно уговаривал попадью выпить по рюмочке «слатенького», ну а после «слатенького» нюх у попадьи совсем сбивался.

За годы службы Лукерья к водочке попривыкла настолько, что стала попивать и в одиночестве. Уйдя из церкви, «завязала», но теперь вот...

Не выдержав однажды очередного «фи-и», Иван Тимофеевич постучал в стенку.

— Войдите,— вежливо пригласила Лукерья. Никто не вошел.— Чепуха какая-то... Фи-и-и-и...

Он постучал громче. Тут наконец Лукерья сообразила, в чем дело, и, отрицательно помотав головой, продолжила:

— И-и-ильдеперсовы чулочки, фильдеперсовы мои...

Сосед стал бить чем-то тяжелым. Лукерья раздосадованно вздохнула и, взяв кочергу, ответила. Звук получился дребезжащим, противным. От его неказистости сосед словно бы даже воспрянул.

— Все одно твоя не возьмет,— глядя сквозь бревна, пренебрежительно сообщила Лукерья и сменила кочергу на топор. Удары обухом получились хоть и тяжелыми, но глухими. Выслушав их, Иван Тимофеевич просто зашелся в победном раже. «Чем же это он так?— позавидовала Лукерья.— Громко, четко — прям молодец!— Положила на место топор, внимательно огляделась и нашла:— Вот это дело!» Через минуту дом содрогнулся от выстрела. Сосед стих.

— Фи-и-и-и-и-ильдеперсовы чулочки, фильдеперсовы мои!..

На другой день к ней явился милиционер.

— Это вы стреляли в гражданина соседа?

— Не,— и указала дырку в потолке.

Милиционер смутился:

— Все равно нельзя.

Тут только Лукерья заметила, что форма у него не такая, как у всех милиционеров.

— Погоди, погоди. Ты, что ли, из Серебряного бора? Из речной, что ли, милиции?.. А ну дуй отседова! Дуй, дуй! Лови утопленников!

Смущенный милиционер ушел. «Ах, Иван Тимофеевич, Иван Тимофеевич,— горестно вздохнула Лукерья.— И не стыдно тебе». Сосед хоть и прижимал свое оттопыренное ухо к стене, слов этих тихих не слышал.

Однажды пришел и участковый.

— Не пущу я вас,— сказала она через дверь.

— Взломаем.

— Стрелять стану.

Он помолчал, обошел дом, поговорил о чем-то с соседом и возвратился:

— Отчего ж Иван Тимофеевич вам так не нравится?

— А вам нравится?

— Это уж к делу не имеет. Он человек проверенный, всю жизнь здесь живет. Был первым в деревне колхозником, первым, опять же, ополченцем. Контужен, инвалид войны...

— Жлоб он,— возразила Лукерья,— для всех — инвалид, а на себя пахать — трактор.

— У него есть справка.

— Он в ополчении, поди, и трех дней не пробыл, а уж контузию, точно, от своих схлопотал.

— Наговариваете,— предупредил милиционер,— он человек вполне проверенный. А вы сами, как нам известно, религиозным дурманом занимаетесь.

— Ну ты вот что,— притомилась Лукерья,— я охраняю стройку коммунизма, а ты меня на пост не пускаешь. Это как понимать? Может, ты враг народа или шпион? Может, напарники твои сейчас объект взрывают, а ты меня тут задерживаешь, а? Дак тебя, диверсанта, стрелять надо, счас я...

Милиционер ушел.

«Дурак»,— вслед ему грустно сказала Лукерья.

Отношения между соседями необратимо ухудшались. Иван Тимофеевич разгородил сад крепким глухим забором, потом разгородил и чердак. Случалось теперь, что они месяцами друг дружку не видели. Петь Лукерья стала значительно реже — с деньжатами было туго да и здоровье не позволяло. Сосед тоже прибаливал — несколько раз уже его забирали в больницу. Так и жили, каждый на своей половине.

Однажды весенней ночью Лукерья проснулась с ощущением неопределенной, но сильной тревоги. Пошастав туда-сюда по комнате, она оделась и вышла во двор. Было полнолуние — время призрачных, мрачных теней. Ее вдруг обуял дикий, животный страх. Она бросилась в дом, закрылась на все замки, взяла ружье, но страх не проходил.

— Иван Тимофеевич!— закричала она.

Он не отвечал.

— Фи-и-ильдеперсовы чулочки!— попыталась она добиться ответа.— Иван Тимофеевич!— И ударила в стену прикладом.

Так билась и металась она до утра. Утром выяснилось, что Корзюков умер.

Хоронила его одна Лукерья — никаких родственни-

ков у соседа не оказалось. Казенный человек объяснил Лукерье, что все свое добро Иван Тимофеевич отрядил в ее пользу: две сберегательные книжки, пачку облигаций и сколько-то там рублей наличными. «Потому как она — венец творенья, хотя и живет неправильно»,— оканчивалось завещание.

— Зачем?— сказала Лукерья с горечью.— Ничего этого мне не надо.

— Какое будет ваше распоряжение в таком случае?

— Боже мой! Столько калек, сирот...

Казенный человек обрадовался и предложил подписать соответствующую бумагу.

И накатились на Лукерью кладбищенские заботы: то камушек нужен, то оградка, то цветы. Стала она ездить на Ваганьково каждое воскресенье. Ездила-ездила и доездилась: совершенно в духе домостроевского романтизма уснула однажды прямо на земле — на могилке — и простудилась. А как только простудилась, сразу все наперед и поняла. Для начала зашла в церковь покаяться:

— Грешна, батюшка. Завидовала кому-то когда-то... наверное... Прелюбодействовала... но точно не помню. Может, помыслы были худые... Может, еще чего, но...

Подумала, повспоминала и махнула рукой.

Потом продала ружье, разыскала казенного человека, написала коротенькое завещаньице и оставила сколь было денег.

Наконец, покончив с делами, упросила карамышевскую почтальоншу захаживать по утрам «для контролю» и легла болеть. Покашляв недельку, с чистой совестью умерла.

Казенный человек выполнил ее последнюю волю и похоронил рядом с Иваном Тимофеевичем.

АНТИЛЕНА



Как я теперь понимаю, звалась она от рождения Кантиленой. С чего вдруг (или — не вдруг) ее родители сподобились так серьезно употребить это латинское слово — неведомо. Можно, разумеется, предположить, что они любили музыку и мечтали о вокальном будущем дочери, но в этом случае их решение следовало бы признать ошибкой, и притом роковой. Ведь нелепо надеяться на то, что девочка с именем Канцона, Кантилена или Капелла станет певицей, наоборот: назвать ее так — значит навсегда отречься от надежды на хоть сколько-нибудь благозвучный голос.

Отчего это бывает — трудно сказать, но Венеры, вырастая, превращаются в женщин с далеко не классическими пропорциями, Гелии совершенно не хотят заниматься изучением инертных газов, и ни один из Гераклов не дотянул до юношеского разряда по штанге. Так во́т: голос у Кантилены был неприятный на редкость — скрипяще-гнусавый, словно связки у нее были воспалены, нос заложен, а рот плохо открывался.

Может быть, родители новорожденной вовсе и не любили музыку и не мечтали о певческих перспективах для своей дочери, может, просто им понравилось это действительно красивое слово, они и нарекли дочь Кантиленой.

Буква «К» из обиходного обращения выпала, и оттого, вероятно, что латинское название напевной мелодии в то, послевоенное, время едва ли кому в нашем доме было знакомо, тогда как слов с греческой приставкой «анти» всяк человек знал достаточно.

Антилена была невысокой, крепкой, коротконогой женщиной неопределенного возраста. Носила она очки с толстенными, круглыми стеклами. Но и за стеклами глаза ее были всегда напряжены, сощурены — это уж не от близорукости, а, смею теперь утверждать, от чрезвычайно пристального внимания к окружающему.

Работала она в каком-то сельскохозяйственном учреждении и, как говорили соседи, «делала диссертацию». Что это такое, никто, пожалуй, в нашем дворе не представлял, оттого слова «диссертация» и «аспирантура» в течение долгих лет произносились шепотом. Никакой диссертации, помнится, она так и не защитила.

Жила она в нашем двухэтажном доме на втором этаже и занимала в коммунальной квартире небольшую комнату. Соседи ее отчего-то часто менялись, и каких-либо воспоминаний о себе никто из них не оставил.

Первая моя встреча с Антиленой произошла, когда я еще не ходил в школу. Как-то вечером мы с приятелем жгли в кустах спички. Вдруг над нами раздалось: «Прекратить!» Мы прекратили. «Встать!» Мы испуганно встали. «Затоптать!» Выполнили. Сощурившись, она долго смотрела на нас сквозь толстенные стекла, потом встревоженно прохрипела: «Сегодня — коробóк, завтра — дом подожжете...» Больше всего мы боялись, что дойдет до родителей, но в тот раз не дошло.

И надо же такому было случиться: на другой день мы чуть не спалили дом — раскочегарили костер прямо на чердаке и в точности над комнатой Антилены — вот несчастье! Она прибежала с ведром, залила пламя: «Ну?! Что я вам говорила?!» Потом вывела нас во двор и, поставив перед толпой любопытствующих, гнусаво изрекла: «Государственные преступники! Бандиты!»

Потом она несколько раз «накрывала» нас на помойке, где мы по просьбе девчонок добывали цветные стеклышки для «секретов»— загадочной девчачьей игры, вызывавшей у нас тупое недоумение. Поймав кого-нибудь за ухо, Антилена пророчески предупреждала:

— Это кончится тифом, холерой, чумой, понятно?

— Понятно, понятно,— орал попавшийся,— только отпустите, пожалуйста!

— Нет, не понятно!— холодно заключала она и строго щурилась.— Смотри мне в глаза... Тебе не понятно, я вижу. Где ты живешь?

— Тетенька, отпустите!

Остальные — непопавшиеся — стояли в почтительном отдалении, тоскливо следили за экзекуцией, а временами посматривали по сторонам, рассчитывая путь отступления на случай, если бы Антилена вдруг, бросив жертву, попыталась бы прихватить своими цепкими пальцами кого-то другого.

Потом, когда мы начали учиться в школе, располагавшейся «через дорогу», Антилена часто ловила нас при попытке перебежать Хорошевское шоссе в неположенном месте.

— Вам что — под колеса не терпится?— преграждая путь, она указывала рукой в сторону недавно установленного столба с желтой жестяной стрелкой, на которой черными буквами было написано: «Переход».

В ту пору, надо сказать, детей попадало под колеса несоразмерно много. Несоразмерно с малым числом машин, которых было чуть ли не раз-два, и обчелся. В чем причина — судить не берусь, но в те времена самыми распространенными объяснениями были: «шофер пьян» и «тормоза отказали». Так или иначе, но едва ли не каждый месяц школа провожала на Ваганьково кого-либо из своих учеников: очередного, погибшего под колесами «эмки», полуторки или трехтонки. Затем, когда школы — мужские и женские — объединили, мы стали ходить в бывшую женскую, располагавшуюся на нашей стороне улицы, и наездов стало значительно меньше.

Казалось, что теперь у Антилены забот должно поубавиться, но нет: взрослея, мы схлопатывали от нее то за курение, то за карты, то за излишне тесное — по ее мнению — общение с одноклассницами в подъездах.

Ее холодные четкие обвинения — устные и письменные — поступали в школу, нашим родителям и даже в милицию. Каких только приговоров не было: отцовские ремни, материнские слезы, визиты участкового, четверки по поведению, комсомольские собрания с оргвыводами. Как мы выдюжили, как никто не стал правонарушителем — не понимаю: должно, душевное здоровье было достаточно крепким. Ведь по логике своего возраста мы — назло Антилене — могли отчубучить что-нибудь эдакое... Но обошлось.

Я был отмечен вниманием Антилены особо. Как только от нас ушел отец, она сблизилась с матерью и совершенно подавила ее: то они на пару звонят в новую квартиру отца, то пишут письма и заявления его начальству, в газеты, журналы и прочие учреждения. Деятельностью этой активной, думаю я, отца они и доконали. Я пытался мешать им, но был вызван в ЖЭК на беседу — род товарищеского суда, где основными обвинителями выступали Антилена и мать.

Шло время. Опека надо мной и моими сверстниками стала смягчаться — Антилена не то сдала, не то переключилась на следующие поколения. Постепенно связанные с ней горести начали забываться, забываться и, казалось бы, забылись совсем.

Однажды летним вечером — я тогда заканчивал институт и только-только вернулся в Москву с преддипломной практики — ко мне зашел участковый и попросил выступить понятым «при акте,— так сказал он,— описи имущества». С ним были еще двое незнакомых людей в штатской одежде, техник-смотритель ЖЭКа и моя соседка из квартиры напротив.

Поднялись на второй этаж. Техник-смотритель взломал Антиленину дверь, и мы вошли. Я догадывался, что с Антиленой, по всей видимости, что-то произошло, что и соседка, и участковый, не потрудившийся ввести меня в курс дела, относятся к происшествию как к общеизвестному — по крайней мере в пределах нашего дома или двора, но момента для прояснения ситуации выкроить не удавалось: все сосредоточенно и деловито выполняли впервые виденную мною работу. Даже соседка была задействована: определяла стоимость каких-то вещей. А я растерянно стоял возле двери, ожидая, не понадоблюсь ли для чего. Наконец, когда соседка проходила мимо, я спросил: что же все-таки с Антиленой случилось?

— А ты не знаешь?— воскликнула она удивленно и обрадованно.— Ну да, тебя в Москве не было!— Тут лицо ее сделалось скорбным:— Погибла Антиленочка наша...

Я, помнится, успел отметить, что радость ее была вызвана не гибелью человека, а всего лишь моей неинформированностью и возможностью просветить меня.

— Гражданка!— рассердился на нее участковый.— Вас пригласили сюда не для того, чтобы вы шумели. Сядьте на диван и сидите.

— Хорошо. Я конечно,— и села.

Стена у двери была сплошь завешана мелко исписанными тетрадными листками в клеточку. На одном оказался «Список лекарств, необходимых в домашней аптечке», на другом — «Распорядок дня», из которого я уяснил, что просыпалась хозяйка ровно в пять и двадцать минут тратила на «личные нужды». Третий листок содержал «Перечень расходов строго обязательных» на

«мыло хоз.», «мыло туал.», «зуб. порошок», а также «автоб.» и «трам.».

Были листки с перечнем «коммунал. расходов» и «расх. на питание», были списки «строго обязательного белья нат.», включавшие «трусы летние — пять штук», «трусы зимние — две штуки», «лиф парадный, в скобочках: «выходной»— две штуки».

Когда мероприятие завершилось, соседка сбивчиво и торопливо сообщила мне подробности гибели Антилены:

— Стояла на тротуаре у перехода. Никаких машин не было, а она ждала, когда машинам красный зажжется. Пошла б сразу — и все было б нормально, а то нет — ждала. Дождалась: загорелся красный. Тут как раз грузовик к переходу подъехал, тормознул, а после дождя было: его занесло, он — в светофор. Светофор — ну, столб-то железный — грохнулся и ей — по голове...

Так оборвалась жизнь Антилены.

В юношеские свои годы я частенько рассказывал эту историю, упиваясь пренебрежительностью ко всем нормам и ограничениям: для чего, мол, все это? Дескать, была у меня одна знакомая, очень порядок любила и вот...

Затем перестал рассказывать, даже вспоминать перестал. Оттого, верно, что пришло здравое разумение, а по здравому разумению в гибели человека, каким бы он ни был, смешного ничего нет.

Теперь же образ Антилены-соседки является мне все чаще и чаще. Как напоминание, предостережение. Как символ жизни, прожитой мимо.

РЫБАК



очь. Тускло горит в коридоре пятнадцатисвечовая лампочка, пиликает одинокий сверчок.

Шухов — медбрат, дежурящий по отделению,— сидит в конце коридора на вытертой деревянной кушетке и курит — сил нет, как спать хочется, а уснуть нельзя.

В дверях одной из палат показывается Лепехин — тщедушный мужичонка лет сорока пяти. На нем — ни пижамы, ни майки, только тапочки и трусы. Под мышкой — узел.

— Ты куда?— тихо, чтобы не помешать спящим, спрашивает его медбрат.

— В баню!— радостно заявляет Лепехин.— Веничек вот приготовил, белье,— и направляется по коридору, но Шухов останавливает его:

— Погоди...— стряхивает пепел в алюминиевый пенальчик из-под лекарств, затягивается, снова стряхивает, опускает туда же окурок, навинчивает крышечку, убирает пенальчик в нагрудный карман халата и только после этого говорит:— Сегодня понедельник.

— Ну,— подтверждает Лепехин, недоумевая, что же должно из этого следовать.

— Выходной,— поясняет Шухов.— Завтра сходишь.

— Точно!— соглашается с ним Лепехин.— Как это я забыл?— и поеживаясь,— все-таки холодновато на линолеумном полу — уходит в палату.

А Шухов встает: побродить по коридору, встряхнуться. О Лепехине он уже не думает, за Лепехина он спокоен: тот будет крепко спать — и к завтраку не разбудишь. Это раньше, в первые месяцы службы, Шухов пускался опровергать больных, доказывать им их неправоту, а теперь он медбрат опытный, теперь не спорит: собрался человек среди ночи в баню, стало быть, ни ночь ему не помеха, ни наглухо запертые больничные двери, ни морозец на улице... Надо найти возражение неожиданное, со стороны. Научился Шухов, делает

это теперь почти машинально. «Старик, из тебя классный доктор получится,— говорит ему заведующий отделением.— У тебя хорошая психика, хороший мозг. После института — чтоб только к нам, лады? Мы на тебя запрос пришлем». «Надо еще институт закончить»,— уклоняется от обещаний Шухов.

Сверчок сидит в щелке за плинтусом. Приближение человека настораживает его, и он умолкает, но стóит Шухову чуть приотойти, начинает пиликать снова.

Тут в первой палате возникает какое-то шевеление, и медбрат сразу же направляется туда: склонившись над кроватью, Рыхлов комкает простыню.

— Ты чего?— с нарочитою индифферентностью спрашивает медбрат.

— Голубца захотелось,— виновато отвечает Рыхлов. Он еще очень молод, почти мальчишка.

— А-а,— успокаивается Шухов и судорожно зевает — это нервное: у Рыхлова суицидальные мысли, и он вполне может распустить простыню на ленты, чтобы затем попытаться перекрыть себе кислород.— Фарш у тебя готов?

— Да, вот он,— Рыхлов указывает перед собою.

— А в чем будешь тушить?

— В утятнице.

— Так. Давай я плиту зажгу.

— Спасибо,— кивает больной и, словно в пантомиме, открывает дверцу невидимой никому духовки, Шухов же чиркает спичкой и «зажигает газ», а погасив огонек, медленно убирает спичку в пенальчик. Наблюдая за манипуляциями медбрата, Рыхлов, похоже, начинает возвращаться к реальности бытия: спички есть только у медперсонала.

— Ну, ты ложись,— по-свойски говорит ему Шухов,— а я присмотрю уж — все равно до утра не спать. Только чур — первый голубец мой.

— Ладно,— улыбается он, укладываясь на голый матрац.

Шухов недолго стоит над плитой — Рыхлов, сладко приоткрыв рот, засыпает.

И снова — коридор, вытертая кушетка, тоскливый сверчок. Шухов задремывает, потом, чтобы сбить сон, курит, курит и курит... Начинается хождение по нужде. Достаточно одному спутешествовать,— замечал медбрат,— как сразу же просыпаются еще десятеро: оказывается — всем невтерпеж.

Вообще-то за уборной — глаз да глаз: там и труб полно, и кронштейнов — есть к чему привязать веревочку. Кроме того, вчера через нужник удрал футболист Сидоров: открыл фрамугу, подтянулся и пролез в узкую щель. Сидоров, понятное дело, человек тренированный, к тому же невероятно тощий — если нога пролезет, то и все остальное пройдет, и едва ли кто еще из больных сумел бы исполнить его трюк, но это — если по здравому разумению, а если... «Действия наших пациентов непредсказуемы»,— любит повторять зав.

Сидоров же, кстати, спустя полчаса после побега вернулся. Не через окно, разумеется,— постучал в дверь. А у него дома в эту пору уже два санитара сидели, пришлось их по радиотелефону вызывать.

— Должен я о своей спортивной форме заботиться или не должен?— изумленно вопрошал он.

— Должен,— согласился лечащий врач и велел снять с Сидорова спортивный костюм, дозволявшийся ему в виде исключения, и выдать рыжую, как у всех, пижаму.

Такое случилось происшествие, и потому Шухов настороже. Однако ходоки сегодня подобрались, как один, грамотные: стараясь понапрасну не тревожить медбрата, они не задерживаются — отжурчав, сразу же вылетают обратно.

И вновь наваливается сон... Курить — невмоготу, противно: надо подняться и обойти все палаты — раз, другой, третий...

Митрофанов стоит у окна.

— Что не спите?

— Вот он!— шепчет, не оборачиваясь, Митрофанов.— Вот!

Холодный свет уличного фонаря освещает крону старого тополя.

— Смотрите! Это опять он!

Шухов смотрит, но ничего примечательного не видит. Правда, с одной из ветвей тополя вдруг осыпается снег — только с одной и как-то весь разом, словно эту огромную ветвь тряхнули, но мало ли... И Шухову становится грустно: до сего момента он тайно сомневался в правильности диагноза Митрофанова, проще говоря, подозревал, что Митрофанов здоров — уж слишком ясными и спокойными, чем бы ни лечили его, оставались глаза этого человека, и вдруг — на тебе: галлюцинации. Как ни печально, заведующий, наверное, прав: «Кто

здесь не в белом халате, тот — душевнобольной».

— Вот он,— твердит Митрофанов,— вот!— Потом помолчал немного и вздохнул:— Всё.

— Ну и отлично,— соглашается Шухов,— а теперь — спать.

— Да-да, вы, пожалуйста, не волнуйтесь,— говорит Митрофанов, укладываясь под одеяло.— Не волнуйтесь... Третий раз приходил, представляете?

— Представляю. А он — кто?

— Вы не видели?— Митрофанов даже приподнимается.

— Нет, знаете, прозевал... Да вы лежите, лежите...

— Странно,— он снова валится на подушку.— Впрочем, какая разница? Главное — он приходил. Приходил, понимаете? Трижды! Это же чудеса!

— Так кто же он?— Шухову надо выяснить, чтобы на утренней летучке сообщить врачам о характере галлюцинаций.

— Ну, скажем, рыбак,— Митрофанов смеется.

— Вы с ним вместе рыбачили?

— Куда мне... Это долгий разговор, брат... Ты, конечно, паренек неплохой; больных не обижаешь, передачки из нашего холодильника не подворовываешь, но — очень уж долгий разговор.

— Откуда вы знаете про передачки?— теряется Шухов.

— Знаем... Да мы вообще знаем много такого, чего, по вашему мнению, знать не должны или не способны... А теперь — спать. Доброй ночи,— и отворачивается к стене.

Выходя из палаты, Шухов обнаруживает, что и Сидоров не спит — сидит на койке, высунув из-под одеяла кривые, как клешни, ноги.

— А ты чего?

— Гадом буду!— отчаянно мотает головой футболист.

— Что такое?

— Мужик ходил.

— Где? Какой?

— Белый, вон там: сначала на дереве, потом к окну подошел...

— Ты мне лучше скажи, куда вчера бегал?

— Вчера? А никуда, по территории, для разминки.

— И что же, ни один врач тебе так и не встретился?

— Почему? Сколько угодно, даже заведующий наш. Но я ж ничего такого, я же культурно: «Здрасьте»,— говорю, он мне тоже: «Здрасьте»... Я — мимо, и он — мимо. Они ж, эти врачи твои, того — зачуханные все: ничего не видят, ничего не слышат — сам знаешь, работа какая! С такими вот,— обвел он рукою палату,— это тебе не хухры-мухры, правильно?.. Если бы все были, как я,— а у меня шибко повышенная веселость,— совсем другое дело было бы, правильно?

— Правильно, правильно, ложись спать.

— Лягу. Но — гадом быть — мужик ходил...

Утром Шухов докладывает врачам, что Митрофанов и Сидоров говорили о мужике, который лазал на дерево. Поскольку больных двое, а диагнозы у них не родственны, врачи склоняются к мысли, что это не галлюцинация, а действительный эпизод.

— Мало ли тут народа трусцой от инфаркта бегает?— замечает лечащий врач.

— Да и «моржи»,— подхватывает заведующий.— Они вон в пруду полынью продолбили и ни свет ни заря — купаются.

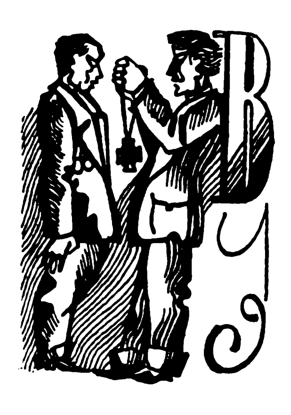
— Ну а среди этих и подавно — каких только чудаков нет!— машет рукою лечащий врач.— Эти и на дерево заберутся...

Шухов не настаивает. Он может, конечно, сказать, что никакого мужика на самом-то деле не было, но — кто их знает: решат еще, что он переутомился и... От коридора с палатами его отделяет лишь одна дверь, а от улицы — целых четыре... Так что пусть уж лучше доктора забудут об этом, а они, если не записать в историю болезни, забудут: работы много, работа тяжелая — прав Сидоров-футболист.

Проходя мимо корпуса, медбрат сталкивается взглядом с Митрофановым. Тот жестом подзывает к себе. Приблизившись, Шухов замечает на снегу следы босых человеческих ног. Он оборачивается, чтобы определить, откуда явился человек, однако нигде более следов не видно — только здесь, под окном.

«Бред какой-то,— потрясенно думает Шухов.— Не иначе я и впрямь переутомился». Кивнув на прощание Митрофанову, который смотрит через окно добрыми и очень спокойными глазами, он решительно бросается прочь: «Домой, скорее, домой!..»

ЧУРКИН — ГЕРОЙ



сообществе типографских рабочих газетные печатники существуют словно бы самостоятельной, отдельной жизнью. Главные причины тому — неизменно ночная работа и высокая напряженность труда. Конечно, и другим полиграфистам перепадают ночные смены, но то — перепадают, а печатающий газету на них обречен. Да и нервность: очень уж велика цена минуты, ведь к графику выпуска подвязаны рейсы автомобилей, а иногда и расписание поездов. Если упомянуть еще вой и грохот ротационной машины, насыщающую воздух взвесь из бумажной пыли и мельчайших частичек краски, станет ясно: работа эта тяжелая. Плюс к тому требует мастерства — газетного печатника вдруг не выучишь, не подготовишь, навыки приходят не в один год.

Опытные руководители окружают ротационеров всеми имеющимися в наличии знаками уважения: питание в столовой — без очереди, грамоты и Доска почета — завсегда. В своих типографиях газетных печатников знают мало — их видят только на собраниях при вручении вымпелов и знамен. Да и сами они плохо представляют, что делается на предприятии днем. Ночная жизнь других типографий им ближе и понятнее, и ротационеры-асы, где бы они ни «пахали»,— даже не встречаясь,— друг о друге наслышаны. То есть это — особый мир, на формирование которого общее время работы оказывает куда более сильное воздействие, чем общее место. Мир этот невелик, и занимательные события, случающиеся в его пределах, быстро становятся здесь достоянием всех.

Вот и Чуркин в этом мире известен, хотя он и не ас вовсе, и даже вообще не печатник: за долгие годы службы Чуркин так и не сумел обучиться ответственному ремеслу. Впрочем, он и не пытался — не хотел: первый этаж его, кажется, вполне устраивал. Чтобы

понятно было: первый этаж — вотчина подсобных рабочих ротации, машина здесь оснащается подающимися со склада роля́ми (именно так: роля́ми, а не рулонами — странно было бы называть рулоном монолит весом в тысячу килограммов). Печатник с помощником располагаются на втором этаже, а в случаях, когда добавляется еще одна краска, лезут и на третью палубу. Величественные агрегаты эти состыковываются в ряд — бывает, что и до нескольких десятков,— и образовывают цех газетной печати.

Но и на первом этаже Чуркин не слишком усердствовал — не раз бывало: роль израсходуется, а нового нет — где Чуркин? Поищут, поищут и найдут в какомнибудь укромном местечке — спящим. Другого за нерадивость эдакую давно бы прогнали, но Чуркина выручала искренняя готовность покаяться и всегдашняя доброжелательность буквально ко всем — качества в наши дни чрезвычайно редкие и оттого особенно притягательные. И потому его хотя и журили почти беспрестанно, но не наказывали. Сколько лет Чуркину, никто не знал, да и про семейную жизнь его ничего толком известно не было.

И вот однажды заглядывает в цех главный редактор — а возглавлявший эту газетину человечек к журналистике ну никакого отношения не имел, он был из тех, кто с младых ногтей шествует по должностному пути: председатель совета отряда, комсорг и так далее,— зашел он в цех, остановился у двери, поднял ладошку к плечу и сложил пальчики в куриную гузку — поприветствовал, значит. Губы сжаты, а уголки вверх — улыбается... Породу эту легко узнать по сжатым губам и настороженному зрению: глаза беспрестанно оценивают ситуацию, и в зависимости от ситуации уголки губ либо поднимаются вверх, демонстрируя лесть и улыбку, либо опускаются вниз, выказывая высокомерие и неприязнь — другие качества людям этим без надобности. Смотрят печатники на него — экий случай: впервые удостоил их главный своим посещением. Это прежний редактор, старики помнят, не боялся испачкать костюм — ходил по цеху, пожимал руки, а в новогоднюю ночь приглашал печатников в свой кабинет, чтобы поздравить и угостить крепким напитком.

Подошел мастер к главному — тот ему что-то на ухо покричал, да в ротации кричи, не кричи — все равно ни-

чего не слышно, народ знаками изъясняется. Ну и поскольку знаков этих сигнальных главный не ведал, не понимал, ушли на переговоры. Возвращается мастер: «Чуркина!» В общем выяснилось: братское государство наградило Чуркина орденом — давно, еще в сорок пятом, а Чуркин, стало быть, воевал, и вот: «Награда нашла героя»— заметочку с таким названием сами же на другой день и публиковали.

Стал Чуркин собираться в братское государство, да одежки подходящей у него не нашлось. Ну, выписали на десятерых материальную помощь — одели, обули героя, и является он наряженный и при всех своих орденах и медалях. Глянули мужики, а среди них и фронтовики были, и ошалели: под тяжестью наградного металла пиджак с Чуркина натурально сползал на один бок и плечо в воротник высовывалось. Механик — светлая голова — сообразил приспособить добавочные подтяжки: сзади они к брюкам пристегивались, а спереди — к внутренним карманам чуркинского пиджака. Получалось, правда, что теперь брюки без пиджака, а пиджачишко без брюк не снять, но это уж... «Терпеть буду,— обещал герой.— Виноват...»

Съездили они — редактор за компанию тоже ездил,— привез Чуркин из братской державы крест с полосатой ленточкой, обмыл его, как полагается, и уже в следующую смену уснул на складе. И вдруг опять: «Чуркина!»

Теперь уже не совсем братская, хотя и дружественная, держава нашла его со своей наградой, пылившейся с тех же отдаленных времен — помогли газетные сообщения о предыдущей поездке.

— Чего же ты там насовершал?— спрашивают его ребята.

— Виноват,— говорит Чуркин.— Не знаю... У нас там машина поломалась, тягача ждали... А эти прибежали какие-то... мол, фашисты у них в городке. Ну, пошли, четверо нас было... А там — солдаты, офицеры... Ну, мы им: война кончилась, а они... Ну, выбили их... Потом еще какие-то пришли: то же самое... Бахвалов тогда погиб, младший сержант, из-под Тамбова...

Костюм был пока в целости, подтяжки тоже, так что снарядили храбреца прытче прежнего. На этот раз привезли они с главным редактором куда больший крест, правда, без ленточки.

Редактор уговаривал Чуркина «подняться повыше»—

предлагал место освобожденного председателя месткома, руководителя гражданской обороны, инженера по технике безопасности:

— Ничего, что образования нет, я все улажу.

— Зачем?— отметал Чуркин все его предложения.— На жизнь хватает.

— Какие-то запросы у тебя ограниченные.

— Виноват.

— В том месте, где мы были,— замечает редактор, не без мечтательности,— и третья страна недалеко. А та страна, к слову сказать, резко недружественная. Может, ты и ихних жителей освобождал?

— Может, и ихних,— соглашается Чуркин.— Виноват. Тягач нам аж через неделю прислали, так что не один раз хаживали, виноват... Потом еще и Гуськова убило — из Архангельска он, из самого́. А эти позовут — мы и идем, а кто они? Мы ж языков не знаем, только что: «Фашисты, фашисты»,— ну, мы и идем... Так что виноват: может, и еще в какой стране были...

Но в недружественную державу Чуркина не пригласили, да и вообще он вскоре оказался в казенном дому: ему «пришили» попытку ограбления табачной лавки и поджог ее с целью сокрытия преступления. При всех наградах своих Чуркин был человеком столь малозаметным, что никто и не вступился. Впрочем, один разок главного потревожили: он куда-то вроде бы даже позвонил, но сказал: «Глухо».

Год спустя выявилось, что Чуркин не подпаливал и не грабил, наоборот — старался погасить пожар и спасти государственные сигареты, которыми торговала его родственница. Она же что-то там и похитила, потом, как водится, подожгла и в конце концов свалила все на безответного Чуркина, а он, к вящей радости следователя, на все вопросы отвечал: «Виноват...».

— Зачем он нужен был тебе, этот ларек?— спрашивали ребята, когда Чуркин приехал восстанавливаться в типографии.

— Прибежали: горит, мол, я и... Виноват, конечно же, знаю...

А на работу его не взяли: главный «пробил» ему дополнительные двадцать рублей и без шума выпроводил на пенсию.

«ВОЛК»



В тихом степном селе где-то на Украине, где в июле жаркие дни, красно подсвеченные облака закатом, а вечерами плывет по реке ласковая песня паромщика, доживал дед Сережа последние дни. Лет ему было много, и покидали силы — самое, чтоб помереть, подходящее время.

Проснувшись с солнцем, вежливо будил он своего постояльца Исаченку, доставал кое-что съестного, а постоялец варил кофе — напиток, к которому дед Сережа за два месяца знакомства с Исаченкой вполне привык и даже пристрастился.

Деду было радостно, хотелось поговорить, но он знал постояльца достаточно, потому глядел себе, улыбаясь, в окошко и настороженно прислушивался — не заговорит ли сам Исаченко, ведь, бывало, сидит, сидит так, уставившись в стол, ест, пьет, что — не видит, потом вдруг ни с того ни с сего и заговорит. Но такое редко бывало — очень уж много Исаченко думал о своих делах, и очень серьезно.

Позавтракав, Сережа выходил во двор, садился на верстак и закуривал длинную сигарету с фильтром — Исаченкино угощение, от которого приятно туманилась голова. Скоро, толкнув дверь, являлся и постоялец с планшеткой на поясе, осматривал автомашину, укреплял за ветровым стеклом белую картонку с красной полосою наперекосяк, садился за руль и, прогрев двигатель, рвал с места. Пахло бензином и потревоженной пылью. Дед докуривал, по-прежнему улыбаясь, и смотрел все куда-то, где его слезящиеся глаза уже ничего не видели, но не расстраивался, зная, что и видеть-то, кроме степи, там нечего.

Потом Сережа брал в левую руку зубило, в правую молоток и принимался за работу. Работа его — дотесать каменное дерево — была несложная, если бы деду не взбрело вдруг сделать кору на манер ивовой — в глубо-

ких бороздках, которые для придания серому граниту черноты полировались. От такого добавления работа затянулась, но теперь уже подходила к концу: оставалось лишь поправить и отполировать последнюю бороздку.

Трудился дед не спеша, как и всю жизнь. Аккуратненько, снимая зерно за зерном, готовил поверхность к шлифовке и не мог порадоваться послушному и выносливому инструменту (Исаченко привез ему несколько зубил с победитовыми наконечниками).

К полудню, когда становилось совсем жарко, Сережа снимал рубаху и оставался под солнцем — загорелый, с узкой выпуклой грудью, такой тощий и жилистый, что казалось не мышцы, а струнки под кожей, звеняще натянутые, и не дают коже прилипнуть к костям. Постепенно руки старика, грудь, лицо покрывались налетом белой каменной пыли, а в ямках за ключицами собиралась гранитная крошка. Но Сережа не чувствовал этого или не обращал внимания, занимался работой, и струнки вздрагивали, перебираемые привычной мелодией.

Исаченко тем временем мотался по округе, объезжая действующие и заброшенные карьеры, где работали его техники-лаборанты, и возвращался домой поздно вечером, измученный совершенно, но после ужина долго еще сидел у лампы, рассматривая образцы.

В такие минуты Сережа неизменно наблюдал за ним и в ожидании разговора предавался размышлениям. Сначала постоялец не нравился деду. Ничем. И неразговорчивый, и очень поспешный... Сережа не встречал таких дерганых и торопливых людей. К примеру, вспоминал паромщика Оську, как тот, свесив ноги, сидит с удой на понтоне, голова набок, дремлет, уклею ждет. Или милицейский работник Василь: подойдет к плетню, облокотится и смотрит, как Сережа камушек обрабатывает. И смотрит себе, и смотрит. И пусть себе. А Исаченко? Вот он теперь держит в руках кусок руды. Глазищи исподлобья, веки дрожат от напряжения, под глазами кожа сине-желтая, мешками висит от гляденья эдакого да от недосыпанья еще. А все спешит, спешит. И сейчас спешит. Повертит образец, отбросит, схватит другой, и ну его глазами царапать! Не нравилось это Сереже: «Хишность»... Грешно было сравнивать человека с волком — вреднючей тварью, и смущался старик, однако, глядя на постояльца, все куда-то спешившего, все беспокойного, то настороженного, то яростного, другого слова не на-

ходил: «хищный» взгляд, «хищные» движения, и как ходит, и как хлопает дверцей машины, и как с места берет — «хищность»...

Но со временем узнал Сережа от Исаченки, а больше от своих земляков-приятелей, о работе Исаченкиной группы, о поисках редких металлов, которые нужны были ракетам, спутникам, самолетам, и сообразил: это другая жизнь, поспешная, новая — просто другая жизнь, и в ней, соответственно, требуется новая быстрота. Так в мыслях Сережи произошел передвиг. А дальше вот еще что: как дед определял себя? Ну, тесал камни: гранитные плиты для набережных, торцы для дорог. Насквозь пропитался каменной пылью — и глаза испортил, и дыхало, и, кажется, кровь в нем была пополам с камнем, ведь к утру спина так тяжелела, что и не подымешься сразу: «пыль улеглась»,— заключал дед. Но плиты и торцы, работанные Сережей, расселились по многим землям, а камни-то эти из той же пыли, что у деда в груди — родство есть? И Сережа чувствовал свое родство с далекими городами, которых никогда не видел, но представлял по газетным картинкам. С каменными шоссейками, перекинутыми через такие расстояния, что будь здоров!

Теперь — новое: от этой самой руды пыль в нем тоже, наверное, есть? А если мало (все-таки ведь обходили каменотесы «железку»), можно взять в руки Исаченкин образец и тогда... Можно выйти вечером на крыльцо, когда небо погасло, воздух неколебим и не слышна уже песня паромщика, и ждать. И, добродушно ворча, проползет высоко над тобою, где-то меж звездами самолет, и представляй себе сколько хочешь, как в нем сидят на скамейках люди, посматривают в окошки и, может быть, видят огонек твоей хаты — опять же родство! И, наблюдая за Исаченкой, Сережа думал теперь о нем без неприязни, вовсе уважительно. Другая жизнь! В куске руды дед, щуря слабые глаза, все-то узнавал спутники — «шары с дручками», востроносые ракеты, самолеты огромные. И над всем этим — лицо Исаченки, который должен все схватить, понять, решить и что-то сделать.

...Но вот пришел тот час, когда Сережа, бросив на верстак зеленую от полировальной пасты фланельку, сказал: «Шабаш». Садилось солнце, и над селом висели красно подсвеченные облака. Стадо гусей по пыльной улице возвращалось с купанья. У каждого огорода останавливались, просовывали в плетень длинные шеи и, щипнув

травы, шли дальше, степенно, неторопливо. «Шабаш»,— тихо сказал Сережа.

Ночью дед поинтересовался у Исаченки, не может ли тот взять выходной. «Хоть завтра»,— сказал постоялец. «Завтра не трэба»,— отвечал дед. Ему нужны были еще два дня, чтобы спокойно оглядеть свою работу. Нет, недоделок не оставалось, дерево было завершено, Сережа выполнил, что задумал. Два дня были нужны ему, чтоб оценить задуманное, чтобы убедиться в своем согласии с ним. Вдруг что-то не понравится? Высота дерева, толщина? Расположение сучьев, цвет камня? «Что тогда?»— спросил себя Сережа и в ответ вздохнул.

На третий день поутру Исаченко ходил вокруг камня, щупая и рассматривая. Это был двухметровый комель старого дерева, сантиметров тридцать в диаметре, с четырьмя коротко обпиленными сучьями в верхней части. Срезы ствола и сучьев были отполированы. У основания чернел вытесанный и полированный квадрат с фамилией деда, датой рождения и черточкой, за которой пока ничего не было. Основание представляло собой полуметровую пирамиду, сильно расширяющуюся книзу — это шло в землю.

Памятник обмотали одеялами, привязали с одной стороны доски. Исаченко снял с «газика» брезентовый верх, подогнал машину к верстаку, и с помощью двух веревок — одной свободной, другой — пропущенной вокруг столба электрической линии, сначала наклонили, а потом аккуратно опустили памятник в кузов. Исаченко хотел ехать, но Сережа, взглянув на солнце, попридержал: «Рано». Дед договорился с милицейским работником Василием о подмоге. Тот обещал двух «пятнадцатисуточников», но мужики с утра повинность отбывали на сенокосе и в распоряжение старика поступали только с обеда. «Ну что ж,— Исаченке не терпелось поскорее разделаться с памятником и, плюнув на выходной, ехать на буровую передвижку,— придется ждать». Пошли в хату. Сережа накрыл на стол.

— Может, выпьем?— робко поинтересовался старик.

— Не хочу. Мне еще сегодня работать. Да и жарко.

Потом Исаченко погнал машину по булыжной дороге. Дед боялся, что камень треснет, просил ехать «не швидко», Исаченко только кивал в ответ.

Свернули на пыльный проселок и вскоре остановились. Слева была окаменевшая роща. «Мать честная!»— изу-

мился геолог. Дед указал место, еще подъехали, вышли. Пока Сережа, посматривая то на землю, то на солнце, прикидывал что-то, Исаченко гулял. Это был фантастический лес! Каких только деревьев здесь не встречалось: из пегматита, габбро, разноцветных гранитов, обпиленные и обломанные, мелколесье и толстые пни, низкие и высокие, гладкие, как молодая береза, и щербатые, как вековая сосна...

— Дед! А грибы случайно здесь не растут?

Сережа молча отмерял шаги.

— И кто это придумал, дед?

— Та, полячонок,— указал рукой.

Исаченко прошел взглянуть. На белом с крапинами березовом стволе гранит-порфира стояла польская фамилия и ниже — столетней давности года. «Двадцать четыре»,— вычислил Исаченко.

— От чахотки помэр,— объяснил дед.— Почуял, что умирае, срубил в нидилю та и помэр.

Исаченко полюбопытствовал, все ли каменотесы сами рубили себе памятники. Оказалось, почти все. Кроме погибших от обвалов и других внезапностей жизни. У этих не деревья были, а просто плиты.

Наконец Сережа обвел квадрат. Достав из машины лопату, Исаченко взялся за дело. Оно было несложным: «мелкий шурф в легком грунте». За десять лет полевой работы Исаченко выкопал, наверное, сотни шурфов.

В полчаса была готова необходимая ямка с тремя вертикальными стенками и одной пологой, чтобы опускать камень. В это время подошли мужики. Поздоровались, сели перекурить. Из разговора Исаченко сообразил, что оба работали перфораторщиками в рудоуправлении, выпили, разодрались (это легко угадывалось по физиономиям), теперь отбывают краткосрочное наказание. Мужики были дюжие. Легко стащили памятник наземь, распаковали, и камень по доскам соскользнул в ямку. Поставили «на попа». Взяв гайку у Исаченки, смастерили отвес. Проверили. Удивились: дно было идеально ровным, и памятник стоял без перекоса. Засыпали основание. Исаченко предложил мужикам в машину, те отказались: «Трэба дорóбить».

— Что дорóбить?

— Та могилку.

— Какую могилку?

— Ну як же?— Вылупили глаза мужики.

Сережа рассеянно улыбнулся.

Потерявшийся Исаченко сел за руль и нерешительно тронул стартер. До сих пор он полагал, что камень это так, загодя, наперед, и не придавал значения дедовым разговорам, а теперь в нем шевельнулось предчувствие реальной беды. Тупо глядя перед собой, он вел автомобиль на первой скорости и машинально поправлял руль, чтобы не свалиться с дороги. Сережа, свесив голову за окошко, вдыхал ветерок и смотрел, как убегают назад торцы шоссейки. И сердце его переполнялось детской, счастливою беззаботностью.

Дома, подойдя к столу, Исаченко очнулся. Схватил образец, повертел недолго и, забыв про все, стал вдруг обычным, прежним. Он рассматривал образцы через увеличительное стекло, стучал по ним маленьким молоточком, царапал ножом, наносил краской какие-то цифирки, писал в тетради, и все это торопливо, порывисто. Сережа понимающе кивнул сам себе, вышел во двор и, завалившись на верстак, уставился в небо.

Возвращаясь теперь с работы, Исаченко обнаруживал в доме окурки папирос — каждый день кто-нибудь заходил прощаться с Сережей. А однажды, подслушав нечаянно болтовню на карьере, Исаченко понял, что о предстоящей дедовой смерти говорят совершенно спокойно, и, оказывается, есть даже рабочий, который обещал старику выбить на камне вторую дату. Исаченку ошеломило. Он набросился на старика: «Как можно? Зачем сдаваться?» Он говорил: «Пока есть силы, необходимо работать. Жизнь слишком коротка, чтоб добровольно отдавать хоть день! Хоть час!»

Старик смущенно улыбался в ответ. Ведь Исаченке не понять, ведь Исаченко из другой был жизни. Он сидел со своею железкою над ракетами и прочей внушительной техникой, цепко связав все яростными глазами.

— Надо работать! Работать!

— Не трэба,— спокойно улыбнулся старик.— Я уже усе сробил.

— Ну, поставь памятник бабке, что ли?!

Но у бабки, оказывается, была плита, а памятника ей не полагалось.

— Сыновьям!

Но сыновья лежали в далекой чужой земле, куда, конечно, Сережа не мог добраться.

— Бред... Идиотизм какой-то... Столько радости на

земле...— Исаченко пожал плечами, не найдя, что сказать дальше.

Ах, сколько радости на земле, сколько света! Сережа знал. Знал, какое бывает небо, какая степь. Знал, как весной, восторженно трубя, пройдет над головой первый аист, и отражение его белым парусом скользнет по реке. Сережа много чего подобного знал и улыбнулся в ответ.

Теперь время от времени дед давал разные указания, как и что делать Исаченке, когда тот останется один в хате: у кого спросить молока, где взять дрова для печки, куда прятать еду, чтобы не испортилась и чтобы осы не набились. Кого позвать, когда старик умрет... Исаченку эти разговоры приводили в бешенство, но, сдерживаясь, он принимал их к сведению. А старик между тем стал вовсе плох. Лежал себе на топчанишке и медленно расставался с жизнью. Как-то утром, подойдя к деду, Исаченко попробовал пульс — едва прослушивался. «Что ж делать-то?.. Надо же что-то... Врача надо, нельзя же, чтоб человек вот так вот на моих глазах...»

Погнал машину в рудоуправление, нашел медпункт

— Кто старший?

— Я,— ответил мужичок в белом халате, не отрывая взгляда от огромной мухи, которую он вырезал из плаката.

— Дед Сережа плох. Надо помочь как-то.

— А чего помогать?

— Да посмотрите хоть, чего с ним!

— А с ним ничего,— пробормотал фельдшер, поглощенный кропотливым занятием.— Ой, сколько же у ей лапок!..

— То есть как это — ничего?

Но фельдшер, раскрыв от напряжения рот и сдвинув брови, сосредоточенно заканчивал дело и как будто вопроса не услыхал.

— Как это — ничего?— сердито повторил Исаченко.

Осторожно взяв переносчицу заразы за кончик крыла, фельдшер показал ее Исаченке: «Между прочим, все лапки целы!»— и только тогда ответил: «А с Сережею — ничего. Я вчера заезжал к нему».

— Смотрели?

— Да. Посмотрел, послушал — все нормально.

— Как «нормально», когда он помирает.

— Жизнь кончилась,— тихо ответил фельдшер, продолжая держать муху двумя пальчиками.

— Слушай, отец, давай все-таки съездим, а!

— Завтра. Сегодня я не могу, а завтра...

— Да ведь ерундой занимаешься!

— Не ерундой!— удивился фельдшер.— Санбюллетень готовлю — ерунда разве?

— Тьфу, мать твою! Помрет человек!

— Да не ори. Сегодня не помрет... Не должен.— И грустно посмотрел на разъярившегося Исаченку. Тот безнадежно махнул рукой, повернулся и вышел.

Подъезжая к проселку, что вел на кладбище, остановился, задумался, долго курил. Вдруг осенило! Взвивая смерч пыли, машина понеслась к кладбищу. Затормозив около свежей ямы, Исаченко некоторое время постоял над ней, жадно ища чего-то, потом остановил взгляд на памятнике. Достав из-под сиденья геологический молоток, он подошел к дереву, примерился и нанес легкий удар по краю сучка. Небольшой, со спичечный коробок, кусок гранита отлетел наземь. «Есть еще порох в пороховнице»,— удовлетворенно заметил, отколов именно такой кусочек, какой хотел, и именно в том самом месте, где хотел. «Придется отложить помирание, дед. А там можно будет и повторить фокус». И, успокоившись, поехал по своим делам.

Вернулся к вечеру, зажег свет, дед подозвал его, хотел сказать что-то. Потягиваясь устало, Исаченко вспомнил:

— Да, кстати... Я тут проезжал мимо кладбища, зашел посмотреть — любопытная роща все-таки, нигде ничего подобного не встречал!.. Удивительно... М-да. Так знаешь, дед, на твоем памятнике один сучок поврежден — щербина. Небольшая, правда... Наверное, пока везли, кусочек и откололся, а мы, наверное, сразу и не заметили.— Он снова потянулся.— Вот так-то.— И прошел к столу рассматривать новые образцы.

Было тихо. Доносилась с реки песня паромщика.

Краем глаза Исаченко приметил, как старик медленно, преодолевая неодолимую силу, пытается подняться, наконец поднимается и садится, свесив босые, добела вымытые, тощие ноги. «Порядок»,— похвалил себя Исаченко.

— Вовк,— сказал старик и беззвучно заплакал.

СЧАСТЛИВАЯ



есной 197... года в небольшом костромском селе хоронили старуху. И не было б в этом событии ничего примечательного — мало ли по белу свету хоронят старух,— когда б ни следующие обстоятельства: привезена была покойница из Москвы, а службу заказывал старухин сын — военный человек в каракулевой папахе. Конечно, от известных причин папахе все-то и недоставало времени оказаться на своем месте: то она за обшлагом, то в кармане, а то, смятая, в кулаке. В общем, была она хозяину совсем некстати, как, впрочем, и любая шапка на похоронах, однако шуму наделала: народ роем толокся и в соборе, и на погосте. Был милиционер, и даже работник коммунальной службы райисполкома приехал — столь важным для здешних мест являлось событие.

Дорогою из Москвы гость останавливался в райцентре, разобъяснил ситуацию и встретил поддержку, выраженную телефонным звонком с просьбой срочно произвести соответствующие случаю приготовления.

Торопливость эта, надо полагать, вызывалась вовсе не желанием сына поскорее избавиться от покойницы, а тем, что времени с момента кончины прошло уж достаточно: пока формальности, да пока автобус выбивал, да шестьсот километров вез... И хотя погода прохладная, негоже оттягивать это неприятное дело, ведь надобно будет и крышку еще открывать.

Но никакие передряги не помешали старухе сохранить на лице всепрощающую улыбку и покой.

Ровесницы ее, собравшиеся в храме, всматривались-вглядывались, но узнать не могли. Батюшка попросил господа принять с миром «рабу божию Анастасию», бабки сразу зашикали, зашелестели, припоминая всех знакомых Настен, но не угадывалось никак. Шепот стал громче. Батюшка, понимая, что так и до галдежа дойдет, прервал молитву, кашлянул и буркнул в сторону: «Соко-

лова». «Соколова... Соколова,— зашепелявили беззубые рты.— Это ж которая?» Шепот стал еще громче. Батюшка вынужден был снова остановить пение. Отведя руку с кадилом словно бы для замаха, он окинул старух таким негодующим взглядом, что казалось: миг — и на срамниц обрушится кара За сим наступил порядок.

Когда все исполнилось, и народ, отстояв меру времени, стал расходиться, приезжий обратился к работнику райисполкома с вопросом: звать на поминки батюшку или не звать? Ведь ежели соблюдать традицию до конца, а такова была воля покойной, следовало позвать, но сложность была в том, что остановился приезжий в доме директора тутошнего совхоза... С минуту поколебавшись, райисполкомец махнул рукой: «Можно, зовите».

Двор директора выходил огородом к реке, и через полчаса поп, переодевшись в мирское, оказался, словно для променада, на берегу. Побродил несколько, разглядывая беспорядочно плывущие бревна, и махнул в огород.

Впятером (пятым был шофер — молодой парень) сели за стол Сначала, как и положено, сидели молча, потом, как обыкновенно случается, разговорились.

— Что-то,— заметил священник,— старушки мои ее так и не вспомнили.

— Видите ли,— улыбнулся приезжий,— она была... нищей, бездомной. Странничала... И родился я где-то в дороге. А в какой-то церкви окрестили меня Сергеем. Отчество дали — Никифорович. Должно, в крестные Никифор попался.

— Может быть, это у нас и было?— спросил коммунальщик.

— Нет, родился я не здесь...

— А извините, конечно, отца своего вы, стало быть, и не знаете?— вмешался хозяин дома.

— Не знаю,— ответствовал Сергей Никифорович.— Рассказывала она, правда, какую-то туманную историю про любовь, я, признáюсь, никогда особо в это не верил, полагал, что на самом деле все обстояло иначе — человек она безответный, мало ли кто мог обидеть... А теперь вот: чего вдруг она попросила отвезти ее именно сюда? Давайте-ка еще по одной...

Хозяин дома понимающе кивнул, а коммунальщик

отказался: мол, надо еще на работу зайти, совещание, мол...

— Да что вы, право,— упрекнул батюшка,— мне, может, тоже еще вечерню служить. Что ж мы — не люди?

— Странно, — заметил Сергей Никифорович, —вы человек церковный, а говорите обыкновенным языком.

— Да ведь и вы,— батюшка посмотрел на всех поочередно,— не тем, каким доклады читаете.

— Ну все-таки... Даже в литературе священники всегда говорят какими-то другими словами, как-то особенно, красиво.

— Э-э! Было другое время, другой язык. А сейчас нам с вами некогда говорить красиво, жизнь торопит: вперед, быстрей, вперед, быстрей...

— Вот именно,— вклинился в разговор директор совхоза.— Давай, давай! Держал триста коров — все было хорошо. А мне: прокормил триста, прокормишь и триста пятьдесят. А где мне их держать?.. Это раз,— выпростав руки перед собой, он загнул палец.— Лен опять же,— загнул второй палец...

Не внимая ему, батюшка продолжал машинально: «Вперед, быстрей, вперед, быстрей...» Хотел было достать солененького груздя, но над миской с грибами растопырилась пятерня хозяина дома, над огурцами же рука вовсе была сжата в кулак — только что директор произнес: «пять»— и начал рассказывать о чем-то, шестом по счету.

— Вперед, быстрей, а куда?..— батюшка обиженно искривил губы и положил вилку на место.

Наконец директор заметил подмигивания коммунальщика и умолк. Внезапно, на полуслове, словно бы подавился. Шофер даже вздрогнул: «Я, пожалуй...» — робко кивнул на дверь, встал и потихонечку вышел. Некоторое время все молчали, судорожно вспоминая, на чем был прерван общий разговор, не вспомнили и стали расспрашивать Сергея Никифоровича о загранице — как всяким российским людям, им интересно было, что там почем и не собирается ли кто войной на нас. Однако Сергей Никифорович отвечал лишь: пять лет там, три года там-то, семь лет где-то еще. При этом лицо его сделалось недоверчивым, будто, вслушиваясь в свой голос, он не очень верил тому, что говорил, будто

ему казалось неестественно странным, что он прожил половину жизни где-то «там».

Сказав еще раз о работе и совещании, коммунальщик уехал. За столом осела хозяйка. До этого времени она то появлялась, то исчезала, но была незаметна, а теперь, решив, что мужики «закисают», взяла власть, и разговор стал сбиваться на «вот это попробуйте», «накладывайте еще», «ешьте, пока горячее».

— Удивительно,— сказал вдруг Сергей Никифорович, ни к кому, кажется, не обращаясь.— Ведь она жизнь свою прожила лишь ради меня одного. Всю жизнь только и делала, что ждала меня, провожала, встречала... Как-то прилетаю с фронта, а известить не сумел. Так что б вы думали? Пять утра, а она возле дома. «Я,— говорит,— почувствовала...» А тут приехали — ну, в последний раз уже,— весь день все было нормально. Вечером сидим у телевизора: она, я, дочка, супруга. «Сережа,— говорит,— ты, правда, больше никуда не уедешь?» — «Да,— говорю,— отъездился. Купим теперь домик, будем...» не то малину, не то клубнику — не помню,' чего дальше сказал, а она вздохнула — она как раз в кресле сидела, это ее любимое место,— вздохнула, значит, и... Я и договорить не успел.

Помолчали.

— Счастливая,— прошептала хозяйка.

— Как «счастливая»?— не понял Сергей Никифорович.— Какое уж тут счастье? Конечно, я ей помогал, высылал деньги... Когда она умерла, выяснилось, что все эти деньги в сохранности, да к ним еще и другие добавились — от пенсии экономила.

— Все одно — счастливая: сын в люди выбился, человеком стал. Не то что наш Сенька — и дома винище глушил, а как в город уехал...

— Ладно тебе!— буркнул муж.

Сергей Никифорович пожал плечами:

— Не знаю. Здесь что-то не так. Хотя... «С деньгами,— подумал он,— как раз все объяснимо. А что же мне непонятно?.. Есть что-то, есть!»

— Напрасно вы так казнитесь,— упрекнул гостя священник и с легкой досадой, неизвестно откуда взявшейся и к кому обращенной, заключил:— Прожить жизнь ради ближнего своего, ждать и дождаться — разве ж это не счастье?

Во-во,— поддакнула директорова жена.— До-

ждалась — сын приехал: мужчина представительный, с наградами, некурящий, выпивает по-человечески, а Сенька?.. Извиняюсь, конечно...

— За всю жизнь была у нее ко мне только одна просьба: схоронить здесь. Да, внимания моего ей не хватало. Но ведь у меня такая работа, что иначе я и не мог! Да и она понимала это. Нелепо все как-то.— Сергей Никифорович провел кончиками пальцев по лбу, словно пытаясь снять наваждение.— О чем-то я не о том... Что-то другое...

— Напрасно, напрасно вы,— не соглашался священник.

И тут в разговор снова вмешался хозяин дома: начал выяснять, есть ли «при той конторе», где работает Сергей Никифорович, гараж и нет ли случайно в том гараже грузовиков с двумя ведущими мостами.

— Как будто,— опешил Сергей Никифорович.— Кажется.

И директор взялся упрашивать гостя «списать хотя бы пару машин». Полковник отвечал, что никогда прежде подобными вопросами не занимался и не знает, как это делается, но обещал постараться.

— Ага,— кивнул директор, подытоживая разговор Глаза его напряженно сощурились, он вскочил, заходил по комнате:

— Понимаете, не успеваем осенью лен вывозить. дожди, грязь, машины вязнут, а на тракторах — два раза пройдешь — и море... Вы там в Москве подполковника Смирнова не знаете?

— Вроде нет,— растерянно усмехнулся Сергей Никифорович.— А что, собственно?

— Ездил он в наши края на охоту да соседям ГАЗ-66 и списал. Говорил, очень трудно было устроить, но изыскал возможность. Так они тут же план по льну дали! А мы каждый год оставляем — потом, по весне, сжигать приходится. А то и просто запахиваем, если начальство не видит. И опять: сеем, теребим, расстилаем а как придет пора вывозить...

— Кошмар... Я выясню. Если... Я сделаю все, что можно.

Вдруг захихикал батюшка.

— Ты чего?— растерялся директор.

— Тут еду в Слободку — отпевать надо было,— а дорога возле озера размыта. Дорожники сидят, курят

В оранжевых куртках все, деловые. В чем дело, говорю, мужики? Трубу, говорят, высоко положили, а там, под дорогой-то, для воды труба. Вода, говорят, скопилась, а до трубы не поднялась, не дошла, вот насыпь-то и размыло. Ну я и спрашиваю: а чего ж в прошлом году произошло? А в прошлом, отвечают, трубу положили слишком низко. Ее илом позанесло, вода поднялась и размыла насыпь опять же. Я тогда и говорю, что, может, труб-то не одну, а две или семь надобно. А старшой их подходит ко мне и говорит тихо-тихо так: ты, говорит, между прочим, нахал. На-аглый ты, говорит, хоть и с бородою. Вот так-то!— батюшка грустно покачал головой.

— Ну и чего?— не понял директор.

— Да ничего, это я так, к слову.

Вскоре священник ушел. Вечером, когда уже укладывались спать, Сергей Никифорович спросил хозяина дома:

— А у вас в селе случайно не осталось каких-нибудь старичков года девятисотого, или, скажем, девятьсот первого, второго?

Директор поначалу удивленно замычал, должно, собираясь спросить, зачем это, но потом что-то сообразил, задумался и наконец сказал:

— Нет, знаете, подходящих нет. Вообще-то два старичка живут, но они не отсюда родом — пришлые. А если бы и нашелся, если бы встретили — нужен, что ли, он вам, такой отец?

— Вы правы,— согласился Сергей Никифорович.— Это я механически, из любопытства.— Что-то продолжало тревожить его, однако упоминание о некоем биологическом отце действительно не волновало нисколько: «Давно, давным-давно привык я к тому, что отца у меня нет и не будет, а теперь уж я и сам стар...»

Утром, пообещав еще раз постараться насчет грузовиков, Сергей Никифорович расстался с хозяевами. Ехать сегодня было труднее — вода прибыла, дороги поплыли. А когда подъехали к озеру — к тому самому месту, о котором рассказывал батюшка, пришлось вползать на старый кружной проселок, потому что здесь дорогу и дорогой-то назвать нельзя было — водоем, да и только. Мутный, как и положено в половодье. Плавали по нему ветки, палки, с помощью которых, вероятно, извлекались из глинистой жижи грузовики. Один лесовоз так и не успел выбраться: желтая вода поплескивала у радиатора,

омывала кабину, шевелила тяжелые бревна, и казалось, что не автомобиль это, а вовсе катер, тянущий небольшой плот.

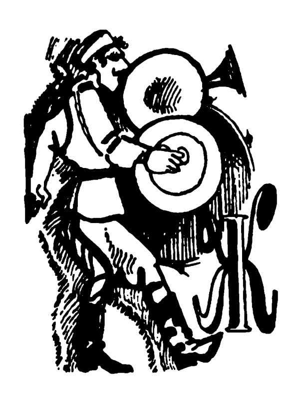
Шофера, конечно, не было. Надо думать, не захотел он терпеть в одиночку бедствие, вплавь добрался до берега, может, даже, представил Сергей Никифорович, взобрался на крышу и, взмахнув руками, нырнул. А теперь обсыхал где-нибудь, где были люди, тепло и водка, наверное.

Возле воды на куче щебня сидели мужики в оранжевых куртках, покуривали.

Когда миновали худое место и под колесами вновь оказалась неровная асфальтовая твердь, Сергей Никифорович позволил себе расслабиться и задремал. И в этой дреме к нему пришло понимание того странного чувства, которое возникло со смертью матери и которое в хлопотах и суете последних дней мучило его своей неразгаданностью: да, теперь уж никто не заслонял его от близкого мрака, теперь — его черед. Впервые он так ясно ощутил неотвратимость своего ухода во мрак, но впервые же этот уход представлялся ему столь естественным.

«Фу-ты, елки зеленые,— облегченно вздохнул Сергей Никифорович, наконец разобравшись.— Прилипнет какая-нибудь ерунда, майся потом... Тут, понимаешь, грузовики надобно доставать — дело серьезное»...»— И уснул.

СТАРЫЕ ВОЕННЫЕ ПЕСНИ



изнь наша протекала легко: мы охраняли и обслуживали небольшой склад горюче-смазочных материалов. Располагался он в стороне от войсковой части, и начальство наведывалось к нам редко.

Мазутная команда — как мы сами себя называли — состояла в основном из «военкоматовских отходов», то есть из призывников старшего возраста, у которых кончились существовавшие по тем или иным причинам отсрочки. Были среди нас выпускники и недоучившиеся студенты, добропорядочные папаши и разведенные холостяки.

Служилось нам спокойно и тихо: ни ссор, ни поломок, да и вообще никаких ЧП. Все б ничего, да только, как дойдет дело до стрельб, смотров, соревнований, мы, как ни стараемся, выше последнего места подняться не можем. И ладно бы: раз — последнее, другой — еще какое-нибудь, нет — решительная определенность.

Наш командир — капитан Белочкин, столкнувшись с этим удивительнейшим явлением, испробовал все традиционные средства, но ни одно из них так и не помогло. И оттого, вероятно, что средства эти рассчитаны на подростков, а мы... Ну, отправят на кухню. И что? У меня, скажем, мать никогда не умела готовить, да и жена, надо отдать ей должное... И я к тому времени уже столько картошки начистил, столько щей наварил, столько котлет понавертел, что всей мазутной команде за год не съесть, даже если всяк будет в три горла лопать.

Мыть пол в сортире? Мусор вывозить? Ну так за людей эту работу никто никогда еще и не делал. Я вот с тех пор, как перебрался в дом-новостройку, чуть ли не ежедневно собираю на лестнице мусор, вываливаемый жильцами мимо мусоропровода: картофельные очистки, пивные пробки и папиросные окурки определяю в совочек веником, а что покрупнее или погрязнее — рукой, и ничего — привык. И соседям понравилось: валят и валят

на пол, знают — кто-то все равно приберет. Полагают, наверное, что уборщица. А я, между прочим, ее ни разу так и не видел. Скорее всего ее вообще нет, потому как лестницу не только подметать, но и мыть приходится.

Неумение преодолевать брезгливость — свойство людей несамостоятельных. В нашей команде таковых не было. Мы хладнокровно выполняли все, что приказывал капитан: чистили, драили, мыли, скоблили, красили и, в отличие от восемнадцатилетних, никогда не высказывали недовольства: какая, собственно, разница — все равно что-то делать надо, не одну работу, так другую какую-нибудь, лишь бы была хоть капля смысла.

После того как мы в очередной раз заняли последнее место, к нам прислали проверяющего. Им оказался майор Торопов.

В каждой части есть офицер, о котором рассказывают легенды или, на худой конец, байки. У нас таким офицером был Торопов. Ходили слухи, что он отлично стреляет из любого оружия, вплоть до минометов и пушек, что в совершенстве владеет приемами самбо, дзюдо, каратэ, бурятской, таджикской, грузинской и других национальных видов борьбы, что умеет водить машину, бронетранспортер, танк, трактор, косилку, комбайн, катер и самолет.

Рассказывали, как на учениях он помешал превосходящим силам «противника» форсировать реку. «Противник» все вроде предусмотрел: навел переправу ночью, навел быстро, бесшумно. Когда разведчики доложили об этом Торопову и когда Торопов узнал, что командование поддержки не обещает, он решил воспользоваться единственным выигрышным в его ситуации моментом: переправа была на километр ниже по течению. Скатив в воду десяток бочек из-под горючего, Торопов отправил вместе с бочками пару солдат. Пока «противник» вылавливал скребущиеся о металл переправы бочки, солдаты ручными дрелями просверлили дырки в понтонах. А потом уплыли дальше и выбрались в расположении «своих» войск. Едва начало светать, еще в тумане, «противник» двинул вперед технику. Два танка перекатились, и мост стал тонуть. Пришлось срочно разбирать его, наводить новый. Туман рассеялся, поналетели самолеты, форсирование сорвалось. А переправившиеся танки Торопов будто бы еще и в плен взял.

Конечно, не все в этих байках точно соответствовало действительности, к тому же и вариантов ходило множество, однако нетрудно было заметить, что во всех вариантах майор неизменно представал высокопрофессиональным военным. А тот уважительный, подчас даже восхищенный тон, с которым рассказывали о нем солдаты, наводил на мысль, что Торопов, как принято говорить, «родился в офицерских погонах».

И вот он приехал. Ничем не примечательный майор лет тридцати пяти. Обошел территорию, осмотрел помещения, сделал мимоходом несколько деловых замечаний. Потом мы провели показательные физзанятия, загасили учебный пожар, ручной аварийной помпой перекачали горючее из одной цистерны в другую. Майор пообедал с нами в нашей столовой, переговорил с Белочкиным, и мы построились для того, надо полагать, чтобы ознакомиться с выводами и рекомендациями.

— Вы все делаете правильно,— сказал Торопов, глядя нам под ноги,— нормально делаете. Но вы — работаете.— Поднял глаза.— Да, работаете.— Всматриваясь в лица, он медленно переводил спокойный взгляд.— Конечно,— согласно кивнул головой,— воинская служба — это прежде всего работа. Но не только она.— Майор задумался, не то подбирая слова, не то вспоминая что-то.— В вас крепко засела гражданская жизнь. Ну да это вполне естественно,— он вздохнул, помолчал и с внезапной строгостью в голосе громко спросил:— Значит, так: кто с Украины?

— Я!— вышел из строя рядовой Пересаденко.

— Спойте нам во весь голос: «Распрягайте, хлопцы, коней».

Пересаденко недоуменно смотрел на Торопова.

— Пойте, пойте, пожалуйста,— повторил майор.

Солдат воздел лицо к небу и начал...

— Стоп!— приказал Торопов.— Станьте в строй.

Мы растерянно ждали, что последует далее.

— У кого есть наколки?

Вопрос был совершенно неожиданным, да и мало кто понял смысл его, но рядовой Круглов, понурив голову, молча шагнул вперед.

— Голубей гонять приходилось?

Круглов невесело усмехнулся:

— Приходилось, а что?— Но, посмотрев на Торопова, в мгновение посерьезнел.— Так точно!

— Просвистите: «Здравия желаю, товарищ майор»

Окинув нас виноватым, прощающимся взглядом, Круглов сверкнул фиксой и чего-то там свистнул.

— Громче!

Выпятив нижнюю челюсть и растянув губы, солдат отчетливо просвистал заказанное приветствие.

— Хорошо,— заключил Торопов и попросил нас назвать несколько строевых песен. Кто-то сказал: «Не плачь, девчонка», Круглов — «Через две зимы».

— А из старых ничего не знаете?— поинтересовался майор.

Мы стали припоминать. Припоминали, припоминали, и майор выбрал две, одну из которых от начала до конца знал Пересаденко, другую я.

— Кто обучался в музыкальной школе?— спросил вдруг майор.

Двухметровый Лаппо медленно склонил голову набок. Я прикинул: музыкалку он окончил лет десять назад, после этого стал ватерполистом, и, конечно же, не до музыки было.

— Учили,— вспомнил Лаппо.— Окончил.

— А на чем вы играли?

— Я?.. На этом... На фортепиано...

«Рояли таскал»,— пробормотал кто-то во втором ряду. Мы дружно хмыкнули, не сдержались.

— Ладно вам,— обиделся ватерполист.— Я ж тогда не такой был.— Растопырил перед собой пятерни, в каждой из которых, без сомнения, уместилось бы как раз по мячу.— Я ж маленький был, худой.

Оставив без внимания наши реплики и смешки, майор сказал:

— Вас, рядовой Лаппо, я назначаю хормейстером — займетесь аранжировкой, понятно?

— Не-эт...— Лаппо помотал головой.

— Пересаденко — запевала. Круглов — свист, остальные — по голосам, понятно? Сегодня у нас что — четверг? Так вот: двое суток на репетицию, а в воскресенье утром вас будет прослушивать комиссия. Форма чтоб, сапоги...— Обернулся к Белочкину:— По банке гуталина на брата!— С тем и уехал.

Белочкин поморщился, укоризненно проворчал:

— Проверяют, проверяют тут,— и вдруг взвился:— А вы чего стоите? Двое суток у вас, понятно? Орите, свистите, только от моего дома подальше! Дуйте куда-

нибудь: за сарай, за столовку... Стрелять не умеете, придется теперь через худсамодеятельность выбиваться в люди — капеллу организовывать. Начнем, значит, с пения, а там, глядишь, и до балета дойдем. Лебеди...

Самодеятельность так самодеятельность — чем не занятие? Опять же, названия своих голосов впервые в жизни узнали. У меня, например, Лаппо выявил баритон и сказал, что такой голос в каждой опере нужен. Круглов ему: «Чего ж мелочиться?! Давай тогда «Даму виней» замастрячим». Лаппо подумал, подумал и возразил: «Сопран нету».

На другой день с утра обосновались мы в лопухах за казармой. Белочкин тоже пришел. «Негоже,— говорит,— в трудный час от своих солдат отрываться». Он любил нас, капитан Белочкин, мы это знали. Было ему с нами интересно и в общем-то, несмотря ни на что, спокойно, только вот несколько непривычно, пожалуй.

Его определили в альты.

Выучили мы за два дня эти песни, вычистили пуговицы, пряжки и сапоги — готовимся к приезду комиссии. Но в воскресенье выясняется, что вместо выступления будут стрельбы. Стрельбы так стрельбы — тоже дело: взяли автоматы, сели в грузовики и поехали. На полпути, перед самым поселком, догоняет нас майорский «уазик». Остановились. Поспрыгивали на шоссе. Майор отогнал машины вперед, мы выстроились в шеренгу по четыре и потопали, сверкая надраенными сапогами. Пешком так пешком — занятие для солдат, известно, нужное и полезное. Шагаем себе и шагаем, вдруг:

— За-певай!

Пересаденко, шедший со мною рядом, судорожно хватанул ртом воздуху, вытаращил глаза и:

— Нас по-бить, по-бить хо-те-ли...

Тут Круглов спохватился и как засвищет!

Белочкин шел впереди, майор слева, против середины колонны.

— Веселей!— успевал он выкрикивать в паузах.— Шире шаг!

— Ес-ли ра-нят те-бя боль-но...

Песня длинная — пока допели, в поселок вошли. Круглов говорит: «Интересно, он и через поселок нас с песняком погонит?»

— Братцы,— прошептал Пересаденко,— а у меня стихотворение получилось!

— Как это?— не понял Лаппо, шагавший впереди справа.

— Ну просто из души выскочило.

— Спрячь обратно,— порекомендовал Круглов. Но Пересаденко не услышал, он уже начал читать:

— Идет солдат в строю веселый, выше ногу подыма, руками машет до отказа и соседу он морга! А? Как?

— Сам сочинил?— не поверил Лаппо.

— Ей-ей, сам!

— Отправь в «Крокодил»,— посоветовал Круглов,— это ж — «нарочно не придумаешь».

— За-певай!

— Вдоль квар-та-ла, вдоль квар-та-ла взвод ша-гал...

У калиток кое-где появились люди.

— Позорище с нас хочет сделать,— сказал Круглов.

— Ллевой... ллевой... рраз, два, три-и! Рраз.. рраз... рраз, два, три-и!— яростно командовал майор Торопов.

— За-певай!

— Вдоль квар-та-ла, вдоль квар-та-ла взвод ша-гал...

Мы прошли через весь поселок. Увидели старика, спешно пришпиливавшего медали, крестящуюся в поклонах старуху, женщин, смотревших на нас тревожно и зорко, смеющихся девушек, серьезно и понимающе глядящих мужчин, мальчишек, то там, то здесь пристраивающихся к колонне. Лица были повсюду: за стеклами встречных машин, у калиток, за оградами, окнами.

— ...Ну, значит, так то-му и быть!

— Рраз... рраз... рраз, два, три-и! Рраз, два, три, запевай!

— Вдоль квар-та-ла,— то ли Пересаденко очень полюбил эту песню, то ли внутри у него что-то заело, но мы еще два раза подряд пели про Васю Крючкина.

Поселок остался далеко позади, однако, оборачиваясь, мы видели людей, все стоящих возле дороги. Наконец майор приказал остановиться. Подождал, пока мы отдышимся, потом без каких-либо эмоций в голосе полюбопытствовал:

— Так кто вы?

— Мазутная команда,— робко ответил кто-то из нас.

— Не-эт!— Торопов покачал головой и, выставив перед козырьком своей фуражки кулак с оттопыренным вверх указательным пальцем, призывавшим к особо пристальному вниманию, объяснил:— Вы — армия.

Тут подкатил «уазик». Белочкин спросил, будет ли

майор наблюдать за стрельбами. «Зачем?— пожал он плечами.— Отстреляетесь»,— и уехал. Подошли наши грузовики. Белочкин хотел было скомандовать: «По машинам», но передумал: «Чего тут идти-то? Километр до поворота, а там — всего ничего... Ш-шагом аррш! Запевай!» И через полчаса, когда мы приблизились к проходной полигона, те самые караульные, которые обычно встречали нас чем-нибудь вроде «привет снайперам», торопливо распахнули ворота и, отдавая честь, окаменели в явной растерянности.

— Эй, ком-роты, даешь пуле-меты!..

Мы входили на полигон так, как, наверное, некогда входили армии победителей в ворота сдавшихся крепостей.

Не могу сказать, что стрельбы завершились полным успехом, но авторитет мазутной команды с этого дня начал расти, и последних мест мы, как ни странно, впредь не занимали.

Пересаденко вскоре стал солистом ансамбля песни и пляски округа. Но мы нашли нового запевалу — Куценко.

Майора с тех пор я так и не видел. Говорили, что он направлен на учебу в военную академию.

Пытаясь впоследствии объяснить себе, почему Торопов предпочел современным строевым песням старые, я неизменно вспоминал его слова, сказанные пусть не о песне, а о военной службе: «Конечно, это прежде всего работа, но не только она».



АМЕТИСТ

Шел дождь, и автобуса не было. На станции собралось много народу, поговаривали, что автобуса не будет вообще, так как Белавинское озеро разлилось и перехлестнуло дорогу. Высказывались надежды: «Хотя б до Белавина, там, может, кто на лодке подбросит»,— но неизвестным оставалось, где автобус: то ли свернул назад и, стало быть, возвратится, то ли проскочил за озеро и застрял уже на обратном пути, и тогда «хотя б до Белавина» будут посылать какой-то другой автобус, с другой линии, а когда это произойдет — неведомо, потому что всюду дожди — такая весна, и всюду автобусы застревают.

Однако явился. Шофер, спрыгнув под дождь, втянул голову в воротник телогрейки, ссутулился и заспешил к домику автостанции, на ходу то и дело оборачиваясь посмотреть машину, которая выглядела, как и должно после долгой грязной дороги — удручающе то есть.

Войдя в помещение, бросил собравшимся: «До конца»— и скрылся в диспетчерской. Пассажиры засуетились, принялись восстанавливать очередь, живо и подробно вспоминая, кто за кем приходил, кто что в это время делал, и хотя все в минуту образовалось, гомон не утихал, и люди с яростью спорщиков сообщали друг дружке очевидное и получали в ответ не менее яростное согласие, дополненное новыми деталями вроде: «Я как раз в это время сумку с подоконника переставляла. Тама, гляди, стекло-то растреснуто, вода-то на подоконник и полилась. А у меня в сумке-то кофта. Кабы, думаю, не намокла, дай, думаю, переложу на сухое место. Тут как раз Гришуха входит, ну!»— «Дак я и говорю, что Гришуха за тобой был, ты, значит, за мной, а я — за Клавдей!» Это могло продолжаться до бесконечности, но окошко кассы приотворилось, и в сей же миг голоса смолкли.

Потом, отталкивая друг друга и ругаясь, лезли в

автобус. Кричали, что места хватит, но каждый старался пролезть вперед. Один лишь Гришуха Анчуков стоял в стороне. Он, как, впрочем, и остальные, знал, что мест в автобусе двадцать четыре, а билетов продано восемнадцать. Но еще он знал, что будь не восемнадцать, а десять или пять человек, без ругани и давки не обойтись, и какая-то в этом нелепость, и тут уж ничего не поделаешь.

У деревень автобус останавливался, люди входили и выходили, прощались и здравствовались, вели громкие разговоры.

Наконец добрались.

Отмыв сапоги в луже у автовокзала, Гришуха направился в центр города, где был ювелирный магазин.

Гришуха всегда с некоторой робостью входил в ювелирные магазины. Приближаясь к прилавку, он боялся увидеть нечто, что могло бы ему понравиться. Так было всегда. Но если в прежние времена, в юности, когда Гришуха приезжал в город с отцом, на прилавках случалось видеть шедевры, угнетающие своей красотой и заставляющие бегом бросаться к станку, чтобы сработать какой-нибудь перстень для самоутверждения, то в последние годы попадались все настолько грубые и убогие поделки, что Анчуков диву давался, и странные мысли одолевали его. С одной стороны, он чувствовал в себе умение, а с другой — не понимал, зачем он нужен со своим чутьем на камень, со всем изяществом работы, если магазин заполнен такой невзрачностью.

Он долго стоял над прилавком. Настолько долго, что вызвал подозрения продавщицы.

— Гражданин! Вам чего?

Подняв хмурый взгляд, Гришуха спросил перстенек с аметистом.

— Перстней с аметистами у нас нет, есть кулоны из аметистовых «щеток»— тридцать восемь рублей,— ответила продавщица с некоторым волнением, опустив руку под прилавок, где была кнопка звонка.

— Это не «щетка»,— вздохнул Анчуков,— а крошка, наклеенная на металл. И вообще, не аметист это.

— Как не аметист?— переспросила продавщица, не понимая, куда клонится разговор.

— А вот так. Дерьмо это.

— Гражданин! Не ругайтесь! Я милицию вызову!

— Дайте изумруд,— продолжал тему Гришуха.

— Нет изумруда,— отвечала продавщица, растерян-

ность которой постепенно сменялась любопытством.

— Хоть какого он цвета?

— Неважно.

«Дура»,— хотел сказать Анчуков, но сдержался:

— Фефела!

— Как вы смеете!— вспыхнула продавщица.

— Ладно, ладно,— успокаивал Анчуков,— извини. А где, к примеру, гранаты?— И развел над прилавком руками.— Где опалы, агаты, александрит, аквамарин, яшма, сапфир?

Но в продавщице еще кипела обида.

— А!— махнул рукой Анчуков и, достав из кармана плаща тряпочку, развернул, вынул перстень.— Гляди!

— Ну и что?— скривив губы, она возвратила перстень.— Дешевка. Тридцать рублей.

— Скажешь тоже! Тридцать рублей!— Он аккуратно завернул перстень в тряпочку.

— А рубины и александриты у нас есть. Вот, пожалуйста.

— Стекло.

— Как стекло?— не поняла продавщица.

— Так. Искусственные, мертвые.

— Ну, не знаю, что вам еще нужно,— брезгливо дернула плечиками.— И яшма у нас есть — вон булавки для галстука.

— Метро «Краснопресненская»,— махнул рукой Анчуков.

— Чего?

— В Москве бывала?

— Ну.

— Такой «яшмой» в метро стены выкладывают. Более она ни на что не годится.

— Много о себе понимаете,— буркнула продавщица,— а у самого, поди, и денег-то нет колечко купить.

— Куда мне! Тут к каждому камешку — кило золота.

— Не чета вашему.

— Это уж само собой,— усмехнулся Гришуха.— Ну ладно, пойду попытаю счастья.— И, подмигнув продавщице, прошел в комнатенку с надписью: «Скупка ювелирных изделий у населения».

За столом, склонившись над бумагами, сидел старик.

— Здрасьте, Борис Михалыч!

Старик, не поднимая головы, посмотрел над очками:

— Анчуков? Давно тебя не было. Проходи, садись. Что пожаловал?

Присев к столу, Гришуха вновь развернул свою тряпочку и положил на бумаги перстень.

Это был серебряный перстень тонкой и красивой работы с большим аметистом, темно-фиолетовым, «кровяным», какие некогда добывали на Урале.

— Вещь!— не удержался старик и, взяв перстенек двумя пальцами, принялся поворачивать его так и эдак, собирая в камне свет из окошка.

Свет был сейчас мрачноват и холоден, и камень молчал, затаившись в непроницаемой черноте.

Старик встал, подошел к окну, поднял перстень, и аметист неохотно открыл глубину.

— Эх, солнышка бы!— вздохнул старик.

— Да просто денек был бы посветлее, а если солнышко — то за тучкой, чтоб не прямой свет.

— Ну это конечно, чтоб не прямой,— с пониманием согласился старик,— да что тут будешь делать!— прошел к двери, щелкнул выключателем,— лампа вспыхнула,— вернулся к столу и поднял перстень.

Гришуха поморщился, предчувствуя боль, и глянул на камень: попав под прямой свет, аметист полыхнул и выплеснулся кровавым сиянием. Гришуха даже глаза закрыл, но и под веками все было кроваво-красным. Старик, не выдержав зрелища, положил перстень на стол.

— Да, брат,— только и сказал он. А камень, лежавший теперь боком к свету, несколько успокоился, поостыл, сделался темно-лиловым, и лишь в глубине его горели кровавые искорки.

— Да-а,— шепотом добавил Борис Михайлович,— сильная вещь.

— Вот,— пробурчал Гришуха,— а продавщица тридцатник предложила.

— Ну, это она по молодости.— И, глядя на перстень и что-то про себя думая, старик вдруг спросил:— А ты как вообще-то живешь?

— Все так же.

— Все этим... сторожем работаешь?

— Да,— усмехнулся Гришуха,— ночным дежурным по маслозаводу.

— Денег, поди, не хватает?

Гришуха пожал плечами.

— Ну и как перебиваешься?
— Так и перебиваюсь.
— Ну, а огород там, сад?
— Некогда. Все время гроблю на это дело,— ткнул пальцем в перстень.
— М-да. А жена не ворчит?
— Ворчит,— Гришуха вздохнул,— еще как ворчит. Все ж ребятишек двое.
— М-да. А чего ж так мало продукции выдаешь?— улыбнулся старик.— Раз в год и приносишь по камешку.
— Дак дело такое! Пока... придумаешь перстенек, да пока сработаешь, да с тыщу раз переделаешь, чтобы самое то получилось...
— Это конечно,— согласился старик.— Перстенечек твой — загляденье. И скань тут есть, и чернение, и чеканка! Сказочная работа... И все-таки в год по камешку — не проживешь. Надо, брат, посерьезней работать,— осторожно заметил старик.
— Что это вы имеете в виду?— не понял Гришуха.
— Да ничего,— смял старик разговор,— так...
— Борис Михалыч, что вы все темните?
— Экой нетерпеливый! Молодой еще, значит... Ладно: триста пятьдесят. Но столько — не дам.
— Давайте триста.
— И триста не дам. Покупателей нет. Могу дать только сотню.
— Ну что вы, Борис Михалыч, вы ж понимаете...
— Я понимаю, но и ты пойми... Есть, правда, один вариант,— старик, прищурившись, посмотрел на Гришуху,— ежели ты свое клеймишко на другое заменишь...
— На какое — другое?
— Ну, скажем, на отцовское или какого-нибудь еще старого мастера,— подберем!
— Зачем же?— обиделся Гришуха.
— Зачем, зачем... Ты, брат, работаешь так, что вполне можно пустить твои перстенечки с именитыми клеймами, а это в цене.
— Не пойдет,— отрезал Гришуха,— вы мне и в прошлый раз намекали, я понял...
— Намекал. И надеялся, что поладим. Оттого и заплатил в прошлый раз соответственно и даже кое-что потерял на этом...
— Сколько?

— М-м... рублей эдак тридцать пять — сорок...

— У меня есть восемнадцать рублей... Вот, пожалуйста! Восемнадцать с копейками. Двадцатник я вам по почте пришлю.

— Копейки оставь — пригодятся. И вообще зря ты так! Получил бы сейчас стольничек — и никаких долгов! Или сто рублей для тебя уж не деньги?

— Для меня и рупь — деньги, но... А!

— Ну и куда пойдешь, куда понесешь?

— Да хоть в соседнюю область!

— Валяй! К Бродскому! Как явишься, он сразу мне позвонит, мол, твой клиент заявился — сколько платить?

— Ну и фиг с вами со всеми!

— Как знаешь...

«Эх, беда, беда, беда,— думал Гришуха, стоя на крыльце магазина.— Денег нет, а долгов — двести рублей. Тьфу, двести двадцать... Или впрямь дело мое никому не нужно? И отчего так? Дед работал — годилось, камешки теперь по музеям лежат. Отец работал — годилось, цельной артелью командовал. Артели уж давно нет, один я остался — и никому не надо. Беда! Как же я теперь домой завалюсь? Без денег, без подарков?..»

Он не видел, что из-за витрины наблюдали за ним.

— Я ж сказала — дешевка!

— Дура ты!— оборвал старик.

«Делать нечего»,— завершил свою мысль Гришуха и пошел на автостанцию. Но автобуса сегодня не предполагалось, предполагалось, что сегодня уже ни один хозяин ни единой машины на дорогу не выгонит.

Домой попал Анчуков лишь на следующий день. Жены в это время не было. Она пришла с фермы вечером. Старший сын не спал:

— Мам! Перстень у папки не купили, но ты не ругайся, мам! Он сказал, что больше не будет камни точить и на хорошую работу пойдет. Огородом займется, а, мам? Не ругайся!

— Где он есть-то?

— На чердаке, спит.

— Чего не в горнице?

— Боялся, видать, что ты заругаешься, разбудишь его, а он сильно устал — пешком шел.

— От самого города?!

— Ну.

— Да что он — рехнулся, что ли? Будь они неладны, камни эти!

— Не ругайся, мам, он уже и станок разломал да в чулан снес.

— Чего?.. А ты иди спать, иди,— и взялась разбирать беспорядочно сваленное на печь шмотье. Вытащила из карманов мужниного плаща тряпочку, развернула, осторожно взяла перстень и нацепила на безымянный палец левой руки: «Ишь, засверкал, окаянный!»

Потом, сбросив телогрейку, прошла в комнату, засветила ночник и, открыв шкаф, достала новую сиреневую кофточку.

Глядя в зеркало, она то прикладывала левую руку к груди, то поправляла волосы. Тихая, тайная улыбка озаряла ее лицо. И камень отвечал этой улыбке теплым мерцающим светом.

Неохотно оторвавшись от зеркала, вздохнула, покачала головой и пошла в сени. Выволокла из чулана похожий на сковородку шлифованный диск, бочонок электромотора, какие-то ремни, железки, которые были, неизвестно, от станка или сами по себе, перенесла все это в Гришухину комнату-мастерскую, сложила в уголке.

Потом слазила на чердак. Гришуха, завернувшись в тулуп, спал у печной трубы. Удостоверившись, что он ни жаром не пышет, ни от холода не околел, она и сама спать отправилась — рано утром снова надо было идти на ферму.

Попыталась снять перстень — не получилось. «Ну и сиди, коли такой упрямый». И погасила ночник.

Не было за окном ни звезд, ни луны, ни огонечка какого — одна беспросветная ночь. Лишь в глубине камешка мерцала малая искра.

ИНСПЕКТОР



Третий год уже Ромка Шмаков яростно переиначивал мир. Дело двигалось до обидного медленно, и потому, услыхав привычное: «Не украдешь — не проживешь», — Шмаков даже подпрыгнул:

— Врешь, старик!— заорал он.— Врешь, падла! Врешь!

— Спаси мя, Господи,— пролепетал Нефедов.— Спаси и сохрани!— И боком, боком — надо же так!..— через репьи к воде.

И застрекотал «Ветерок», унося домой испуганного Ромкиного тестя.

Обессилев в мгновение от пролетевшей ярости, Шмаков побрел к крыльцу. Пахло зноем, степью и рыбой. В тени соломенного навеса дремал конь Султан. Старый шмаковский кобель Жмурик, такой же черный, как и Султан, и почти таких же размеров, спал посреди двора, вытянув искривленные ревматизмом лапы. Клубя горячую пыль, носились по двору шальные котята.

Инспектор сбросил сапог, проковылял немного, сбросил второй, вошел в дом и остановился, щупая босыми ногами приятную прохладу дощатого пола. Антонина накрывала к обеду.

— Чего отец-то?— поинтересовался Роман.

— Насчет рыбы. Хотел, что ли, сетенку поставить.

— Ну эт я знаю, а еще чего?

— Да вроде и ничего,— Антонина пожала плечами.

— Интересно! Окромя, как спереть что-нибудь сообща, между родственниками уже и делов не осталось...

— Прогнал, что ли?

— А ты как думала?!

— Ну и ладно,— согласилась супруга,— давай обедать.

Ей, конечно, хотелось бы поругаться, ведь это ж почти позор: зять инспектор, а тесть без рыбы, но за три года Антонина достаточно изучила своего мужа и понимала, что момент неподходящий: Ромка отпатрулировал

ночь, устал, чуть задень его и...— не приведи Господи! Вообще-то супруг был человеком добродушным, терпеливым, по пустякам не сердился и много чего мог снести. Однако мгновения, когда терпение его иссякает, ждать не следовало: любой тяжести подручные предметы могли пойти в оборот. Зная за собой подобное свойство, Шмаков даже казенный ТТ на работу не брал, обходился двухстволкой: пистолет уж больно ловок в руках.

— Как ночь-то?— поинтересовалась жена.

— А!— и махнул рукой.— В яру одну лодочку пуганул, а что сеть бросили, не заметил, на винт и намотал. Ждал, пока к насосной станции отнесет. Там лебедка у Михаила: корму приподняли, сеть срезали — ночь и прошла...

— Так ты теперь Михаилу-то послабление, что ли, дать должен?

— Хрен ему, а не послабление. Бутылку поставлю — и все.

— Ишь!— не сдержалась супруга.— Бутылку! Другие мужики сами пьют, а мой — на тебе, пожалуйста, угощает!

Роман замер.

— Бутылку так бутылку — добра-то! — как ни в чем не бывало согласилась она.— Доедай щи, поди, остыли?

После обеда Роман лег спать. Спал он четыре часа и к вечеру снова выехал на патрулирование.

Очень скоро попался ему монтер Гусятов. На «Прогрессе» с двумя «Вихрями» и, конечно, ушел бы, но инспектор накрыл его в редкостно благоприятный момент: Гусятов бултыхался в воде, должно быть, забрасывая накидку — кошельковую донную сеть, потерял равновесие или зацепил ногой шнур.

— Здоро́во!— подъехал Шмаков.— Как эт тебя угораздило?— И зачалил «Прогресс» к своему катеру.

— А, будь она проклята!— выбравшись из воды, Гусятов стаскивал с себя одежду.— Дай закурить. Свои, вишь, намокли.

Шмаков раскурил папиросу и передал в лодку.

— Чего отымать будешь?— поинтересовался Гусятов.

— А что заловил?

— Да ничего, раз только и бросил.— И передал инспектору тяжелый мешок.

Сазаны — один килограммов на шесть, другой по-

меньше — были еще живы, и Шмаков их выпустил.
— Сазанов, так и быть, прощаю, а за стерлядку — двадцатник.

Гусятов молчал. Ему было холодно в мокрых трусах и без всей остальной одежды.

— При себе есть?

— Откуда?

— Это уж поискать придется.

— Накидку возьмешь?

— Ты это что?— подивился инспектор столь грубой наивности.

— Ну и бери!— Гусятов передал конец шнура.— Тащи сам. Только, ежели чего вытащишь, не приплюсовывай, годится?

— Ишь ты, жох! Торговаться надумал?

— При чем здесь торговаться? Я мог и выбросить шнур, мне просто сетенку жалко — сам плел, времени, понимаешь, угробил кучу...

— Ладно,— согласился Роман,— поглядим, чего ты там сплел.

— Такая же, как прошлогодняя.

— Прошлогодняя у тебя ничего накидка была,— оценил инспектор,— качественная.

— Эта такая же, только чуток поболе.

— Вот и зря: неудобно забрасывать — должно, потому и свалился. А прошлогодняя, та...— Шмаков замолчал и вдруг:— Едреня феня! Что-то того — упирается!

— Ну да?— монтер вмиг оказался на катере.— Мать честная! Взаправду!

— Да не суетись, не суетись ты!— одернул его инспектор.— Закрепи, а то нас вместе с веревкой.

— Слышь, Роман,— зашептал Гусятов, привязывая шнур к кнехту.— А ведь так нам, пожалуй, ее и не вытащить! Буксировать надо!

— Придется,— выдохнул Шмаков, с трудом удерживая шнур, который уходил то под катер, то куда-нибудь в сторону.

— Вишь, как мотается, словно лесочка — туда-сюда, а там ведь одних грузов пуд... Ну и хреновину заловили!

— Держи!— Шмаков передал шнур Гусятову и спрыгнул в кабину.— Если зацепит корягу, поотпусти — там у тебя метра четыре в запасе, и крикни — я сразу назад сдам.

— Ясно,— кивнул Гусятов.— Нажимай потихонечку.

Инспектор осторожно повел катер с пришвартованной лодкой против течения, так легче было в случае зацепа дать задний ход. Но коряжистые места миновали благополучно, и, ткнувшись в песок ближайшего пляжика, где горел костер заезжих рыболовов-любителей, оба — и браконьер и инспектор — спрыгнули в воду и поволокли добычу на отмель.

— Белуга!— ахнул монтер.

— Килограммов на шестьдесят,— определил Шмаков.

— Эй!— крикнул Гусятов парню, выскочившему из палатки.— Тащи чего-нибудь твердое!

— А чего?— растерялся тот.

— Все равно! Топор, камень, полено — по носу ее вдарить! Это ж белуга,— объяснил монтер, задыхаясь,— она сразу того...

— Хороша!— вытер лоб Шмаков, полюбовавшись минуту, и достал нож.

— Погоди, сейчас топор принесут.— Монтер лег на песок и раскинул руки.— Фу... Умотала...

Инспектор оседлал рыбу, которая теперь, на отмели, не сопротивлялась почти, распорол сеть вдоль шишкастого белужьего хребта так, что длинный нос попал на свободу, быстро пересел, не давая рыбе запутаться снова, и взрéзал сеть в другую сторону до хвоста. Потом встал, спрятал ножик и ногой толкнул рыбу в бок. Она перевернулась, как бревно, и, изогнувшись, ударила хвостом, окатив водой и инспектора, и стоявших за ним туристов — их было трое: один с топориком, другой с поленом, третий держал подсачек. Окатило водой и Гусятова, который, разинув рот, приподнялся и недоуменно следил за освобождением белуги. Гусятов вздрогнул, вернулся к горькой реальности и вздохнул: хорошая была рыба. А когда Шмаков, обняв белугу под брюхо, отволок ее на достаточную глубину, монтер поинтересовался:

— Слушай, инспектор, а если бы ты меня с этой тушей накрыл, что тогда?

— Соответственно,— пожал плечами инспектор.— Лодка, моторы и четыре сотни.

— Ну уж это ты брось! Это слишком!

— Не,— прикинул инспектор,— думаю, в самый раз. А теперь поезжай домой — и с двадцатником к Тоньке. Она тебе бланку выдаст — распишешься.

— И Тоньку, вишь, к враждебной деятельности привлек!— обратился монтер к туристам.— Навроде секле-

тарши она теперь,— скорчил рожу и повилял бедрами.— Тьфу! Таку девку споганил!

— Че-го?!— подступил Шмаков.— Как это так «споганил»?

— Идеологически!— решительно пояснил монтер.

— А-а,— смягчился инспектор.

— Где ж я сейчас двадцатник достану?— без всякого перехода спросил Гусятов.

— Не достанешь?

— Где же?

— Снимай моторы.

— Ну...

— Снимай, говорю, «Вихри»!

— Эх...

— Давай, давай, а то зубами стукочешь — аж страшно.

— Холодно ведь...

— Во! И я говорю. И это, чтоб мне без шуток!

— Да ладно! В первый раз, что ли?

Отвязывая лодку, монтер вдруг поинтересовался:

— Слушай, Шмак, а вот когда мы тянули, тебя, часом, азарт не прошиб?

— Было,— признал инспектор.

— Ну ты даешь!— рассмеялся Гусятов.— Молодец!

— Чего это вдруг?

— А кто его знает, сам не пойму... Но чего-то,— он хитро прищурился,— чего-то есть.

— Балабол,— отмахнулся инспектор.— Ну а вы, орелики, чего стоите? Или не знаете, что осетровые под запретом?

— Ну, мужики, держись!— крикнул Гусятов и, потеряв чувство солидарности, захихикал.

— Знаем,— виновато сказал один,— да как-то... от неожиданности.

— Рыбина больно здоровая, не видали таких,— помогал оправдываться второй.

— Это да. Я и сам таких...— инспектор закурил,— не часто вижу... Откуда будете?

— Из Москвы.

Шмаков помолчал, потом, скрывая зависть, тихо спросил:

— Студенты?

— Отучились уже.

— А сюда, стало быть, в отпуск?

— Ага.
— Ну и что ловится?
Они подвели Ромку к палатке, у которой на проволоке вялилась рыба: красноперки, лещи.
— Удочкой?
— Конечно!
— А если б то же самое сеткой...— Шмаков прикинул,— рублей эдак в двести пятьдесят обошлось. Понятно?— спросил инспектор того, что стоял ближе.
— Понятно.
— Да ты брось сачок-то! Чего ты с ним ходишь, чудила?.. Был тут раньше рыбацкий колхоз, сейчас-то его упразднили — ловить нечего... Так вот, в лучшие свои времена колхоз вылавливал за сезон, думаю, раз в пять меньше, чем ваш брат любитель нынче вылавливает...
Ребята виновато молчали.
— Да не тушуйтесь,— вздохнул инспектор.— Что ж с вами делать? Закона качественного на вас пока нет. Ловите.
— А спиннингом разрешается?
— Разрешается,— продолжал горевать Шмаков.
— Что-то неважно...
— Это уж я не виноват. Попробуйте вон у того обрыва. Там суводь — быстрина, должен брать жерех. И судак крупный, килограммов до десяти.— И пошел к своему катеру.
Уже включив двигатель и снявшись с мели, Шмаков высунулся из рубки и подозвал ребят:
— Стерлядь пробовали когда-нибудь?
— Нет...
— Возьмите. Ушицу сва́рите. А если икряная, опустите икру в тузлук минут на пятнадцать-двадцать, и готова, понятно?
— Куда опустить?
— В тузлук! В рассол, значит.
— Понятно, спасибо большое.
«И что за народ? И откуда их столько? На одном только моем острове штук двадцать палаток, а взять от Волгограда до Каспия — все двадцать тысяч!..»
А освобожденная Шмаковым белуга плыла себе и плыла, не предполагая даже, в какой яме, за каким поворотом настигнет ее следующий удар судьбы.
Отпатрулировав ночь, инспектор, кроме накидки, конфисковал бредень, штрафами собрал сорок рублей. «Все

не то,— вздыхал Шмаков,— мелочь». Начался ход осетровых, а эти донные рыбы почти не попадаются в сетки-верхоплавки и бредни. Да и накидкой поймать их случается крайне редко.

Шмаков охотился на тех, кто промышлял перетягами — длинными тросами с часто насаженными большими крючьями. Перетяга укладывается на дно поперек реки, и бескостные осетры напарываются на крючья. Добычливая снасть! На участке Шмакова перетягами баловали пастухи с мелких островых ферм. Выслеживать пастухов было трудно: они располагали снасть рядом с фермами — когда удобно, тогда и проверяли,— и никаких хлопот. Прежде Роману удавалось собирать эти перетяги «кошкой», но пастухи придумали опускать вдоль снасти защитный трос, используя вместо грузов старые тракторные моторы и прочие достижения технического прогресса, благо в степи и по островам их было разбросано множество. Зацепив такой трос, Шмаков потерял однажды «кошку», а заодно и лебедку, которая выпрыгнула из стальной обшивки, оставив на память четыре дыры от болтов. Пришлось плюнуть на стационарное браконьерство. Плевал инспектор без особого раздражения: пастухи жили в таких местах, куда осетровые захаживали нечасто.

Прочие браконьеры, по слухам, не решались устанавливать перетяги на шмаковском участке, памятуя прошлое лето, когда Федька Рузаев, подкарауленный Романом у снасти, взялся стрелять из ружья и перебил стекла. Шмаков протаранил Федькину лодку, выудил разбойника из воды и отдал под суд. Федьку Рузаева упекли, а инспектор, получив с врага двадцать рублей за ущерб, нанесенный казенному катеру, вставил новые стекла.

— Дак ведь как в него попадешь?— рассуждали мужики, когда Шмаков отчаливал, сверкая новыми стеклами.— Сидит, вишь, низко, одна башка и торчит. Пригнется — и не видать. А сквозь обшивку с охотничьего разве пробьешь? Так что — глупость это. Чистая глупость...

Не обнаружив теперь ни одной перетяги, Шмаков занервничал. Он знал: где-то ловят, где-то нарушают закон, где-то «хапают, и по-страшному».

И тут приехал Ефрем — соседний инспектор с Волги.

Там шалили вовсю. Ефрем Ромке в отцы годится, инспектором уже лет пятнадцать, но мужик мягкий, трудно ему со «своими»: родственниками, приятелями. Всякому инспектору тяжело от «своих», и Шмакову первый год приходилось туго. Вот и оставил он поселок, жил на острове, огромном — четыре на шесть километров — куске земли, отделенном узкими протоками от других, маленьких и больших островков, теснившихся в междуречье Волги и Ахтубы. И здесь поначалу покоя не было, но постепенно отстали. А Шмаков набрался такой строгости, что одного областного хозяйственника, прибывшего «в командировку» за рыбкой, послал к чертям. Сам угодил в опалу: то премия меньше, чем у других, то запчастей для катера не дают, то еще что. «Хрен с вами,— не унывал Роман.— Службу я выполняю, и выполняю соответственно. Куда вы денетесь?» И оказался на Доске почета, в примерных, в передовых. «Упрямый ты,— завидовал Ефрем.— Легко тебе».— «Это уж точно,— соглашался Роман.— Легче некуда».

Договорились на двое суток «махнуться» участками. Такое практиковалось. Поставив на прикол казенный катер, Шмаков пересел в собственную легонькую моторку и засветло выехал. Катер был удобен в извилистых, узких протоках, где малошумный двигатель позволял подкрадываться почти вплотную, а на больших открытых пространствах Волги успех дела решала скорость. Дождавшись темноты, инспектор вывел лодчонку в Волгу и, пройдя немного вдоль берега, зачалился к низким кустам.

Проплывали огромные самоходки, караваны лихтеров-сухогрузов, старый колесный буксир протащил плот. Река вершила вечную свою работу. Река могущественная и гордая. И неестественным, неправдоподобным показалось Шмакову, что кто-то может ковырять этот величественный покой ржавой «кошкою», корябать дно, чтобы оттуда, из живой глубины реки, выцарапать гноящуюся ржавчиной снасть и сорвать добычу. Но — Шмаков знал точно — чьи-то глаза уже горят страхом и нетерпением, чьи-то дрожащие от жадности руки уже тянутся к волжской воде.

Донесся слабый шум подвесного мотора. И скоро затих. Включив малые обороты, инспектор осторожно повел лодку вдоль берега. «Если перетяга длинная — должен успеть»,— прикидывал Шмаков. Из-за поворота показался сильно освещенный трехпалубник. «Это хорошо:

за ним, пожалуй, и меня не услышат». Чем ближе подходил трехпалубник к месту, где находилась моторка, тем больше оборотов добавлял Шмаков «Вихрю». Вдруг теплоход заметно поубавил скорость, моторка возникла у его освещенного борта, задержалась минуту и вновь исчезла. «Вона какие дела!»— сообразил инспектор. Выехал на фарватер, включил фонарь и световым сигналом потребовал остановить судно. Теплоход медленно приближался.

— Чего там?— спросили в мегафон с мостика.

— Рыбнадзор!— крикнул Шмаков.

— Ну и чего?— вновь поинтересовались сверху.

— А ничего,— спокойно сказал Роман, набросив веревку на кнехт пассажирского судна.

После некоторого молчания другой голос скомандовал:

— На нижней палубе! Помогите пришвартоваться!

«Капитан,— сообразил Шмаков.— По времени — его вахта». Здоровый белобрысый парень лет двадцати в клешах и тельняшке, выполняя приказ, неохотно подошел к борту, посмотрел и махнул рукой:

— Пусть сам карабкается.

Потом, высунувшись за перила и подняв голову, спросил капитана:

— Чего останавливались? Давить его надо было!

— Нельзя,— развел руками инспектор, взобравшись на палубу.— Я выплыву — это уж обязательно, а капитана будут судить за неоказание помощи.— И пошел наверх.

Поднявшись в рубку, назвал себя, поздоровался.

— Дак что случилось-то?— полюбопытствовал капитан, добродушного вида крепыш лет сорока. Волгарь, судя по оканью.

— Только что вы взяли икру у браконьеров,— сообщил Шмаков.

Капитан притворно вытаращил глаза. «Вот занудство,— вздохнул Роман.— Будет теперь спектаклю разыгрывать».

— Не понимаю вас, товарищ инспектор. Недоразумение здесь какое-то?!

— Да перестаньте!— инспектор сморщился, будто от вони. Но, собравшись для противного, тягостного разговора, медленно продолжал, кивая с каждым выдавленным из себя словом:

— Сейчас... ваша... вахта. Вы... не могли... не заме-

тить... что судно... останавливалось. А раз так... вы.. не могли... не знать... зачем... оно... останавливалось.

— Можете осмотреть судно,— разрешил капитан, выразив на лице крайнюю степень недоумения.

— Я пришел не в дурачков с вами играть. Я понимаю, что икорки мне не найти. Я просто хотел предупредить вас, что,— Шмаков опять скис,— вы... являетесь... пособником... преступления... приобретая имущество... добытое... заведомо преступным путем.— Инспектор был не силен в юриспруденции, но краем уха кое-что слыхивал и в нужный момент мог употребить.

— Ну ладно, ладно,— обиделся капитан,— скажешь тоже: «пособником»! Дают по дешевке — беру.

— А если бьют — стало быть, бегу, так, что ли?— Шмаков вздохнул.— Эх, ты! Тютя!

Капитан, услыхав оскорбительное слово, смутился. «Вроде бы еще не окончательное дерьмо,— оценил Шмаков.— Вроде еще можно надеяться».

— Прощевайте!

Тот молча кивнул. Спустившись, Ромка застал хамоватого матроса на прежнем месте.

— Икорки не надо?— мимоходом поинтересовался инспектор.

— Заправились,— не вынимая изо рта папиросы, лениво ответил парень.

— Ты, что ли, принимал?

— А хоть бы и я.

Перебравшись в лодку и сняв с кнехта веревочную петлю, инспектор тихо заметил:

— В следующий раз пойдешь рыбок кормить.

— Чи-во-о? Да я...

— Спокойно,— Роман откинул телогрейку со стланей. Под телогрейкой лежало ружье.— Будь здоров, больше не балуйся,— врубил мотор и скрылся.

Пассажирский дал ход. Капитан был раздосадован, матрос зол, а инспектор, бросив мотор, от отчаянья плакал — разве что слезы не текли: «Едрена феня! Да что же это я такой беспомощный, бессильный? Что ж это я ничего с ними поделать не могу? Да что ж это они все грабят и грабят? Хапают да хапают?!» И обернулся вслед сияющему теплоходу, который был сейчас единственным светлым островом в сплошной ночи. Все удалялся остров, становился меньше и меньше.

И Шмаков теперь уже с жалостью смотрел на этот ко-

мочек из трехсот пассажирских и экипажных человеческих душ.«Да что же это я, погоди... Да как же?!— И, пнув сапогом двухстволку:— Тьфу, проклятая! Лучше б тебя совсем не было!»— он даже передернулся от внезапного холода и отвращения.

Поплавав с «кошкой», Роман забагрил две перетяги метров по сто пятьдесят. Обе пустые. «С капитаном провозился — лучшее время ушло. Опоздал». Ткнув лодочку в берег, он закурил перед сном. Проплыл выпотрошенный осетр. Посветив фонариком, Шмаков определил: «Вчерашний. Издалека плывет».

На Волге браконьер капитальный, солидный — с рыбой не связывается, берет только икру. И за утро, пока Роман спал на дне лодки, мимо него вверх вспоротыми животами проплыли несколько осетров, севрюг и одна двухметровая белуга с никому не нужной молокой. Шмаков много раз видел подобное бедствие, и не утешало, что с каждым годом картина плывущих вверх брюхом рыб становилась все менее впечатляющей — конечно, охрана усилилась, но ведь и рыбы поубавилось. А браконьер, он не переменился, разве что стал хитрее и изворотливее. Подопечных своих Ромка делил на несколько категорий: один браконьерит из озорства — молодежь чаще, другой — по привычке брать, что плохо лежит, третий — профессионал, четвертый — потому, что есть первый, второй и третий. И ведь все уже понимают, что так дальше нельзя. Все — с первого до четвертого...

Днем Ромка съездил к пастухам за десять километров на чистый луговой остров. Договорился купить сенца, поужинал и к ночи вновь караулил Ефремов участок. Несколько раз бросался в погоню, однако безрезультатно. Браконьер на Волге наивысшей квалификации: икру держит в резиновом мешке, привязанном к лодке. Увидел инспектора — чирк веревочку ножичком, мешочек на дно, и: «Здрасьте пожалуйста! Мы с другом решили проветриться — ночь-то какая! Одно удовольствие погулять! Компанию не составите? Жаль! Рады были познакомиться! Всего наилучшего!» Не пойман — известно — не вор.

У одной лодки в пылу отступления заглох мотор, но браконьеры — их было трое — успели подойти к берегу на веслах и бежали, прихватив добычу.

— Тьфу, елки зеленые, — выругался, осмотрев лодку, Роман.— Чисто сработано. Ни икринки, ни хрена... Лад-

но, мужики, ваша взяла!— признал инспектор.— Выходи, что ль, покурим.

— Шмак?

— Ну.

Вышли двое. Молодой показался Ромке знакомым.

— Никак встречались?

— Ну!

— Шибаев?

— Он самый.

— Здоро́во живешь.— Роман вспомнил, что этот парень имел некогда виды, и значительные, на Антонину

— Здоро́во.

— А это батя твой, что ли?

— Ну.

— Вместе, стало быть, промышляете?

— Ну!— мужики гоготнули.

— Есть, что ль, вам нечего? Да вы и есть-то не станете... Иль денег нет? Мотоцикл-то, поди, с коляской?

Молодой усмехнулся и назидательно, с издевкою сообщил:

— Машина у нас!

— Ну вот! И сколько еще можно хапать?

— Ладно тебе!— сердито бросил папаша.— Все воруют! Кто больше, кто меньше, а тащат. И повсюду так. Сами-то вы больно чистые! Ты-то ладно, ни себе, ни людям, а другие?

— Кто, что другие?

— Инспекторы твои, вот кто! «Рыбнадзор — первый вор», слыхивал?

— Да,— согласился Шмаков,— бывает.

— «Бывает»!.. Да все вы!..

— Ну эт зря, эт ты перегибаешь. Тимофеева Юрку знал?

— Хороший был человек,— искренне согласился Шибаев-старший.— Хороший, царство ему небесное.— Развел руками.

— Семка Орлов?..

— Тоже ничего,— признал папаша,— да больно шустер. Скоро, видать, за Юркой отправится.

— Ну, эт мы посмотрим,— между прочим сказал инспектор.— Он вперед или, например, ты.

— Посмотрим,— не обижаясь, снисходительно согласился папаша.

— А Яшка Кузьмин?

Это еще откуда?
Ниже нас километров на пятьдесят.
Не знаю.
Что ты! Извел всех стервецов начисто! Я имею в виду конечно, вашего брата...
— Догадываюсь.
— Ага. Приезжаем отчитываться, а он на бобах! Начальство скажет: мышей не ловишь! Ну мы Яшке и подсобили: кто сетенку, кто бредешок, кто старую лодку — мало-мало набрали.
— Не знаю.
- А Ефрема вашего взять?
— Ну!— презрительно отмахнулся Шибаев-старший.
А что — хороший мужик!
Мужик - ничего, а инспектор...
Значит, не убедил я тебя?
Куда там...
— Ну ладно. Был я тут на совещании по рыбной охране, мы там промежду собой откровенно беседовали. Скажу честно: попадаются всякие. Один, например, из-под Москвы, с Можайского водохранилища, рассказывал, будто там все инспектора только и занимаются, что ловят для себя и своего начальства. Врет ведь, сволочь! Подлость свою оправдывает! Помню, хвастался еще, что сеть приобрел морскую: десять на триста пятьдесят метров! А того, дурак, не понимает, что сеть эту без сейнера ему из воды не вытащить! Во до чего жадность человека доводит!
— А какая там рыба?
- Судак, лещ... В основном судак, кажется, а что?
— Крупный?
— Вроде не очень.
Ну и хрен с ним.
— Как хрен? Не хрен! Потом этому мужику морду набили.
— Ты?
— Не, один там, с Печоры, опередил.
— А у него что за рыба?
— У него семга.
— Крупная?
— Эта — крупная. С красной икрой, может, слыхал? У нашей черная, а у той красная.
— Знаю,— кивнул старший Шибаев.— Тоже хорошая вещь. Как ее там добывают-то — перетягами?

— Не, в основном лучат и острогой бьют.
— У нас лученье не очень подходит.
— А на мелких-то местах...— возразил молодой.
— Эта да,— признал старший.— Есть любители. Только что там лучить, вона где рыбка.— И указал на фарватер, помеченный бакенами.
— Третий-то ваш икорку понес?
— А ты как думал?— победно усмехнулся папаша.
— Молодцы.— Шмаков зевнул.
— Не получается ничего, инспектор?
— Получается. Да очень туго,— признался Шмаков
— Бесполезная твоя работа: воюешь, воюешь, а толку — шиш.
— Не скажи.
— Вот те и не скажи! Друга-то своего видел?
— Какого?
— А которого на «курсы повышения квалификации» отправлял.
— Федьку, что ли? Рузаева?
— Ага. Выпустили его. Говорят, хорошо себя вел, исправился, вот и выпустили. Сейчас здесь околачивается. Заезжал вчера, тебя ласковым словом вспоминал, очень встретиться хочет.
— Значит, выпустили...
— Ага.
— Ну и ладно, раз выпустили,— Роман снова зевнул.— Стало быть, вы что — гуляли? К знакомым ездили?
— Угадал!
— От меня не удирали, плыли себе и плыли — так?
— Так.
— И сигналов моих не видели...
— Эт само собой.
— Все правильно,— согласился Роман.
— Как же — грамотные!— подтвердил папаша довольно, хотя и с некоторым смущением.
— Ну, а если бы я за вами на берег пошел?
— Чего-нибудь сообразили бы,— словно извиняясь, ответил папаша.
Молодой ухмыльнулся: очевидно, именно ему доверялась главная роль в «соображении».
— Молодцы. Ну, бывайте,— попрощался инспектор,— поеду. Сил нет, как спать охота, а еще столько делов!

— Будь здоров. Лови их, браконьеров, злодеев-то окаянных!

— Придется.

— Антонине мой личный поклон,— Шибаев-младший поклонился в пояс.

— Да,— беззлобно присоединился папаша,— жалко бабенку, красивая.— И, обращаясь к инспектору:— Чего она в тебе нашла?! Кроме упрямства, ничего за душой нет. Сейчас бы на «Москвиче» каталась — как хорошо!

— За поклон благодарствую, обязательно передам.

— А ты не горюй!— Шибаев-старший хлопнул по плечу сына и кивнул в сторону Шмакова:— У них работа какая? Ездят, ездят, а однажды и... Так что не расстраивайся, еще покатаешь Тоньку-то, вдовы — народ покладистый!

Роман усмехнулся, но промолчал.

В условленном месте встретились с Ефремом. Подбили бабки — негусто. Потом Ромка съездил к пастухам и на обратном пути винтом зацепил сеть.

Сначала инспектора бросило вперед, потом лодку потянуло назад и под воду. Шмаков опрокинулся навзничь, ударился спиной о румпель и вывалился. От удара что-то со Шмаковым произошло. Он выгнулся в спине и не мог согнуться обратно: «Заклинило...»

Тонул Ромка медленно, и ласковое синее небо качалось над ним.

Зацепив песчаное дно, оттолкнулся, и, казалось, вот уже достанет небо руками, но вдруг оно почернело, боль мгновенно прошла, и сладкая дрема вновь повалила Шмакова в пучину, как в перину. «Все!»— сообщил ему проблеск сознания.

Хрупок человек, но вынослив необыкновенно: ноги толкнулись еще раз, потом еще, потом судорожно дернулись. И все в том же заклиненном состоянии выбрался инспектор на берег. «Метров сто пропутешествовал»,— определил он, увидев лодчонку, которая, задрав нос, сидела в сетке. «Как же это я с утра не зацепил? И вчера тоже? Плыл ведь этой дорогой... А-а! Вода упала! Сеточка была притоплена, а тут... Всю протоку перегородили, сволочи! А если б не я, какая-нибудь баба с детишками?.. А хоть бы и я, да в другую сторону — по тече-

нию... Вывалился бы выше сетки, в ней бы и заночевал»

Проплывали клочки отборного сена. «Качественный товар: ни колючек тебе, ни репьев — исключительное питание!..»— успел подумать Шмаков и внезапно заснул

Проснулся расклиненным, лодки не было. «Вытаскивать теперь... Тьфу ты!.. А сеточку я покараулю», пригрозил он неизвестно кому и пошел домой. «Степь да степь кругом!»— пел инспектор. Так оно и было. Путь, правда, предстоял недалекий — четыре версты, да и замерзнуть Шмаков не мог: сияло солнце. Летали в небе галки, чайки и самолет. «Качественная жизнь: утонуть не случилось, хребет цел, вредителя заловлю, с Федькой встречусь — все соответственно!» Стало легко, хорошо и сильно захотелось домой к дорогой жене Антонине «Эх, жаль, ребятишек нет... И чего ж это я, дурак, воспрещал?! И чего ж это она меня слушалась?! Вроде из-за работы все, а ведь неправильно!.. Заводить надобно.. Срочно! Сей минут велю Антонине! Это ничего, что на острове — вырастим! А то скоро двадцать шесть лет, а ребятишки отсутствуют — недоразумение!— Инспектор даже остановился, чтоб лучше соображать.— Так вот в сетку влетишь — и фамилия кончилась... Несправедливо!.. Эх! Степь да степь кругом!» Взлетали испуганные куропатки. И, преодолев вплавь две протоки и пройдя четыре версты, любовь свою он принес жене:

— Антонина! Я по тебе соскучился.

— А где лодка?..

...Утро было дождливым, туманным, шли по Ахтубе две моторные лодки. Инспектор не видел их, но по натужному гулу моторов определил, что лодки гружены тяжело, и выехал на фарватер встретить и посмотреть. Ближняя лодка, большая деревянная, с мощным подвесным мотором, послушно приблизилась к катеру. В ней было четверо мужиков, один из которых как будто спал, укрывшись тулупом. Под брезентом угадывались бочки и ящики. «Купцы!— определил Шмаков.— Волгой идти стесняются, крадутся здесь... Вот это подарочек! А я-то не верил, что они существуют, думал: так, болтовня, ан — пожалуйста! От такого подарочка ни одна милиция не откажется — с руками и ногами оторвут!»

Вторая лодка, казанка, развернувшись, зашла с другого борта. В ней было двое и тоже кое-какой груз.

— Здоро́во, мужики,— сказал Шмаков и вырубил двигатель, чтобы не драть глотку.

Здоро́во, здоро́во,— ответил один с большой лодки, глядя мимо инспектора. Роман обернулся: казанка держалась у кормы.

— Чего везем?

Рыбьи яйца,- ответил тот же, и мужики засмеялись.

Шмаков почувствовал, что с казанки кто-то ступил на катер.

— Что за движок у тебя?— спросили оттуда, из-за спины.

— Хороший движок,— обернулся инспектор и увидел городской наружности парня. Приподняв капот, парень склонился над двигателем.

— Ну что, инспектор,— поинтересовался первый,— так разойдемся или...— и наконец перевел взгляд на Шмакова.

Катер качнулся. «Стало быть, тот с кормы ушел».

— Разойдемся,— ответил инспектор, поняв невыгодность ситуации. «Самое время попасть в газету: «Вступил в неравную схватку с бандитами и геройски погиб. Знатоки ведут следствие».

— Ну и правильно,— похвалил мужик и огляделся:— Туман-то какой,— в лодке понимающе хохотнули. Завел мотор. Казанка тоже отчалила.

«Выкрутился,— ткнувшись лбом в штурвальное колесо, Роман бессильно опустил руки.— Чудом выкрутился, крепко прижали, сволочи... Только что ж эт они меня выпустили?— И посмотрел вслед удаляющемуся гулу моторов.— Еще повоюем!»

Дал газ. Сзади что-то ударило, заскрежетало. Остановив двигатель, Шмаков выбрался из кабины, поднял капот и тут же зло бросил его обратно: «Обвели! Обвели, гады!» В шарнире карданного вала торчала погнувшаяся монтировка, при вращении она пробила дно катера. «Обвели!— и чуть не зарыдал от досады.— Как же, нашел дураков: «Разойдемся». Эти так просто не разойдутся! Движком, вишь, поинтересовался, паскуда, а монтировочка уже приготовлена...»

Располосовав фуфайку, инспектор взялся заделывать пробоину. «Ну доколе еще в нашей хорошей жизни сволота всякая побеждать будет? Не жизнь это — одно отчаянье!» Долетел откуда-то шум моторов. «Придут люди сейчас и посмеются: «Шмаков, Шмаков, напрасный ты человек!» Шум удалялся. «Дак ведь это в Мелком ручье?!

Кого ж туда занесло? За каким, интересно, делом?.. Дак ведь это ж они... Точно, они! Днем-то им плыть нельзя — днем-то им надо прятаться!..»

Схватив ружье, патронташ, инспектор спустился в воду и, подгребая одной рукой, заспешил к берегу. Когда выбрался, катера уже не было. «Мать честная! За одни сутки два утопления — каково?!»

Бродил, бродил Шмаков по островам, вброд и вплавь переправлялся через протоки и, наконец, нашел. Лодки стояли в заливчике, со всех сторон укрытом зарослями ивняка. Браконьеры сидели на своих местах, трапезничали. Увидев в полусотне шагов инспектора, бросились заводить моторы. «Нет, ребята,— постановил Шмаков,— так у вас ничего не получится». И, аккуратно прицелившись, выстрелил в колпак мотора. Деревянная лодка осталась у берега, экипаж пустился бежать. В одном из мужиков инспектор узнал Федьку Рузаева. «Вона кто изображал спящего! Ну, держись теперь!»— и погнался за ними. Казанка выскользнула в протоку. «Хрен с ней, за всеми не угонишься».

— Стой, Федька, стрелять буду!— кричал Шмаков, перезаряжая ружье. Вдруг тот мужик, который вел с инспектором переговоры, обернулся и выстрелил четыре раза подряд. «Пистолет!— сообразил Шмаков, падая.— Кажется, куда-то влепили... Мать честная — война! Настоящие боевые действия! И это в мирное время...»

И все замерли — инспектор и браконьеры, и все гадали, куда пуля попала. «В ногу»,— определил наконец Шмаков и приподнялся на колено. Снова грохнул пистолетный выстрел. Мимо. И еще один. Тоже мимо. Мужики сорвались с места. Стрелявший на ходу шарил в кармане плаща, наверное, доставал следующую обойму. «Нет уж, теперь мой черед!»— Шмаков с колена прицелился, выстрелил, но промазал. «Голова кружится... Так я, пожалуй, немного навоюю». Отполз в кусты и, перетянув ногу ремнем, стал ждать, чего дальше будет.

Браконьеры расположились в стогу метров за сто. Сначала их было четверо, но потом и двое с казанки присоединились. «Валяйте, валяйте,— вздыхал инспектор,— посмотрим еще — кто кого. До темноты больше выстрелить не решитесь — и так нашумели... А тут, глядишь, какая-никакая подмога придет».

К вечеру дождь перестал. Пришла тихая темень.

Издалека, из степей, донес ветер обрывок песни ва-

гонных колес. Короткий, словно нечаянный гудок самоходки шевельнул на мгновение влажную ночь. Потом в бесконечной глубине черного неба заныл самолет. Но ни машинист, летевший по рельсам с полусотней вагонов, ни капитан самоходки водоизмещением пять тысяч тонн, направлявшийся в Швецию, ни пилот, который, выйдя из виража, первой ракетой шлепнул мишень, болтавшуюся над соседней областью,— никто из них, вооруженных тысячами лошадиных сил, не видел и даже не предполагал, что на берегу островка между Волгой и Ахтубой, забившись в кусты, валяется инспектор рыбной охраны Шмаков, слегка пьяный уже от потери крови, и стережет полтонны икры — дерьма-то! Никто не знал, никто не мог помочь...

Дважды за ночь Шмаков вступал в перестрелку, трижды — в переговоры. Беседовать на расстоянии ружейного выстрела Шмакову было тяжело — мало крови оставалось. Он выкрикнул свои условия: «Можете идти в милицию, можете — к едрене фене!»— условия в общем-то равнозначные. На все предложения про деньги и гарантии отвечал матерными словами, не слишком заботясь о разнообразии.

Между тем приближался рассвет — пора было приводить битву к исходу. Браконьеры рассыпались и поползли, чтобы взять инспектора в клещи. Он слышал уже перед собой и по сторонам тяжелое дыхание. Выбрав ближайшее, выстрелил. Раздался вопль. «Все,— понял Шмаков,— можно и отдохнуть». Бандиты бросились бежать. Вопль раненого тоже удалялся. «Должно, в руку попал. Если б в ногу или еще куда, бег бы помедленнее».

Когда Нефедов приехал к дочери и сообщил, Антонина только головой покачала: «Нет, батя». Но побледнела. Подошла к окну:

— Глянь-ко — друг евонный молчит, не воет, а вы говорите, что... Нет, батя!

— Да я ничего такого и не сказал. Ну, катер утопленный обнаружили, вот и все.

— Будь она проклята, эта рыба,— запричитала дочь,— будь неладна...

— Конечно, работа такая,— вздохнул Нефедов, готовясь к тому, что Антонина или упадет, или зарыдает, или все вместе.— Работа такая... Надо бы, конечно, сме-

нить, если, конечно,— он откашлялся,— ничего... особенного не случилось.

Антонина обернулась к отцу и неожиданно зло сказала:

— Вы бы помолились, батя, чтобы ничего не случилось, а то, если чего случится... я сама займу Романово место, и тогда...

Взяв отцовскую моторку, уехала со шмаковским кобелем. Жмурик стоял на носу лодки и, напрягая остатки старческого чутья, искал хозяина, с которым, судя по поведению гостя, что-то произошло, хотя пес спокойно продремал ночь, и ничего особенного ему не показалось. Через два часа гонки по старицам и протокам дрожавший от напряжения и усталости Жмурик вдруг захрипел, закашлял. Антонина причалила к зарослям ивняка.

ЛАВРЮХА ОБЫКНОВЕННЫЙ



Поздней осенью, когда на землю лег снег и вода в реке сделалась непроглядно черной, Лаврюха погнал леспромхозовский катер на ремзавод для замены двигателя — старый едва шебаршил. Кое-как сплавившись до устья, прибился к пристани — подождать рейсового теплохода и с его помощью переплыть озеро. Но выяснилось, что рейсовый теплоход откомандирован на уборку — вывозить льняную тресту,— и обратно он возвратится только через неделю. Если, конечно, к той поре не ударит мороз и не закроется навигация.

Назад Лаврюхе на таком движке не вскарабкаться было, неделю без харчей не прожить, и пришлось отправляться в поселок самостоятельно. «Тьфу, незадача»,— раздосадовался Лаврюха, а тут еще начальник пристани пассажиров «навялил»: двух городских баб, возвращавшихся не иначе как от деревенской родни, и мальчишку-дошкольника — своего сына, который, как понял Лаврюха, приезжал к отцу на побывку да из-за того же рейсового и застрял.

Поплыли. Не плаванье было — маета: моторишко тянул еле-еле, боковой ветер относил в сторону от поселка, а когда уж почти перебрались, у самого берега мотор вовсе заглох.

Лаврюха полез копаться, бабы, обрадовавшись тишине, взялись балаболить, продолжая разговор, прерванный, похоже, отплытием.

— Ой, Валь! Палас — три на два с половиной, за четыреста пятьдесят, голубой... Эспадобна, Валь! Как у тебя... Обои — тоже голубенькие, под цвет... Ну все, Валь, прям как у тебя! Стенка, люстра хрустальненькая, Валь: динь-динь — эспадобна! Парке-эт!.. Я, грю, не разрешу в этой комнате танцевать! Как заржали все, Валь!..

Тут Лаврюха обнаружил, что аккумулятор чужой.

— Тьфу ты! Говорил же я твоему отцу: не могу снять аккумулятор — движок дохлый, дак хоть зажигание путное... Спер-таки, не удержался...

— Он сказал... Все равно ремонт,— растерянно объяснил мальчишка,— там, сказал, поменяют.

— Ремонт-то ремонт, но до него еще доплыть надо, а теперь...

— А что теперь?— подхватились тетки.

— Встретим кого — отбуксируют. А не встретим — к тому мысу прибьемся,— указал он,— маячник свезет, поможет.

— Он в поселок переехал,— робко сказал мальчишка,— мотоцикл перевез, дом, моторку...

Лаврюха пристально посмотрел сначала на него, потом за иллюминатор: темнело, над черным лесом вспыхивал огонь маяка. «На автоматику переведен»,— понял Лаврюха и спокойно, с некоторой даже ленцой, словно речь шла о чем-то не заслуживающем внимания, заключил:

— Ну и пущай. До шоссейки и пешком доберемся, а там кто-нибудь подбросит, отдыхайте пока.

— Отдохнешь тут: болтает до невозможности,— раздраженно бросила Валя.

Волна была небольшая, но, как только суденышко потеряло ход, ветер развернул его и стал раскачивать с борта на борт.

Ни одна моторка не прошла в тот час мимо катера, дрейфовавшего вдоль берега к маяку. И оставалось уж немного совсем, когда Лаврюха понял, что ветер гонит их не на мыс, а левее — на каменистую подводную гряду, уходившую от мыса далеко в озеро.

«И волнишка-то плевая, а вполне можно ни за понюх табаку...» Подумав, он достал из сумки, в которой умещалось все его личное хозяйство, коробок спичек, освободил от харчей два полиэтиленовых пакета, тщательно завернул спички сначала в один пакет, затем — в другой и спрятал на груди под тельняшкой. Бабы, начинавшие заболевать по-морскому, не обратили внимания.

Когда до камней осталось несколько метров, Лаврюха разобъяснил бабам ситуацию — те стали орать: «За все ответишь!»— оделил их спасательными поясами, сохранившимися, вероятно, лишь потому, что на них сроду никто не обращал внимания, надел пояс на мальчонку.

Потом, оборвав идущий к мачте электропровод, одним концом обвязал себя, другим — парня;

— Мы теперь, друг, как альпинисты: связались веревочкой — и по камням! Ты, главное, не давай волне шибко забижать себя, черепок береги, понял?

Тот молча кивнул.

— Не задерживайтесь, бабоньки, сигайте следом,— сказал Лаврюха,— иначе угробит на валунах!— Подхватил мальчишку, шагнул из рубки и прыгнул.

Тотчас раздался за спиной скрежет днища о камни...

В озере и летом-то не купались, а сейчас вода была настолько холодной, что ноги у Лаврюхи отнялись сразу: «Минут пять продержусь — и кранты». Он пошуровал руками, проплыл до камней, потом, обнимая валуны, пополз к берегу. Волны заливали его с головой, парнишка мотался на привязи где-то сзади. «Только бы не нахлебался!»

Наконец выбрались. И здесь, уже на снегу, мальчишечка потерял сознание. Лаврюха взял его на руки и побрел к постройкам, стоявшим у маяка: от подворья смотрителя остались дощатый сарай да маленькая, недавно срубленная из сосны банька — видать, не верил старик, что маяк сможет без него обойтись, новую баньку сгоношил, расстарался.

Лаврюха пристроил мальца на полок, отвязался, снял с него начавшую подмерзать одежонку, попытался растереть, но пальцы скрючило, руки сводило... «Огонь. Или пропадем,— понял Лаврюха.— Скорее!» В сарае нашел гниловатую, но сухую сеть, весло. «Выживем». Потащил к баньке, споткнулся, упал, ноги не слушались. «Только бы сетку не выронить — намокнет». К баньке приполз на коленях.

Ткнул в печь сетенку, потом, вытащив из-за пазухи сверточек, добрался до спичек. Кое-как высек огонь, запалил сетку, подал в печь конец весла — размочаленную лопасть, дерево занялось. «Выживем».

Отогрев руки над пламенем, взял окоченевшего мальчишку, подержал его, сколько хватило сил, у открытой дверцы, вновь положил на полок и принялся растирать... Так повторял он и повторял, не забывая подталкивать в печку прогорающее весло. Вслед за веслом пошла вывороченная в предбаннике половая доска.

Парнишка очухался, трясся в ознобе. Лаврюха, не переставая, грел его, растирал, мял. «Выживем. Теперь

выживем...» Но огня было мало, и воздух в баньке теплее не становился. Лаврюха снова сходил в сарай: подобрал несколько щепок. Потом в куче мусора на том месте, где прежде стояла изба, попытался отыскать какую-нибудь железку, годную для расщепления досок. Ничего не нашел. «Пропадем»,— прикинул Лаврюха. Постоял, постоял на снегу посреди двора, подумал.. Складывалось так, что лишь один выход оставался: подошел Лаврюха к сараю, поднял с земли здоровенный камень и бросил в сколоченную из горбыля стену. Снова поднял и снова бросил, еще раз, еще и еще. Голова закружилась, к горлу подступила тошнота. Он сел на снег, привалился к стене, отдохнул — и снова...

Одна из досок треснула. Лаврюха принялся за вторую, потом за третью. «Теперь выживем». Вскоре огонь в печи полыхал, сделалось заметно теплее, мальчонка перестал дрожать, но зябнул еще, поеживался. «Тогда так»,— решил Лаврюха и понатаскал в котел воды — ведерко, слава Богу, в баньке имелось.

Потом опять ломал, крошил стену сарая, подбрасывая обломки в печь; плескал воду на каменку и добился: ежиться парнишечка перестал, распарился, ожил. И — уснул. «Выживем»,— заключил Лаврюха и только теперь вспомнил: «Бабы!» То есть мысль о тетках, оставленных на катере, не покидала его, но спасать и мальчишку, и теток сразу возможности не было, и Лаврюха занимался мальчишкой. Тетки же, по его разумению, могли и должны были выбраться на берег. Лаврюха ждал их, надеялся на их помощь, но они не появились, и теперь он забоялся: волны могли перевернуть катер, свалить его с гряды на глубину...

По своим следам Лаврюха добежал до того места, где выполз на берег: катер торчал в камнях. Волны поднимали его, опускали, скрежетало мятое днище, но сидел катер крепко.

— Бабы!— заорал Лаврюха.— Ба-а-бы-ы!

Из-за дверцы высунулась голова.

— Давай сюда-а!

Тут судно снова бросило вниз, и голова исчезла. Лаврюха подождал-подождал: «Убились они там, что ли?»— и шагнул в воду. Прошел до колен — назад вылетел: «Не сдюжить. Околею от холода».

— Ба-бы-ы!— Бабы не отзывались.— А! Была не была!— И прыжками побежал к катеру. Но тут же под-

вернул на камнях ногу, упал и далее добирался прежним способом — не то ползком, не то вплавь.

И, уже ухватившись за борт суденышка, подумал с досадой: «Зря поперся. Случись что — парнишка один останется, застынет совсем». А случиться что-нибудь вполне могло: ни рук, ни ног Лаврюха уже не чуял.

Бабы были в кровище — сильно побились. На сей раз они попрыгали за Лаврюхой, но у каждой оказалось по два чемодана.

— С ума сошли?— заорал Лаврюха.— Бросайте, бросайте все!

Они упорно тащили за собой поклажу до тех пор, пока чемоданы не наполнились водой и не утонули.

— Сволочь! Паскуда!— кричали тетки, а Лаврюха уже прикидывал: «Эти — жирные, не должны простудиться. Эти отогреются быстро, мальчонка вот...»

На берегу тетки, обогнав его, бегом бросились к баньке. У Лаврюхи же, пока он дошел, одежка заледенела. «Холодает,— машинально отметил он.— Ночью мороз будет».

Бабы стояли возле печи, клубились паром.

— Сымай с себя все, не то подохнете,— сказал Лаврюха.

Но бабы, кажется, и сами поняли, что в мокрых платьях, рейтузах и свитерах им не отогреться.

— Отвернись, бесстыжая морда!

— Шли бы вы...— Склонившись к огню, он ждал, когда одежда оттает.

Потом все трое сидели нагишом на полке, дрожали. Мальчонка спал.

Отогрелись. И тут с бабами случилась истерика; они столкнули обессилевшего Лаврюху на пол, стали бить кулаками, ногами. В отсветах печного огня он видел животы, груди, зады — все жирное, тяжело обвисшее. Сверкая золотыми зубами, бабы орали про тыщи рублей: «Норка! Выдра! Бобер!» И Лаврюха сообразил, что в чемоданах были меха, скупленные у браконьеров. Устав молотить, бабы навалились, смяли, придавили Лаврюху. «Все,— подумал он.— Убит титькой».

Огонь вдруг погас, вспыхнул: перекошенный рот блеснул на миг металлическими зубами, огонь снова погас, сделалось темно. Бабы отпрянули и затихли. На полке испуганно всхлипывал проснувшийся мальчуган... «Все — золотые, а клык — белый: серебряный или сталь-

ной... Золота, что ль, не хватило?» Лаврюха, расправляя ребра, вздохнул, поднялся и, пошатываясь, побрел к сараю.

Взошла луна, подмораживало.

Скрипнул за спиной снег. Лаврюха обернулся: озаренные лунным светом стояли на снегу голые бабы.

— Ну чего вам? — испуганно прошептал Лаврюха. Бабы молчали. Подождав несколько, он, словно опомнившись, судорожно прикрыл руками низ живота.

Бабы тоже прикрылись.

— Ты уж не бросай нас, дядечка!— попросила Валя и, должно быть, улыбнулась — в отсвете маяка блеснули ряды зубов.

«Чего ж, действительно, все — желтые, а этот — белый? Может, на платину начала перестраиваться?»

— Извиняемся!— сказала другая.

— Ладно,— не удержавшись, махнул он рукой.— Шут с вами.— И пошел себе. Но бабы догнали.— Да за дровами я,— объяснил Лаврюха.— Куда ж я среди ночи уйду? Да еще голый... Во даете!..

— Ну мы поможем хоть что.

— Валяйте,— согласился.— Вот камень, вот сарай — валяйте.

Но бабы не смогли поднять камень.

— Небось на пакость какую-нибудь сил хватило бы. Дуйте-ка лучше назад,— предложил он, услыхав металлический перестук челюстей.

Когда Лаврюха, прижимая к груди обломки досок, ввалился в жаркую темень, с полка донеслось:

— И занавесочки, Валь, достала — ну как у тебя, эспадобна, Валь!..

«Порядок, стало быть,— оценил обстановку Лаврюха.— Стало быть, оклемались». Он снова развел огонь, забрался на полок. Мальчишка не спал, но дышал ровно, спокойно. Бабы пристали к Лаврюхе с расспросами о семье, он отвечал, что женат, что двое детей-школьников. «Все, бабы, извините, я спекся»,— просунулся к стенке, отодвинул от бревен мальчонку, услыхал: «Я овощным заведую, а Валя — универсальным»,— и далее ничего не слышал, потому что мертвецки спал.

Ночью мальчишка захотел пить и разбудил Лаврюху. Тот сходил за водой — в котле была ржавая,— поставил ведерко греться, запасся дровишками, напоил мальца, уступил бабам свое место, а то они так сидя и дре-

мали, сам лег на нижнюю — шириной в одну доску — ступеньку полка. Переночевали.

Утром оделись, вышли к шоссе и на автобусе добрались до поселка: объяснили водителю ситуацию, тот подбросил бесплатно — денег ведь ни у кого не было. Лаврюха отвел мальчонку домой — тот не чихал, не кашлял,— сдал матери. Потом на почте разрешили — опять же бесплатно — позвонить в леспромхоз. Лаврюха сообщил об аварии.

— Напился!— определил директор причину аварии.

— Нет,— оправдывался Лаврюха,— не пил я, нисколько не пил.

— Справку из милиции, иначе — начет,— и бросил трубку.

В милиции Лаврюхе поверили:

— Пожалуйста, дадим справку, зови свидетельниц.

Он выскочил на крыльцо, где оставил свидетельниц, но их не было. Вернулся на почту, забежал в магазин, в сельсовет — теток и след простыл. Наконец на автобусной остановке ему сказали, что тетки остановили шедшие из города «Жигули», коротко переговорили с водителем, сели, и машина повернула обратно.

Лаврюха повинился перед милиционерами и отправился на ремзавод просить буксиришко: «Начет там или не начет, а катерок вызволять надо».



ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК

Мой приятель Тимофей Зайцев участвовал в поимке особо опасного преступника. И самое увлекательное, что Тимофей никакой не ловец, он — вздымщик, иначе говоря, серогон, еще иначе, сборщик сосновой смолы — живицы.

О существовании этого занятия подавляющее большинство населения и не ведает, между тем на вздымке в наших лесах работают многие тыщи людей. Труд вздымщика тяжел, требует сноровки, силы, терпения, а кроме того, неприхотливости, поскольку жить чаще всего приходится в глухом лесу, а жилищем обыкновенно служит сараюшка, будка или вагончик. Полезность этого труда для отечества обнаруживается затем в скипидаре, канифоли и камфаре, да еще в веществах, названия которых труднопроизносимы, но которые, по-видимому, тоже имеют свое предназначение.

Вот на вздымке-то и проработал Зайцев половину из сорока своих лет. Впрочем, в год совершения достославнейшего поступка он служил мастером — зимой его слегка подучили на курсах и назначили: с одной стороны — человек многоопытный, дело знает, с другой — не молод уже, будет к семье поближе, так что вроде бы всем хорошо. Честно отбарабанив сезон, Тимофей подал заявление: «Прошу освободить от мастера, а то я в ваших бумажках ни бум-бум».

Директор не стал визировать: «Так в документах не пишут».— «Во-во,— обрадовался Зайцев,— я и говорю как раз, что ни бум-бум»,— и, в свой черед, отказался переписывать сочинение. Шла тяжба.

К этому можно добавить, что обличием Тимофей лешаковат: мало брит, мало чесан, одежонка трепаная, сутулый, ступни вовнутрь — что поделаешь, столько лет в лесу, да и наследственность: дед, отец, мать — все серогонили.

И вот — в конце сентября дело было — поднимает его

среди ночи участковый милиционер Бабкин. Тимофей думал сначала, что придется самогоноварение свидетельствовать: Бабкин в основном этой отраслью и занимался, такую деятельность развил, таких хитростей наизобретал — каждую неделю в его тенета кто-нибудь да и попадался. Однажды он привлек Зайцева понятым — тому понравилось: для подтверждения злоумышленности напитка удалось опробовать браги. «До-обрая брага!»— восхитился тогда Тимофей и тут же испросил «рецеп» у хозяйки. «Это к делу не относится»,— заметил между прочим милиционер, однако от «не относящихся к делу» вопросов тоже не удержался — исключительная была брага.

Но на сей раз дело оказалось иным:

— В Харитонихе магазин грабанули,— прошептал Бабкин.

Тимофей задумался. Как всякий честный человек, он боялся милиции и потому задумался. По размышлении вышло, что никакого касательства к происшествию он не может иметь, так как не бывал в Харитонихе аж с Троицы, когда ездил проведывать родительские могилы.

— Ну и чего?— спросил Тимофей.

— Грабителя-то засекли и спугнули — он на ту сторону убег.

— Ну и чего?— повторил Тимофей с прежним недоумением.

— Ихний участковый Сахнов пасет его около подвесного моста. Надо Сахнова заменить — пусть обследованием магазина займется.

— А я-то чего?

— Поможешь мне, мало ли: увязну по дороге или понадобится оттуда в деревню съездить, позвонить, да и вообще: мало ли... Двое — не один все-таки... Так-то мы уже сообщили: утром из района опергруппа приедет... с собакой... А пока надо удержать его на той стороне — там ему деться некуда — болота... Других мостов поблизости нет, лодки, поди, все у этого берега...

— Конечно,— согласился Тимофей,— лодки все здесь. Оно и в сенокос на той стороне никто не ночует, а теперь и подавно.

— Ну!.. Вплавь сейчас, пожалуй, не перебраться... Как думаешь?

— Да это и говорить нечего — околеешь.

— Вот...

— А чего бабе сказать?
— Ну... на волков, скажи... мол, волки телят порвали.
— Так это и ружье брать надобно?
— И возьми — лишние стволы не помешают, мало ли...
И уже садясь в мотоциклетную люльку, Зайцев вдруг возмутился:
— А почему я?
— Есть версия, что грабитель — из твоих бичей. В случае чего — опознаешь.
— Не из моих, а из ваших: наприсылаете, потом отвечай...
В последние годы на вздымку стали направлять освобождающихся из мест заключения. Работали вербованные плохо, пропивали инструмент, казенную одежду, воровали друг у дружки и по деревням, словом, пакостничали. На участке Зайцева их перебывало с весны не меньше десятка: трое сбежали сразу после получения аванса и числились в розыске, один не без помощи корешей угодил в больницу, один был задержан в соседней области при распродаже деталей угнанного трелевочного трактора, наконец, еще один помер, употребив для опьянения ацетон. Остальные кое-как перекантовались, заработав на не очень дальнюю дорогу в общем вагоне пассажирского поезда. Последним неделю назад рассчитался Зорин — высокий худощавый мужик с черной бородкой. Тимофей сразу на него и подумал.
Заехали в Харитониху. У магазина, дверь которого была наискось заколочена доской, стояли двое парней и продавщица — караулили.
— Присылайте его скорее,— завопили они.— Надоело.
— Шас,— успокоил их Бабкин.— Шас товарищ Сахнов на этой вот мотоцикле и прибудет, и пойдете домой. Свезешь его,— оборотился он к Тимофею,— а я там пока подежурю.
— Ладно,— сказал Тимофей,— свезу. Поехали.
От Харитонихи до подвесного моста — километра дварда с половиною через бор. В этом бору, кстати говоря, и расположено тутошнее кладбище. Правда, совсем не там, где мост, а в отдалении, и дорога туда ведет особенная, своя.
Подъехали к берегу, посигналили, подождали.
— Не сказывается,— удивился Бабкин.— Может, уснул где?
Побродили туда-сюда, не нашли.

— Чего это там белеет?— спросил Зайцев, заглянув вниз,— а берег там высоченный, горушка какая-то, потому-то и мост подвесили, а то вокруг все низины, низины... Летом, правда, мужики по деревням лавы пешеходные строят, но это — до первой большой воды, а подвесной — высоко, никакая вода не дотягивается.

Спустились — и обнаружили труп Сахнова. Кроме подштанников и нижней рубашки, ничего на нем не было.

— Потащили,— сказал Бабкин, обхватывая грудь мертвеца. И в это время наверху затарахтел мотоцикл.— Стой!— заорал Бабкин.— Стой!..

Когда они выкарабкались, мотоцикл был уже далеко — почти не слышен.

— Зорин,— утвердился во мнении Тимофей,— Мясник.

— Что — «мясник»?— не понял Бабкин.— Работа или кликуха?

— Кличка.

— Сурово.

— Он какой-то борьбой занимался, название иностранное... В общем, рукой, как топором, машет.

— Каратэ, что ли?

— Не помню... Хорошо, что я ружье взял из люльки, а то бы уехало... Видел, как у Сахнова голова болтается?

— Ну...

— Шея перебита, позвонки — вот, брат, какой ударчик...

— Да-а... Что делать будем?

— Что ж делать? В Харитониху пойдем, только не напрямую, а в обход, по опушке, где скотину гоняют. А то у него пистолет теперь — из-за дерева в упор и — того...

— Запросто. Интересно, чего же он здесь-то не стрелял?

— Видел, что мы вооружены, а по темнотище такой сразу двоих можешь и не укокошить, начнется пальба... Его ведь чуток подранить — чуток!— и всё: ему не смыться уже — кранты. Хитрый мужик, матерый...

Из Харитонихи Бабкин дал телефонограмму дежурному по району, тот — дальше, и через час прибыла розыскная группа, а к рассвету все местные милицейские силы поднялись по тревоге: были блокированы проселки, усиленные пикеты патрулировали железнодорожную станцию.

В полдень пришло сообщение, что на автотрассе задержан бородатый мотоциклист, правда, пистолета и формы Сахнова при нем не обнаружилось.

— Странно,— сказал Бабкин.— Выкинул, что ли? Стоило убивать человека... Не понимаю. Не вижу логики. Однако задержан своевременно — хорошо сработали.

Но не успела опергруппа выехать в указанную деревню, как пришел отбой: подозрительный мотоциклист оказался художником, живописавшим портреты колхозных передовиков.

— Ну уж совсем,— Бабкин скривился и неодобрительно покачал головой,— художника от бандита не отличают. Явный промах.

— А сам-то?— напомнил Зайцев, впавший после отбоя в некоторую задумчивость.

— Чего — сам?

— В прошлом годе...

— Ну, это совсем другое дело, это же не художник был, а незнамо кто.

В том году Бабкин арестовал мужчину, показавшегося ему подозрительным. Изъял магнитофон, прослушал записи, ни слова не понял, из чего опрометчиво заключил, что на пленке — иностранная пропаганда. Потом выяснилось, что мужчина тот был фольклористом и записывал песнопения деревенских старух.

...Прошел еще час, другой, третий — никаких сведений о преступнике не поступало. К вечеру из областного центра прибыл вертолет с автоматчиками. Командовал ими майор, назначенный руководителем операции. Расспросив всех, причастных к делу, и выслушав множество «как в воду канул», «как сквозь землю провалился», он принял решение, понравившееся Зайцеву, который, как и майор, склонялся к мнению, что преступник от Харитонихи далеко не ушел, что он, скорее всего, попытается отсидеться в лесу, а потом, когда опасность поубавится, уйдет куда-нибудь с пятью тысячами, позаимствованными в магазине. Неизвестно было, взял он какие-никакие харчи или нет: если учет финансовый продавщица вела, то до товарного руки у нее не доходили.

Наиболее удобными местами ночлега майор справедливо счел вагончики вздымщиков, тем более что преступник знал их расположение. Зайцев указал на карте девять точек, из которых только одна находилась в заречных лесах. «Отсюда завтра утречком и начнем,— сказал май-

ор.— Маловероятно, что он там — один раз уже смывался с той стороны, зачем ему опять возвращаться? Но для очистки совести, а точнее, для очистки тылов надо проверить».

Зайцева поблагодарили и, отстраняя от дальнейшего участия в опасном мероприятии, отвезли домой, где в довершение злоключений он был достойно встречен издергавшейся за день супругой.

...Начался октябрь. Хозяйство, в котором работал Зайцев, сдавало остатки живицы. До плана не хватило двух тонн, и стали по сусекам скрести: там бочка, там полбочки — все, что не успели из леса вывезти, срочно вывозили, взвешивали, маркировали. Оперативники, шарившие в заречье, нашли пару неполных бочек, и Зайцеву поручалось доставить их, а заодно и вагончик запереть. «Все,— сдался директор,— договорились: закрываем план — и сразу подписываю твое заявление, а пока — помоги, выручи, некому ведь работать, сам знаешь...»

— Некому,— согласился Зайцев, но попросил сопровождающего.

И хотя тылы считались вполне надежными, а бóльшая часть понаехавшей в свое время милиции была уже откомандирована к местам постоянной службы, майор предоставил одного человека, вооруженного коротеньким автоматом.

Тимофей взял в гараже трактор с кузовом перед кабиной, посадил в кузов стрелка, и поехали. Переправлялись они на пароме — неподалеку от Харитонихи был канатный паромишко — плот, на котором в сенокосную пору перевозили лошадей с косилками и граблями. В день, когда совершилось убийство, паром находился на своем месте у ближнего берега — это было отмечено следователем,— здесь же он стоял и по сей момент.

Участок за рекою невелик — сосновый бор тянется там по гривке между болотами. Быстренько добрались, милиционер помог Тимофею закатить в кузов бочки, взобрался сам, а Тимофей, осмотрев вагончик снаружи и изнутри, навесил на него привезенный с собою замок. Тем же путем возвратились.

...Операцию сворачивали, и майор, понятное дело, значительно огорчался.

— А нельзя еще разок собаку вызвать?— поинтересовался Зайцев.

— Вы что — обнаружили следы или какие-то предметы?— вздыхал майор.

— Ничего я не обнаружил,— ответно вздыхал Тимофей,— но вот чегой-то...— и он, напряженно подбирая слова и не умея найти их, только морщился.

— Из-за «чегой-то» собачку нам не пришлют,— возражал майор, однако Зайцева от себя не прогонял — Тимофей оставался единственным человеком, не потерявшим надежды, между тем как односельчане его открыто посмеивались над целой армией, не сумевшей за неделю ни личность преступника установить, ни мотоцикл с коляскою обнаружить. Родственникам Сахнова майор и вовсе в глаза не смотрел.

— Через три дня нас отсюда отправят,—сообщил он Тимофею,— а что еще предпринять — ума не приложу: на станции он не появлялся, в райцентре — тоже, по колхозам не замечен, все милиционеры района, как красны девицы, ходят парами, у всех незнакомцев в милицейской форме проверяются документы, все лесные избушки осмотрены — всё профильтровали с собакой... А главное — мотоцикл! Куда мог подеваться мотоцикл?

— Вы это...— попросил Зайцев,— вы от моста караул не снимайте, пусть так и стоят там, сколь можно, и костер по ночам пусть жгут.

— Ладно,— пожал плечами.— Не сниму.

...На сей раз Тимофей не придумал, как обмануть жену, и просто смылся — пошел ночью по нужде и смылся, ружье с патронами было спрятано под крыльцом. Действительно, ну что тут придумаешь: командировки запрещены, никакой путной охоты нет, а хоть бы и была — стрелять не разрешают... Он правильно рассчитал: жена перевернулась на другой бок и опять уснула, а проснется утром, не сразу и сообразит, в какое время ушел Тимофей — может, только что... Просидев ночь у парома, он на рассвете вернулся и сказал, что ходил с утречка погонять пролетных уток:

— Мужики бают, чернеть пошла, однако мне не попалось.

— Дак ведь не разрешона стрельба-то,— удивилась жена.

— Кому не разрешона, а кому — разрешона,— доверительно сообщил Тимофей.

— Полно врать-то! Буде от поспрошаю мужиков...

— И не вздумай! Это уж мне так — по-дружески начальство дозволило, а ты — «поспрошаю»...

Тимофей чувствовал, что сочинилось не очень складно — заподозревала жена. Однако за день тайна его не раскрылась, и следующей ночью он снова убег. Вот тут-то Зорин ему и попался.

Тимофей дремал, привалившись к канату, и вдруг канат дернулся. Потом донеслось хлюпанье — на середине реки канат провисал, и Зорину пришлось окунуться. Наконец Тимофей увидел самого беззаконника: тот, в полной обнаженности естества, обхватив руками и ногами канат, быстро перебирался к берегу.

Подождав немного, Зайцев шарахнул в воздух сразу из двух стволов — Зорин, как и ожидалось, свалился, течение подхватило его, а Тимофей, наскоро перезаряжая ружье, палил и палил, никуда не целясь.

...Брали Зорина на лугу. Поначалу он все бегал, милиционеры — за ним, а он бегает и орет: «Сдамся, дайте согреться!»— сильно закоченел, вода ледяная — Север... Обессилел, упал, тут его и обратали. Одежда, деньги, пистолет — все это покоилось в полиэтиленовом мешке, привязанном веревочкою к канату,— передвигаясь, Зорин тянул веревочку за собой.

Когда преступник — одетый, обутый, отогревшийся и в наручниках — лежал ничком на полу посреди клуба, временно превращенного в казарму, у них с Зайцевым состоялся примечательный разговор, заставивший милиционеров отвлечься от чистки оружия.

— Как же это ты меня засек? Я ведь вроде не наследил? Даже печь в вагончике не растапливал.

— По запаху,— отвечал Зайцев.— Дух там, как в той будке, где ты летом жил.

— Что же это за дух — зверем, что ли, от меня пахнет?— усмехнулся злодей.

— Нет, почему, человеческий дух, не звериный, просто — твой.

— И что ж, ты всякого человека по запаху различить можешь?

— Не знаю дак... нет, наверное. У тебя маленько непривычный дух — ты, поди, из дальних краев будешь...

— Это точно,— выдохнул Зорин в истертый танцульками, грязный дощатый пол.

Милиционеры подошли, нюхали-нюхали и ничего не унюхали своими прокуренными носами.

— Что ж это? Выходит, собака не учуяла, а ты учуял?

— Дак когда собака ходила, его там не было.

— А где же он был?

— Где-нибудь еще,— объяснил Зайцев.

— На той стороне, у парома,— открылся злодей.— Сидел в кустах и смотрел, как вы меня ловить собираетесь... Но подпалил ты здорово — пока я замок сбивал — все сгорело.

— Ну дак,— вздохнул Тимофей,— надо же было как-то...

— Что сгорело?— спросил милиционер, сопровождавший в поездке Зайцева.

— Платить теперь будешь,— заключил Зорин.

— Буду,— кивнул Тимофей.

— Да что сгорело-то?— не унимался милиционер.

— Да вагончик,— тихо сказал Тимофей,— я сожег его...

— Зачем?— не понял милиционер.

Тут уж Зорин не выдержал:

— Да затем, чтобы я в руки твои дырявые нагишом и явился.

— Но-но,— одернули его.— Лежишь — и лежи себе.

— Лежу,— согласился Зорин.

— Ты в первую ночь-то возле угольев заночевал?— поинтересовался Тимофей.

— Да. Сначала ничего было, а потом...

— К утру подморозило. Сильно.

— А ты уже у парома сидел?

— Ага. Думаю, рассчитаться пожелаешь, дак упредить надобно.

— Рассчитаться — святое дело. Не успел. Но ничего — не все потеряно: придется кому-нибудь перепоручить.

— Дак у тебя время будет ли?— возразил Зайцев.

Эти слова возымели на лежащего действие помрачительное: глаза его, приняв выражение ужаса, остекленели, губы задергались, нос потек... Похоже, осознание неизбежности тяжкой кары настигло наконец человекоубийцу.

— Эх, парень,— пожалел его Тимофей,— а ты еще хорохорился.

...Вновь понаехали криминалисты, начался следственный эксперимент. Зорина водили по старым его следам, и он, беспрестанно шморгая носом, рассказывал, как заранее раздобытым ключом отомкнул дверь магазина, как вскрыл металлический ящик, в котором хранились

деньги, как набивал полиэтиленовый мешок из-под сахарного песку пакетами концентратного супа и еще какими-то продуктами, как напоролся на мужиков, нетвердо возвращавшихся в родную деревню, как те подняли шум, разбудили Сахнова...

Потом была погоня, решающую роль в которой сыграли деревенские псы. «Я бы в лесу спрятался,— объяснял Зорин,— но с ним собак — целый шалман увязался, нашли бы, а подвесного моста собаки боятся, я это знаю, вот и побежал на ту сторону».

Через некоторое время Сахнов отправил мужиков вызвать подмогу. Зорин, понимая, что утром его возьмут «как ничего не стоит», пошел «сдаваться». Убив доверчивого милиционера, снял форму: «На всякий случай, так». Услыхав мотоцикл, затаился. «Хотел стрелять их, даже к обрыву подходил, даже прицеливался, но очень темно было, думаю, не попаду, гвалт подымется».

Угнал мотоцикл, однако на станцию не поехал: «Что я, не в себе, что ли? Там и горючего — на дне, а до станции как-никак шестьдесят километров. И дорога у вас — не автобан. Я ж понимал, что на станции меня в первую очередь ждать будут».

Доехал с выключенными огнями до парома, закатил мотоцикл, вывез на середину реки и столкнул в воду. Возвратил паром, разделся, сложил вещи в мешок и переправился по канату. Полдня просидел на берегу, а когда группа, ходившая через подвесной мост на ту сторону, воротилась, пошел в вагончик. Ночевал без огня: там было кое-какое тряпьишко, матрац — заворачивался и спал. День проводил далеко в лесу, готовил на костре. Знал, что блокаду вот-вот снимут, милиция уйдет. «Мне ж только парочку месяцев в перепрятке побыть,— а с такими деньгами это не фокус,— потом берите меня: что вы будете со мной делать — я же не наследил. И надо же — какой-то мастеришко все испортил. Он — лесной человек, профессионал, если бы не он... Дайте ему хотя бы маленькую медаль, подарите часы — у него нет часов, отправьте на курорт — он моря не видел. Лесной человек...»

Тут все стали колотить Зайцева по плечу, пожимать ему руку, обещать часы, курорт и медаль, но он опять все испортил: вздохнул вдруг и сказал: «Да. Меня-то вы бы ни за что не поймали»,— с тем повернулся и ушел себе.

— Всякий профессионал имеет право на свой кураж,— обреченно прошептал Зорин.

...Зайцева отпустили из мастеров, и он, как и прежде, благополучно живет и работает в лесу. Теперь уже и старший сын, вернувшийся из армии, помогает ему. Бывало, начнешь расспрашивать Тимофея про те яркокрасочные события, а у него ни зла, ни страха, ни самодовольства — одна жалость: «Дурак-дурак! За этими деньгами только погонись — враз душа и погибнет. Начал, вишь, с церквей да музеев — иконки грабил да иностранщине всякой продавал — у них там мода на иконки, что ли?.. А кончил дак вона чем... Дурак». И всякий раз задумчиво приговаривал: «А меня-то они не споймали бы».

Что поделаешь — лесной человек.



ШЕЛ ТРЕТИЙ ДЕНЬ...

аленький этот институт, из тех, что в профессиональной среде зовутся шарагами, занимал первый этаж старого арбатского дома. Собственно, институт давно уже был присоединен на правах филиала к другому, значительно более солидному, но благодаря, вероятно, территориальной автономии сохранил свой уклад и свою вывеску с длинным названием.

Человек, впервые попавший сюда, скажем, новый курьер из министерства или провинциальный командированный, распахнув двери, застывал обыкновенно на месте, пораженный богатством и разнообразием флоры: цветы пышно вздымались на подоконниках, гирляндами ползли по стенам и потолку, свисали со стеллажей и шкафов.

Спросив прощения, новичок выходил на улицу, вновь вчитывался в облезлую вывеску и, пожав плечами, решался на вторую попытку. Когда, еще раз поздоровавшись, он робко интересовался, не здесь ли находится институт с тем самым названием, шестеро женщин, которых он поперву в этих джунглях и не углядел, наперебой начинали заверять его в том, что он действительно не ошибся.

Гостя усаживали в продавленное кресло, тотчас же включался электрический самовар, извлекались из сумок конфеты, сухарики и печенье. Гость порывался было объяснять, зачем он здесь, но на него махали руками: потом, потом!

Тут появлялись еще какие-то женщины, начинали рассказывать про дела магазинные, кто-то исчезал, потом возникал вновь... И скоро уже гость совершенно путал сотрудников института с жильцами дома, его уже кормили домашними пирожками, сырниками, винегретом, в который раз поили свежезаваренным чаем, приглашали в двенадцатую квартиру «на собственную наливочку», в двадцать восьмую — «принять под грибки», а пудель с

четвертого этажа уже плясал на задних лапах лезгинку... Тут вдруг призрачным видением из-за лиановых зарослей являлся мужчина, передавал пачку бумаг машинистке и вновь исчезал. «А кто это?» — изумлялся освоившийся гость. «Это же Карцев!»— с не меньшим изумлением объясняли ему.

Посетитель, подумав несколько, вспоминал, что именно к этому Карцеву он и приехал, что именно этот Карцев и должен завизировать какую-то важную бумагу: сводку, справку или отчет. Продравшись к месту, где только что промелькнуло видение, гость обнаруживал традиционнейший коридор: прокуренный и, несмотря на казенное украшение в виде Доски почета, неимоверно голый.

Найдя дверь с нужной табличкой, он виновато стучался, входил, и взору его представал усталого вида мужчина лет сорока пяти — Владимир Иванович Карцев, директор филиала, иначе — шараги. Оторвавшись от бумаг, Владимир Иванович здоровался, снимал очки, мял отекшие веки, выслушивал посетителя, вновь надевал очки и, просмотрев поданные документы, расписывался.

Карцев служил в этом учреждении с тех пор, как оно стало филиалом: начальник главка уговорил отложить докторскую и года два, пока будет проходить реорганизация, «посидеть в кресле». Карцев проработал два года, проработал третий — замены не находилось. Он жаловался, ругался — его просили, умоляли «ну хоть чуточку, хоть немного совсем», устанавливали «крайний» срок, потом «последний», потом «окончательный». Так время и шло. И всё дальше за спиной оставалась не доведенная «до ума» докторская, все труднее становилось Карцеву устоять на ногах в бумажном ворохе отчетов, сводок, справок и отчетов об отчетах.

Нельзя сказать, что руководимый Карцевым филиал не делал совсем ничего. Делал. Приносил какую-то пользу. Так, по крайней мере, полагали вышестоящие инстанции. Они же, надеясь, что польза полагаемая может превратиться в ощутимую, и проводили перманентные реорганизации: то, скажем, отнимут у филиала собственную бухгалтерию, то наоборот — возвратят, то упразднят должность инспектора по кадрам, то восстановят. Однако сколь-нибудь заметного роста полезности добиться не удавалось.

Карцев же, воспаряясь иногда мыслью к интересам

общегосударственным, всякий раз обнаруживал, что контора его более всего принесла пользы, когда б закрылась. Но, понимал он, рассуждения эти из области утопических: за три года он, как ни бился, не смог уволить и одного бездельника, что уж тут говорить о закрытии целой конторы — так, грезы... Словом, служилось ему безрадостно.

Семейные обстоятельства Карцева были такими, какими они, к сожалению, куда как часто бывают: дети становились все более любимыми, жена — все более раздражающей.

И нет, пожалуй, ничего удивительного в том, что подчас жизнь делалась для него попросту невыносимой. Случалось, в тяжкие минуты прихватывало сердце, и Карцев подумывал о скором инфаркте; случалось, сильно болела голова, лопались в глазах сосуды — Карцев начинал подумывать об инсульте; бывало, что и голова и сердце болели сразу. «Интересно,— гадал он,— от чего же все-таки помру — от инфаркта или от инсульта?»

Отдыхалось Карцеву лишь на рыбалке. Причем уставал он сильнее всего зимой, и оттого, по-видимому, рыбалку предпочитал зимнюю.

Заранее наметив день, Карцев тщательно готовил удочки, укладывал их в ящик, собирал продукты, правил лезвие коловорота, запасался на «Птичке» или на Тишинском крупным мотылем по полтиннику за спичечный коробок и мелким — «рубль кучка» — и в яростной, угрюмой сосредоточенности устремлялся к какому-то безымянному водоему, на льду которого по выходным дням собиралось меж тем такое значительное множество подобных Карцеву беглецов, что лед, случалось, и не выдерживал.

Как-то среди зимы, в глухую, по рыбацким понятиям, пору, когда рыба ловится совсем плохо, Карцев оказался километров за триста от Москвы на маленьком полустанке, какие теперь редко где встретишь: с одиноким домиком смотрителя, с полуразрушенной — вероятно, еще в годы войны — водокачкой, с железным, вручную переключаемым семафором, с занесенным снегом полотном тупика, с ненынешним фонарем стрелки, за стеклом которого неровно и тускло мерцал керосиновый фитилек.

Железная дорога пересекала здесь незначительную речушку, на которой Карцев и предполагал порыбачить. Приехал он ночью. Спрыгнул в снег — поезд сразу же тронулся — дождался, когда скрылись вдали красные огоньки хвостового вагона и стихла поднятая метель,

прошел на лед и еще затемно насверлил лунок, установил брезентовый тент-шалашик, словом, вполне угнездился. Стал ждать.

Время от времени проползали вверх по реке лесовозы. Метровый лед сухо и неопасно потрескивал, свет фар выхватывал из темноты берега, где — пологие, заснеженные, где — обрывистые, с частоколом сосен.

Рассвело. Поклевок не было. Карцев взялся сверлить новые лунки, пробовал на блесну, на поплавочную удочку, на мормышки: светлые, темные, тяжелые, легкие, «капелькой», «дробинкой»— весь арсенал перебрал. Менял насадку, прикармливал мелким мотылем, панировочными сухарями — безрезультатно. Он, однако, был рыболовом со стажем — знал, что не ловится рыба куда чаще, чем ловится. Унынию не поддался — свернул брезент, спрятал его в рюкзачок и отправился искать рыбу. Шутки ради просверлил лед под мостом — а у быков давление обычно повыше,— из лунки ударил фонтан, вода разлилась широким озером, а Карцев пошел себе дальше, насвистывая какую-то песенку, благо не было рядом жены, которая враз бы: «Не свисти! Денег не будет!»

«Ну и шут с ней,— думал Карцев о рыбе,— пусть не клюет. Все равно домой только в воскресенье поеду» А пока была лишь пятница, отгуливаемая за работу на овощной базе.

Сорок девять дыр насверлил Карцев: на глубине, на отмелях, на фарватере и в заливах. Из пятидесятой — «юбилейной» — извлек меленького прозрачного ерша. Подержал на ладони: «Ежели с полусотни лунок по штуке, то, чтобы на ушицу,— коловорот до рукоятки сточится»,— и отпустил рыбешку.

Тут возник на берегу мужичок. Подошел, поздоровался, поинтересовался уловом. Карцев представил исчерпывающие объяснения и узнал, что «рыбы ноне совсем в реке нет, совсем: летось с фермы навоз спустили, дак рыба вся и нарушилась».

— Теперь весны ждать надо!— заключил мужичок.— Как новая вверх пойдет.

— Понятно.— Карцев огорчился всерьез, и вовсе не из-за того, что весны надо было ждать долго, а из-за того, что опять, в который раз за последние годы, попал он на водоем, загубленный сбросами с ферм ли, с заводов, стоком с полей.

— А ты сходил бы на озеро,— предложил мужик.

— Так это опять возвращаться, поезда ждать...

— Зачем? Поезд крюка дает, на поезде аж сорок километров будет, а прямиком,— махнул он рукой, указывая направление,— километров семь-восемь.

— А там есть где переночевать?

— Поселок там, я и сам там живу. Ты вот что: как дойдешь, попадется тебе завод спервоначалу — забор, проходная, ветка железнодорожная — увидишь. Балќи там делают, ну... вагончики блескучие для лесорубов. В четыре часа рабочие домой пойдут, ты поспрошай, пустит кто-нибудь, народ у нас добрый, приимчивый. Я бы тебя к себе пригласил, да в деревню иду за лошадью, в деревне, видать, и переночую...

К четырем часам Карцев добрался до поселка, нашел завод. Из проходной вышли несколько женщин. Выбрав посимпатичнее, Карцев с ненатуральной игривостью в голосе попросил:

— Хозяйка, не дай замерзнуть приезжему человеку, возьми переночевать!

Она в ответ лишь усмехнулась и покачала головой. Но приостановилась.

— Да я серьезно,— сказал Карцев, сердясь на самого себя.— Из Москвы на рыбалку приехал, а переночевать негде. Я заплачу́.

— Дело не в этом,— снова усмехнулась она, но на сей раз, как показалось Карцеву, уже мягче, добрее.— Семья большая, детей полон дом... Валь!— остановила она проходившую мимо женщину.— Кто у нас рыбаков пускает?

— Максютиха,— ответила Валя,— Катюха Фролова, кто еще? Зойка Пальникова... Во, Зойк! Поди сюда!

Подошла еще одна женщина.

— Зойк! Возьми рыбака,— попросила ее симпатичная,— а то у меня, сама знаешь, детский сад целый, да у Колюшки еще и ухо болит — настыл где-то...

— Да где ж?— возразила Валя.— Говорю тебе, в хоккей гоняли, он шапку сбросил — запарился, видать,— а на озере ветер... Я уж кричала, кричала ему, а он — ноль внимания.

— Приду щас, устрою ему «ноль внимания»!

Карцев, глядя то на разговаривавших, то на Зойку, ждал.

— Идемте,— хрипловатым голосом сказала она.

Сначала шли вчетвером: женщины наперебой рассказывали о своих ребятишках, Карцев молча тащился сзади. Потом оказалось, что им с Зойкой сворачивать. Карцев поблагодарил женщин за заботу. Попрощались.

Зойка жила на втором этаже бревенчатого коммунального дома. Войдя в квартиру, она зажгла свет и, не оборачиваясь, устало проговорила: «Раздевайтесь, разувайтесь, мы с дочерью — в маленькой комнате, вы — в большой: хоть на кровати, хоть на тахте»,— повесила пальто и пошла растапливать печь.

Карцев снял тулуп, валенки, заглянул в большую комнату, которая оказалась совсем в общем-то не большой, и обнаружил порядок невероятный: занавесочки, покрывала, салфеточки — все чистенькое, беленькое, отутюженное...

— Мне б лучше всего на пол,— рассудил он,— у меня вот и тулуп есть...

— На пол — это когда много народу,— все тем же усталым голосом сказала хозяйка,— а один — чего же?

— А дочка у вас взрослая?— поинтересовался Карцев лишь для того, чтобы хоть что-нибудь говорить.

— В детском саду. Ужин приготовлю и схожу за ней. Да что вы там стоите? Проходите, садитесь — небось намаялись. Чайку щас вскипятим — на газу быстро. Печку — это я для тепла.

Карцев вытащил из рюкзака продукты, прошел на кухню:

— Я вот тут...— он стал вытаскивать из пакетов задубелый хлеб, каменно твердую колбасу, сыр, консервы.

— Да пригодится вам еще,— мельком глянув на стол, сказала хозяйка.

— Тут хватит. К тому же ледяное все.

— Ну, пускай остается,— согласилась она.

Потом Карцев искал место, где можно было бы пристроить до утра мотыля: чтобы и не замерз, и не запарился. Пристроил на лестнице ближе к первому этажу. Хозяйка уверила, что жильцы в доме «нащет рыбалки» грамотные и мотыля не тронут.

Наконец пили чай. Карцев вспомнил про пакет пастилы и угощал пастилой хозяйку.

— Жена небось положила?

— Нет,— возразил Карцев,— сам.— Понял, что сказал это зря, что теперь могут последовать какие-то новые вопросы, и свел все к шутке:— Она фигуру мою

бережет,— неуверенно улыбнулся,— так что это я сам себя побаловал... Да вы ешьте, не стесняйтесь, пожалуйста,— тут он смутился совсем,— я ведь терпеть не могу сладкого, это — так... подвернулось перед отъездом — взял. Девочку угостите,— и отодвинул пакет от себя подальше, к другому краю стола.

Пока хозяйка ходила за девочкой, Карцев изучил последние номера районной газетки, зевнул, осмотрелся и машинально, без всякой цели, определил: «Мужика, пожалуй, и не было — страшненькая. И девочку, наверное, так прижила, без мужа... Девочка в детском саду, хозяйке — за сорок, родила она, значит, лет в тридцать восемь — тридцать девять... Последний, можно сказать, шанс использовала...»

Книг в доме не было. Карцев еще раз пролистал газеты, почитал о методах борьбы за увеличение зимних надоев, о ремонте сельхозтехники, об успехах местного леспромхоза, поискал какой-нибудь материал о заводе, но о заводе в попавшихся ему номерах ничего не нашлось.

«Страшненькая... Волосы патлами, нерасчесанные, рот большой, двух верхних передних зубов не хватает, да и нижние не все. И уж, похоже, давно так: почти не шепелявит — приноровилась... Какой уж тут муж?.. Живет теперь для дочери — в доме порядок, чистота, и дочка скорее всего аккуратненькая, чистенькая девочка. Ну и все правильно, молодец мамаша... Жаль только, что про завод ничего не написано. Может, она еще и передовик производства, на Доске почета висит? — Карцев представил, как ее фотографировали: фотограф требовал улыбнуться, а она все крепче сжимает губы.— Может, она лучшая работница на своем заводе?»

И вдруг вспомнил: «Да ведь у меня водка есть! Надо бы маленько с устатку...» Достал из рыбацкого ящика поллитру, открыл баночку килек, выпил стопочку — стопочку отыскал сам, в кухонном шкафу,— и пошел смотреть телевизор.

В Москве Карцев пил крайне редко — здоровья хватать не стало, но на рыбалке организм переносил выпивку почему-то абсолютно спокойно. Возможно, еще и поэтому Карцев любил рыбалку. Однако, что здесь причина, что следствие, решить он так и не мог. Впрочем, не особенно и старался.

Чай, тепло, водка, телевизор разморили его, он прилег на тахту, уснул и проснулся только тогда, когда все

передачи кончились: хозяйка выключила телевизор и легонько тронула Карцева за плечо. Он смущенно поднялся: «Вы уж извините, пожалуйста». Она попросила говорить тише, Карцев сообразил, что уже поздно, что девочка спит.

— Идите пока на кухню, покушайте, я вам постелю.

Он вспомнил, что до сих пор так и не ужинал, сел к столу. Тут пришла и хозяйка, занялась мытьем посуды.

— Что ж вы вино-то не пьете? — кивнула она на откупоренную бутылку.

Карцеву попросту не хотелось спросонья, но он, все еще смущаясь того, что проспал несколько часов на глазах у совершенно незнакомых людей, да еще и в их доме, кинулся в джентльментство:

— Без вас не могу.

— Дак ведь непьющая я.

— К столу, к столу!— бодро пригласил он, с тоскою поглядывая на бутылку, которая, по всей вероятности, давно уж прогрелась насквозь.

— Да что вы, вы уж сами...

Но в конце концов, демонстрируя галантность, Карцев уговорил хозяйку сесть к столу, после чего ему, сдерживая отвращение, пришлось выпить стопарь теплой водки. Однако хозяйка, как вскоре определил Карцев, присела к столу тоже вовсе не из желания выпить, а лишь чтобы соблюсти ответное приличие, чтобы «уважить». Поэтому ужин продолжался недолго.

Завалившись в кровать, Карцев слушал, как хозяйка прибирается на кухне, моет посуду — слушал, задремывал, но не засыпал: «А что, если она, домыв посуду, разденется да и ко мне, а?.. Страшненькая, конечно, ну да в темноте не видать... А вообще-то бабешка спокойная, добродушная... Душевность какая-то в ней, конечно же, есть, так что... И потом: что я — не живой человек? Сколько можно жить монашеской жизнью?..»

Супруга его принадлежала к числу тех женщин, для которых мужчина — не более чем компаньон в деле продолжения рода. Обрушив когда-то на Карцева поток страсти, она благополучно произвела на свет двоих детей, а затем, отметив, что Карцев накрепко к сыновьям привязался, стала решительно пренебрегать своими обязанностями. Карцев иногда робко интересовался, намекал, но жена отвечала ему так, как, наверное, отвечала бы в люд-

ном месте на домогательства чужого мужчины. «Как не стыдно?!»— восклицала она с гневным недоумением и, поостыв, начинала рассказывать об очередном профсоюзном собрании. В конце концов Карцеву действительно стало стыдно, он переселился на раскладушку и полюбил книги об отшельниках и монахах. Время от времени задавался целью найти «бабешку», но для этого необходимо было хоть ненадолго вырваться из круга суетной каждодневности, но где там! На рыбалку бы раз в год попасть! И вот попал: и рыбалка тебе, и женщина...

«Отличное место!— думал он, засыпая.— Рыбы — навалом, вино — янтарная лоза, женщины — писаные красавицы... Однако если ляжет под бок... Вернусь в Москву, главный инженер в понедельник начнет про очередную подругу рассказывать: грудь — во! ноги — во! руки, плечи, глаза, все прочее, а я ему: у тебя беззубые были? И не просто без какого-нибудь шестого или седьмого, это я бы даже и во внимание не принимал, а без двух верхних резцов и двух нижних клыков — слабо?..»

В этот момент она и явилась. Карцев сжался, отодвинулся к стенке, но хозяйка прошла мимо, в свою комнату, и прикрыла дверь. Карцев подождал, подождал и вдруг, к стыду собственному, обнаружил, что раздосадован...

Среди ночи возник непонятный шум, зажегся свет. Карцев встал: все двери настежь. Оделся, вышел на лестницу. Оказалось, что худо стало старухе соседке. Хозяйка побежала за фельдшерицей. Карцев сел возле старухи — присмотреть. Вид у нее был безжизненный.

Явилась заспанная фельдшерица, сделала старухе укол, та очухалась. Вздохнула и, ни к кому не обращаясь, тихо произнесла: «Всего-то и жизни было — три дня. День — в девчонках побегала, день — в девушках погуляла, день — все остальное: работала, растила детей...» Слова эти произвели на Карцева тягостное впечатление: он давно уже — лет в тридцать — понял, что жизнь коротка необычайно; частенько, словно из-за угла подсматривал он быстротечность времени. Он засекал его стремительность прежде всего по изменениям в лицах знакомых, родных, в своем лице; по тому, что все чаще и чаще вспоминал в разговорах о событиях, происшедших двадцать пять, тридцать, а теперь уж и сорок лет назад; но более всего изумляли Карцева старые стенные часы: в детстве ему казалось, что бьют они чрезвычайно редко,

теперь же они молотили почти без перерыва. Да, но чтобы всего три дня?..

— Я ведь уже оттуда гляжу,— прошептала старуха, обращаясь, как и прежде, ни к кому. Карцев понял, откуда она глядит.

— Позавчера — девчонка малая,— продолжала старуха,— вчера — с Колюшкой своим миловалась... Колюшка, он уж сколь годов в земле лежит, меня дожидаючись... А потом — сёнешний день — и все,— закрыла глаза.— И все...

Между тем приближалось утро, Карцев отправился на озеро.

Он прошел мимо огромной проруби, возле которой лежал черпак с длинной ручкой — здесь, очевидно, местные рыбаки намывали себе мотыля; прошел мимо одинокого рыболова, устроившегося не иначе как возле прикормленных с вечера лунок; прошел далеко и в каком-то непонятно почему приглянувшемся месте остановился: «Нет, я все понимаю,— поставил ящик, снял с коловорота чехол,— но чтоб три дня...»— и начал сверлить.

Вяло поклевывали мелкие окуньки — «матросики», изредка брала небольшая плотва — Карцева это вполне устраивало. Оказалось, однако, что в других местах не клюет, к Карцеву стали сползаться рыбаки, его «обсверлили», засветили через множество лунок воду, и сторожкая рыба ушла. Пришлось перебираться еще дальше. Поначалу его преследовало несколько человек, полагавших, наверное, что он знает удачливые места, но, постепенно, разочаровавшись, отстали. К этому времени он оказался уже на противоположной стороне озера.

Погода стояла тихая, пасмурная, клева не было. Карцев от нечего делать решил посмотреть, что творится подо льдом, лег на брюхо, сунулся в лунку и замер, увидев опухшее и обрюзгшее свое лицо. «Тьфу, рожа!»— плюнул в лунку, поднялся, побродил вокруг, гася вспыхнувшее раздражение, потом допил взятые с собой остатки водки, прилег, благо был в тулупе и ватных штанах, и уснул нездоровым, тяжелым сном.

Проснулся от холода. Стало сумеречно, задувал ветер. На озере не было видно ни одного рыболова. Вдалеке неспешно трусили по льду две собаки. Следовало бы возвращаться, но Карцевым овладело гнетущее, мутное безразличие: «А ну их всех...» Никого не было рядом, никого — вокруг: «И хорошо, здесь и останусь. Вот он, мой

третий день... Какая разница — длиннее он или короче будет, важно, что старуха права: всего три дня, третий — последний... Никого... А никого мне и не надо...»

Приподнял голову — собаки подошли ближе и теперь стояли, повернувшись к Карцеву. «У меня и угостить-то их нечем. Небось на гулянку... или с гулянки...» И вдруг он, не успев еще осознать происходящее, рывком поднялся, схватил коловорот и замер в животном страхе. Хотел крикнуть и не сумел — горло, челюсти свело, словно параличом. И только теперь Карцев услышал бешеную скороговорку крови в висках: «Вол-ки, вол-ки, вол-ки...» Только теперь смог осмыслить и оценить ситуацию.

Звери стояли неподвижно: спокойно и терпеливо выжидали. Карцев, опустив руки, наклонился — это движение всегда безотказно отпугивало бродячих собак,— но волки не пошевелились. Подняв пустую бутылку, он швырнул ее в сторону волков. Не долетев нескольких шагов, бутылка глухо шмякнулась на слежавшийся снег и скользнула вперед. Волки чуть отпрянули и снова остановились. Тогда Карцев, захлебываясь в истошном крике, бросился на волков. Оставалось совсем немного: он уже замахнулся коловоротом, готовясь крушить налево и направо, покуда хватит сил... Потом он понял, что зверей не напугал — они не вздрагивали, не поджимали хвосты, но, похоже, яростное желание защитить свою шкуру произвело на волков впечатление: отвернувшись, они легкой рысцой — шаг в шаг, след в след — направились к поселку. Карцев вздохнул было с облегчением, но тут же сообразил, что делает это преждевременно, что угроза столкновения вовсе не миновала. Становилось уже совсем темно, надо было двигать в поселок, но именно туда пошли и волки... Взяв ящик, Карцев заспешил вслед за ними. Шел он быстро, почти бежал, сжимая в руках полутораметровую железину коловорота. Опасаясь нападения сзади, оборачивался, озирался по сторонам. Запыхавшись, остановился, сел на ящик отдохнуть, отдышаться и услышал вдруг:

— Тппрру! Здоров, рыбак! Дня не хватило?— Подъехали сани, в санях — вчерашний мужик.

Карцев торопливо и сбивчиво стал рассказывать.

— Да знаю я!— отвечал мужик.— За собаками ходят. У меня и ружье всегда с собой взято,— он откинул рогожу, показывая ружье,— да вот не попадаются стервецы! Залезай, вместе поедем... Прямо на ме-

шок и садись — в нем рыба мороженая, не раздавишь.

— Откуда столько рыбы?

— Да эт мы сетью для райпо ловим. Хошь — покупай: рубль шестьдесят кило... Да не у меня — вот сдадим сейчас в магазин, там и возьмешь. Сел?

Поехали. Карцев, не переставая, рассказывал и рассказывал, как он принял сначала волков за собак, как бросил бутылку, как бежал. «Ну совсем не испугались: отвалили в сторонку, и хоть бы что...»

— Чего им бояться? Хозяева! На ферме сколь телят порезали, сколь собак — всем кранты вышли! Одна Мурка их не боится — кошка, стало быть. На ферме она живет. Сама черная — жуть! А башка белесая, вроде как седая. Тракторист, что навоз выгребает, Муллером ее прозвал. «Семнадцать мгновений» смотрел?.. Муллера помнишь? Ну вот... Волки придут, а она по крыше носится, воет: дразнит, значит, их, бармалеев. Они обсердятся и тоже, значит, взбрехивать начинают. Ну, сторожиха, бывало, услышит да трансформатор, что для электродойки, как включит! А он реви́т, будто много бомб сразу падают... Ты под бомбежку не попадал? Не?.. Ну да, мало́й еще совсем был. Хотя и малым доставалось. Стало быть, повезло... А волки, значит, и утекают. Такой Муллер... Случалось, с крыши и слетал — по нечаянности, конечно. На волков прямо. И ничего, сберегался, а как — кто ж его знает.

— Вы бы покараулили волков,— предложил Карцев.

— Караулили,— махнул рукою мужик.— Пока караулишь — их нет, только уйдешь — тут как тут...

Въехали на берег, на улицу. Сдали рыбу в магазин, и Карцев купил пять килограммов. «Будет теперь с чем в Москву возвращаться,— весело говорил он, укладывая окуней в полиэтиленовый пакет.— А то обычно: пустым приедешь — жена спрашивает, где был; мелочи привезешь — говорит: «Возись сам». Мужик еще и довез его до Зойкиного дома. Там началось: «ах», «ох», да «где ж это вы пропали», да «мы уж переволновались тут». Карцев снова определял мотыля, снова смотрел телевизор, ужинал.

Но в этот вечер прекраснодушие ни на минуту не покидало его. Он любил сейчас всех: не только детей своих, жену, хозяйку и ее дочь, не только спасителя-возницу и оклемавшуюся соседку, но даже главного инженера, известного как слабостью до женского пола, так и пробко-

вой глупостью. Любил Карцев и бухгалтершу, которая регулярно опаздывала на работу из-за того, что дорóгою ей неизменно встречались либо знаменитейшие экстрасенсы, либо, на худой конец, НЛО. Любил и машинистку, которую еще в четверг уговаривал написать заявление «по собственному желанию», так как вместо «одобрить» у нее всегда получалось «добрить», а вместо «выполнить»— «выпить».

Он любил всех. Любил безоговорочно, безоглядно.

Укладываясь спать, увидел в трюмо свое отражение: глаза блестели, щеки пылали, губы расплывались в улыбке. «Вот что значит свежий воздух, вот что значит рыбалка!»— выключил свет, лег и в темноте: «Особенно если с волками»,— не удержался от соблазна осадить самого себя.

И тут же почувствовал, что кровь начинает отливать от щек, глаза становятся суше. «Интересно, как выгляжу я теперь»,— с холодной иронией подумал он, но вставать и зажигать свет поленился.



НАВОДНЕНИЕ

ереполох случился неслыханный: весь день между Нижним Спасом и соседними деревнями сновали под дождем телеги, тележки и грузовики — народ перевозил добро к родственникам и знакомым.

Цапкин эвакуироваться не стал.

— Не верю,— говорит,— чтоб из нашей Ворчалки стихийное бедствие произошло. В ранешни времена не бывало? Хоть, к примеру, паводок взять, хоть половодье — у меня вот до бани вода дойдет, а дальше — не подымается. А чтоб огороды позатопило, тем более дома залило — не верю. Да у нас и во всем районе воды столь не сыщешь.

— В ранешни! — возражали собравшиеся у него на крыльце мужики.— В ранешни дренажа не было — вода в землю впитывалась, в болота, а теперь вся по трубкам в реку бежит.

— По трубкам! — не желал поддаваться Цапкин.— Если бы их путем ло́жили, трубки-то те, глядишь, тогда вода по им бы и побежала, а то — ямищу экскаватором выкопали, трубки кучей свалили да закопали...

— Буде врать-то! Что ж мы — не видели? Хорошо трубки ложены, по всем правилам!

— Дело хозяйское,— отмахнулся Цапкин,— мотайте, а мы с Сахой Петровым чихать хотели.

Имя егеря повергло мужиков в тягостное смятение: Петров — человек серьезный, не то что балабол Цапкин. В молчании докурив цигарки, нижнеспасовцы побрели грузиться дальше.

Петров в это время плавал в лодочке по затопленным рощам, отыскивая угодивших в беду зверей. Однако оттого, верно, что вода нынче разливалась медленно, зверье успело поразбежаться, лишь еноты опростоволосились. Ну, тем простительно, те спросонок, ведь шел декабрь: уж и снегу нападало, и Ворчалка замерзла и вдруг — на́ тебе, дождь! Да еще как зарядил! Сиде-

ли теперь еноты на островках возле затопленных нор, мокли. Лодку увидят, забегают туда-сюда, но в воду лезть не хотят — зябко. Конечно, рычат на человека, зубы скалят, но Сашка их без счету перевидал, не церемонится. «А ну!» — как рявкнет! Некоторые сразу и падают. Другим приходится добавить пинка, но не сильно, чтоб без телесных повреждений — шмякнешь его для острастки, он — брык — и вроде как околел. Бери его за шиворот, делай что хошь.

Пятерых затолкал Сашка в мешок, шестой не поместился. Пришлось положить его прямо на стлани, а на морду ушанку надеть. Плывет лодка, покачивается, уключины скрипят — страшно енотам, не шевелятся. Если вдруг и заворочается какой, Сашка притопнет: «А ну!» — и мешок вмиг цепенеет. А тот, который на стланях, знай себе мордой в шапку тычет — прячется, стало быть. Выбрал Сашка берег повыше, выпустил зверей — они и поплелись кто куда: искать незанятые норы, рыть новые. Сашка же дальше поплыл и уже в сумерках обнаружил енота огромного — прямо баран-рекордсмен, разве что на коротких ногах. Тот сам в лодку прыгнул. Тоже, однако, чтобы не колобродил, пришлось в мешок засадить.

Домой егерь вернулся вечером. Развязал мешок и выпустил на пол енота. Жена испуганно вскрикнула, енот свалился без чувств.

— Вот, Татьяна Борисовна,— устало сказал Петров.— Дикий зверь, и тот: как только увидел вас, так и окочурился. Каково же мне с вами бок о бок жить?..

— Зачем ты его принес, Саша?

— Да берега, понимаешь, твердого в темноте не нашел — все вода, вода, ступить некуда.

— Ну дак деревню-то отыскал?

— Отыскал. Хотел выпустить, а тут собак понабежало — прорва! Изорвали б в клочья. Пусть в сарае переночует, отнесу его завтра куда-нибудь.

— Ой, отнеси, Саша, уж больно страшно́й...

За ужином, когда Сашка Петров смотрел программу «Время», явился Цапкин — «полюбопытствовать, не скажут ли чего по телевизору насчет наводнения».

— Твой-то сломался, что ли? — спросил у него егерь.

— На чердак перенес. Бабы бают, что ежели кто не предпримет, стало быть, действия... для спасения, значит, добра... ну, имущества... тому могут и страховку не выплатить. Вот я маленько и... Для порядку... Не так,

как остальные, конечно... По другим деревням не повез, но на чердак... Вроде как... Ну вот! Вот оно, гляди, наводнение-то!..

— Так то ж в Америке... Понял?.. Штат Колорадо!

— Ну и что ж, что в Америке? Не слыхал, как погодный мужик рассказывал?

— Про что?

— Теперь все глобально!

— Ты чего, Цапкин? Хочешь сказать, что этот вот разлив и до нас докатился?

— Ну!.. Жук колорадский, он тоже оттуда, а картошку нашу жрет. Между прочим, как миленький... Так что ты как хочешь, а я пойду действия предпринимать. По спасению.

Выйдя в сени, он вдруг обернулся:

— Больше всего мне наша молодежь нравится! Тут такое творится, а они в клуб подались. Мой говорит: «В гробу я видал твое наводнение, у меня дискотека сегодня». Раньше за эти танцульки отец мне под зад давал, а теперь: «дис-ко-те-ка»... Вроде как чего-то серьезное, не моги помешать! Тьфу! — И ушел.

Поужинав, Сашка завалился в постель, жена убрала со стола и мыла посуду.

— А что, Татьяна Борисовна, у вас, поди, тоже сердчишко екает? — спросил задремывающий супруг.

— Из-за чего?

— Да из-за наводнения.

— Была нужда... Прежде не затапливало, и теперь не затопит.

— Ну, прежде, к примеру, и вас не было, а потом народились, чтоб глупости всякие говорить.

— Почему глупости? Сколько лет уж по берегу люди живут — дома строят, огороды держат...

— Вас, Татьяна Борисовна, все на лирику тянет: мол, это наша родная речка, ничего она нам не сделает... Так, что ли?

— Ну, вроде того, Сань, а что?

— Красиво. И даже смысл какой-то есть в ваших словах. Но главное, Татьяна Борисовна, все-таки не в этом, главное — в другом...

— В чем? — Она перестала греметь тарелками.

— Дождь скоро кончится — воздух сегодня стынью пахнет.

— Дак ты мужикам-то говорил?

— Сказал Цапкину, а что толку? Какие-то все опасливые стали.

— Дак добра-то все сколь понакопили — вот и боязно за него,— объяснила супруга, но Петров уже спал.

Проснулся он по охотничьей привычке рано. Глянул в окно: дождь перестал, в разрывах облаков сияли кое-где звезды, на белом шифере цапкинской крыши чернела привязанная к трубе надувная лодка. Быстро позавтракал и пошел в лес определять большого енота.

НА ОВСАХ



первые я попал на медвежью охоту еще в юности: как взял ружье, так и пошел на медведя — Колобан пригласил.

Ленька Колобан — светлоглазый и светловолосый — был единственным мужиком в деревне Рысцово, если, конечно, не считать деда Семена. А деда Семена считать вовсе не следовало: он хоть и героического прошлого человек, но теперь неделями не выходил из избы. Выходил же лишь затем, чтобы, перебросив через плечо связанные веревкой валенки, отправиться босиком по пыльной дороге «на германскую» или «на японскую» — то есть был уже, как говорится, совсем плохой.

У Колобана в тот день сломалась машина, и починить ее было никак нельзя, потому что нужной запчасти в мастерских не обнаружилось. Механик подался в город, а Колобан — ко мне.

— Ты на овсах охотился?

— На овсах — нет,— признался я, хотя и чистосердечно, но с такою значительностью в голосе, которая могла означать лишь, что уж прочие виды охот мне совершенно знакомы. В действительности дело обстояло иначе, и хорошо еще, что Колобан был начисто лишен лукавства, а то спросил бы меня об охоте на ячмене, скажем, или на пшенице, и я бы, вполне возможно, ответил бы: «Как же, как же, случалось, и неоднократно». Он посмеялся бы тогда надо мной, а мне бы всю жизнь за тот вздор было стыдно. Но Колобан по причине своего природного простодушия в подробности вдаваться не стал.

Он привел меня на маленькое поле, отделенное от больших, окружавших деревню полей неширокою лесною грядою, взобрался, как по стремянке, по ветвям старой ели на пятиметровую высоту, ладно устроился там — сел на один толстый сук, ноги поставил на другой,— а мне указал осину, стоявшую на противоположной стороне овсяной полосы.

— Не чхать, не кашля́ть, не шело́хаться, пока я не свистну, понял?

Я кивнул с небрежностью бывалого человека, перешел полосу и влез на осину. С того вечера я навсегда запомнил, что у осины в отличие от елки или сосны ветви для сидения приспособлены плохо — слишком уж остр угол между ветвями и стволом.

Через полчаса одна нога у меня затекла, через час сознание начало помрачаться — мне показалось, что по лесу шастает дикое сборище: лошадь, собака, поросенок, утки, козел — кто-то фыркал, хрюкал, скрипел, крякал, взлаивал, трещали ветки...

Колобан молчал — я не «шело́хался».

Потом, в непроглядной уже темноте возвращаясь домой, мы высветили фонариком у ручья следы медведицы и двух медвежат — той самой компании, которая бродила вокруг поля и которую я на слух по неопытности своей принял за сборище домашних животных. Увидав след, я, помнится, взвел курки и опасливо оглянулся.

— Сторожкая,— вздохнул Колобан,— причуяла. Теперь — далеко, увела медвежаток-то... А где сам-то?.. Допрежь-то медведь ходил, у того следок буде поболе, а энтих я и не видывал... Н-да, мать честна-а...

Он попросил меня «шибко-то» не расстраиваться и обещал, что уж завтра медведя мы непременно возьмем.

— Не иначе, на чужо поле ушедцы,— вслух соображал Колобан.— Подмануть бы его оттедова, да чем?

— Медом,— машинально предложил я, вслушиваясь в шорох листвы.

— Где ж его напасешься столько, меду-то?.. Это ж надобно, чтоб медведь километра за три дух и словил... А чего они еще-то жалуют?

— Рыбу,— вспомнил я детский фильм, в котором камчатский медведь ловил лапой горбушу.

— Ну! Эт другое дело! Рыбы мы завтра сколько хотишь добудем: у меня бредень — сто метров, пошли... А чего ты хромаешь-то? — Он осветил меня фонариком.— Мать честна-а! Да ты с заду вроде как треугольный сделался — вот интересно... Я эдакого и не видывал никогда...— В голосе его не было и намека на насмешку.— Завтра дощечку с собой прихвати — какой-никакой лабаз соорудишь.

На другой день мы добывали рыбу. Один конец бред-

ня привязали к кусту, отплыли на плоскодонке — я греб, а Колобан аккуратно опускал в воду «пудоши» — грузильца из обожженной глины — и следил, чтобы сеточка не запуталась и не перехлестнулась. Заведя бредень, причалили к берегу и взялись тянуть — бредень не поддавался.

— Рраз, два, взяли! — скомандовал Колобан.

Мы усердно рванули — бредень пошел легко — и вытащили одну лишь верховую веревочку с пробковыми поплавками. Колобан посмотрел на веревочку, на озеро, на меня и шепотом изумился: «Мать честна-а! А где же пудоши-то?» Отчего уж так удивило его отсутствие грузов, когда исчез сам стометровый бредень — не знаю. Помолчав, Ленька спокойно сказал:

— Тут на дне лесина лежит, еще когда-а в воду упавши...

— Тогда зачем же мы... тут?...

В задумчивости он пожал плечами, и ясный взгляд его нисколько не потускнел.

А на овсы мы с ним больше уж не попали — снова сбежал дед Семен и сбежал впечатляюще: искали его всей деревней, искали день и другой. На третий — мы с Колобаном нашли. В старой риге возле соседней деревни. Повели домой, и дорогою дед не переставал недоуменно бормотать:

— И чего им неймется? И чего они все-то лезут на нас?..

— Ты про кого? — спрашивал Колобан.

— ...И тыщу годов назад, и пятьсот, и сто, и тридцать...

— А ты что — все помнишь? Сколь же тебе самому-то, дедушка?

Счет его годам был безвозвратно потерян.

— ...И при царях, и когда еще царей не было, и при нашей власти... И чего им неймется, и чего они лезут на нас?..

— Да про кого ты?

— Вот! — он достал из кармана сложенный обрывок газеты и протянул нам.— Международное положение... почитайте...

— В нужнике, что ль, нашел? — поинтересовался Колобан, разворачивая газету, Семен обиделся, не ответил.

Только завершили мы эпопею со стариком, как привезли Колобану недостающую запчасть, починили машину, и

поехал напарник мой выполнять очередное задание. А вскорости пришла пора уезжать мне из деревни.

— Ну вот,— сказал Колобан на прощанье,— медвежью охоту ты теперь знаешь, в следующий раз займемся волками.— Был он совершенно серьезен.

Дед Семен той же осенью ушел воевать против какого «захватчика», и более уже никто и никогда его не видел. «Пропал без вести во время осенней кампании»,— шутят и доныне его земляки.

ДОСТОСЛАВНОЕ ОБЩЕСТВО



олгие годы в одном селе существовало охотничье общество. Кто — неизвестно, а потому: народ — окрестил его Достославным. Чего теперь в этом прозвище больше — почтительности или насмешки,— трудно сказать, но первоначальный смысл определенно был добрым и ясным: почему-то именно с добрых намерений и ясных слов начинаются все те запутанные истории, последствия которых невероятны настолько, что не поверишь, покуда не увидишь сам. А и увидев, бывает, не поверишь опять же.

Старые охотники помнят еще период расцвета: обилие дичи, все виды охот, рентабельность, строжайшая дисциплина... Казалось, вот-вот, немного — и во всех лесах, на всех болотах, лугах наступит совершенное благоденствие. Но тут с непостижимою незаметностью период расцвета сменился периодом угасания: куда-то стала исчезать дичь, куда-то — люди.

О дальнейшей судьбе Достославного натуры, склонные критически оценивать действительность, высказываются: сплошной хаос. Более снисходительные возражают: нормально, в долгой жизни чего только не бывает. Касательно же собственно дичи и угодий — хозяйственная деятельность так преобразила округу, что бывший директор леспромхоза, а теперь председатель Достославного общества Филимон Квасов, говорят, начал готовить перспективный план создания биологически чистого района, в котором не будет болезней, потому что ни одной бактерии не останется. Может, конечно, насчет плана и враки — никто его сроду в глаза не видел, но скажем, традиционное предсезонное собрание — оно-то действительно было. Собрались, поговорили и, как водится, нанесли на карту разноцветные крестики, обозначавшие плантации изрубленного леса, горы брошенных удобрений и полосы распыления химикатов. Если в прошлом году карта напоминала собою пусть абстрактную, но все

ж еще вышивку, то теперь вполне конкретную штопку.

Квасов разглядывал карту через очки для близи, затем для дали, затем нацепил одни на другие. Припадал лбом, носом, щекою и наконец обнаружил в одном месте первозданную, не тронутую карандашами основу. Тут же, правда, кто-то предложил, что это Квасов носом дотерся, но большинством голосов выбранную территорию утвердили. Оставалось только узнать — что за место, как туда ехать или идти, да определить время выхода. Все это поручили старейшинам — Боткину и Соловью.

Коля Боткин хоть и являлся активнейшим членом Достославного общества, ружья в руках никогда не держал. Это обстоятельство следовало считать достоинством, потому что охотники — народ как бы не совсем... Это с рыболовами просто: они говорят — дели пополам, сам говоришь — умножай на два. Рыболовы в основном самые обыкновенные люди, разве что система исчисления своеобразная, а вот охотники... Мир их состоит частью из событий действительных, частью из, что ли, не очень, а то и вовсе из тех, которых быть не могло, но которые тем не менее были. То есть разумеется: чего не может быть вообще, того вообще быть и не может. Разве изредка, иногда. Естественно, обществу нужен был хотя бы один человек, в голове которого реальное с фантастическим не должно было бы перепутываться. Не должно, а там — кто его знает.

К своему медицинскому однофамильцу Коля никакого отношения не имел. Печенкой, правда, иногда мучился, но, похоже, вовсе не из уважения к знаменитому доктору. И тем не менее Коля Боткин — удивительнейший человек. Внешностью своею он мог потрясти даже видавшего виды фотографа привокзального ателье какой-нибудь узловой станции. Начать с того, что росту Коля был заметно пониже среднего и кругл и круглолиц. Цвет лица — редкостный: черно-багровый, словно лицо это только-только нагрели и закоптили слегка. Такие лица случаются теперь разве что у водителей МАЗов.

— И не стыдно тебе с такой рожей на свете жить? — спрашивал иногда своего приятеля Соловей.

— Нет, Иван,— гордо отвечал Боткин.— Колер этот заработан честным трудом.

— Да уж сколь лет прошло, как тебя с земли-то согнали, а рожа все такая же немытая.

— Это, Иван, как печать. Это — на всю жизнь,—

вздыхал Боткин. Протяжно зевнув и помолчав несколько, он лениво заканчивал: — Зато ты у нас ажно светишься.

На эти слова Соловей не реагировал, словно бы и не слышал. Он был человеком серьезным, пустых речей не любил, и подобные разговоры случались в их жизни раз тысячу и значили приблизительно: ну как? — да ничего.

Иван, к слову сказать, действительно едва не светился. Он был не то что чист, а скорее — застиран, как и вся его выцветшая, вытертая одежда, в которой невозможно было понять, что — рубаха, а что — порты. Белесо-серенькое — и все тут. Прямой, высохший и истертый, он был похож на древний посох на плавника: помотало можжевеловый комель по волнам, вымочило, выморило, на берег выбросило. Высушило, выветрило... Он встал и пошел. Соответственно облику Иван и походку имел — мерную и величественную.

А скажем, неповторимость Колиной походки в том состояла, что никакой определенности в этой походке не было: Коля то семенил бочком, что заплетал ногами и словно спотыкался, то вдруг ноги его устремлялись вперед, грозя опрокинуть туловище, и тогда Коля начинал крениться в сторону, потом резко выныривал, а ноги тотчас оказывались позади и вновь заплетались.

Так вот, несмотря на свою неказистость и на отсутствие интереса к охоте, Коля Боткин сыграл в жизни Достославного общества не менее важную роль, чем, например, знаменитый охотник Иван Соловей, который исхитрился прожить жизнь, мужественно, не занимаясь ничем, кроме охоты.

А последнюю Почетную грамоту общество получило исключительно благодаря стараниям Боткина. Ведь сколь ни охотились в прошлом году за волками, ничего добыть не могли. Все яды перепробовали — не берут волки приваду. Народ смеется: позор Достославному! А у Коли мнение: «Вы, мужики, неверно приваду подкладываете: во-первых, поближе к лесу стараетесь, а во-вторых, на рожах у вас весь наш умысел и написан». Мужики посмеялись, но предложили: пожалуйста, пробуй сам.

Зарезали хромую овцу, заправили ядовитыми таблетками. Коля пронес приваду через весь скотный двор, швырнул в кусты, брезгливо сплюнул и выругался.

Затея удалась, но отчасти: приваду тронул лишь один волк. Остальные, походив около, вернулись в лес, понаб-

людали, как сдох их товарищ, и ушли на территорию другого колхоза. «Все ясно!» — заявил Боткин и, перебравшись на новое место, изменил тактику. Зарезали хромую корову, разделили ее на куски. Доярки уходили с фермы крадучись, поодиночке, каждая тащила огромную сумку. Боткин, упаковав отравленное мясо в оберточную бумагу, пробежал через скотный двор, осмотрелся и спрятал шматок под сваленные в кучу жердины.

Успех был полным: стая скукушилась. И за сезон Достославное общество, действуя по методу Боткина, уничтожило двадцать восемь зверей и выиграло межрайонное соревнование.

Боткин и Соловей прошли с Достославным весь путь. Они оставались самыми старыми мужиками в округе и, как иногда случается с людьми, пережившими всех своих сверстников, крепко держались друг друга, что не мешало им, однако, пребывать в состоянии шутливого соперничества, которое зиждилось на событиях прежней, известной лишь им одним, жизни.

В означенный день поутру старики привели членов общества к утвержденному на собрании месту.

Деревня эта являла собою образ обыкновенного «Летучего голландца» российских просторов — то есть все в ней как будто было, но людей — не было. Правда, в отличие от призрачных кораблей покинутые деревни не блуждают, стоят на месте, да и недолго стоят: вскорости их дотла палят или дотла разоряют.

Но деревня с трогательным названием Умиленье была свежепокинутой. Настолько свеже, что все участники предприятия в первой же избе смутились жилого порядка и стали искать хозяйку. Они решили, что слухи об опустении Умиленья преждевременны, что перепутали Умиленье с Пробужденьем и, значит, пока не поздно, следует перебазироваться. На всякий случай пошли уточнить. Но сколь ни шастали по дворам, сколь ни стучали в отворенные двери, ни кликали хозяина или хозяйку — никто не встретился, никто не отозвался. Хотя во всех избах пахло жильем и фотографии висели на стенах. Разве что печи были не топлены да цветы позавяли. Наконец, отбросив сомнения, Достославное общество расквартировалось в большой избе, занимавшей господствующее на местности положение, отобедало и приступило к мероприятию, которое именовалось маневрами.

Дело тут вот в чем: когда история общества подо-

шла к критическому моменту и некоторые охотники стали драпать, чтобы переждать невзгоды где-нибудь на стороне, председатель с чувством выполненного долга предположил: «Расформируют нас». И совершенно неожиданно открыл новый этап в жизни Достославного общества.

Если бы председатель сказал: разгонят, ликвидируют, упразднят,— охотники, может быть, и примирились бы и, не исключено, добровольно, не дожидаясь официальных указаний, сдали бы огнестрельное оружие и разошлись, но «расформируют»... Ведь каждый из охотников в свое время — мирное или военное — служил в армии, и слово Квасова прозвучало сигналом к действию. Было решено объявить общество на осадном положении и мобилизовать все силы. С той поры разные обязательные для охотников мероприятия: биотехнические, кинологические и стрелково-спортивные — приравнивались к маневрам.

Нынешние маневры проходили так: сначала общество отрабатывало тактику облавной охоты в условиях, приближенных к боевым: то есть не в лесу, а в поле, возле деревни. Место оказалось чрезвычайно удачным. Ясно было, что в течение нескольких лет, после того как сеять здесь перестали, сюда еще гоняли коров. А в последующее время, когда никого уже сюда не гоняли, на удобренном поле трава стала произрастать так, что клевер, к примеру, вымахал чуть ли не в человеческий рост, да и мятлик отстал не сильно, и загонщики, словно в густом лесу, не могли увидеть стрелков, а стрелки — загонщиков. Один из загонщиков заблудился, пересек огневой рубеж и, подойдя к лесу, вынужден был взбираться на дерево для рекогносцировки. Других происшествий, к счастью, не произошло — все ж таки условия лишь приближенные.

После тактических занятий проводились учебные стрельбы, на которых вместо стендовых тарелочек использовалась треснутая и надколотая посуда. Победу одержал завскладом живсырья Олег, поразивший восемь из десяти тарелок, фужер, заварочный чайник с отбитым носиком и обе чашки. Иван Соловей выступал здесь вне конкурса.

Вот странно: многие, далеко не самые важные моменты истории Достославного общества известны: как на одной берлоге четырех медведей добыли или, скажем, как охотились на дикого кабана, поселившегося в совхозном

свинарнике,— об этом даже газеты рассказывали. А вот, например, о ружье Соловья мало кто знает.

Ружье было зарегистрировано двенадцатым калибром, хотя из фунта свинца Иван для своей фузеи отливал только четыре пули. Но Филимон сказал, что четвертого калибра не бывает и надо зарегистрировать двенадцатым или шестнадцатым. И ведь экспертизу устроил: из города криминалист приезжал, фунт в граммы переводил, диаметр измерил, отлил из свинца пули — получилось четыре. Сказал: невероятно, должно, изотоп попался особый. И записали двенадцатым — смех! Ведь когда Иван утопил ружье в пруду, а после вытащил — в стволе жили раки!.. Ладно бы восьмым или десятым, а то двенадцатым! Насмешка! Раков, кстати, так и сяк, а они не идут. Пришлось, говорят, ружье в корыте варить. Конечно, эта история не совсем похожа на правду: Иван Соловей мужик старый, опытный, на кой черт ему, спрашивается, варить ружье, если можно было кипятку в ствол плеснуть! А кроме того, кто хоть раз видел Иванову фузею, подтвердит, что не бывает корыта такой длины.

Так вот, когда, выступая вне конкурса, Соловей выстрелил в старый амбар, амбар без остатка взлетел на воздух, и деревяшки падали потом целый день. Уже вечером Филимон Квасов — лицо официальное — вышел из избы по нужде, и ему на голову упала гнилушка. Коля Боткин, оказавшийся неподалеку, определил, что гнилушка из того материала, из которого был строен амбар. Еще Коля высказал предположение, что мощность выстрела составила две мегатонны. Может быть, это и не совсем так, но с другой стороны, если, как говорят, Иван Соловей насыпал полствола пороху, то отчего же?

После стрельб в огороде меж пустующих ульев была развернута собачья выставка.

Среди гончих вне конкуренции оказался смычок Несипи и Громчелай заведующего складом. Повесив на шеи собак пластмассовые жетоны-номера, прихваченные из гардероба краеведческого музея, Олег отпустил животин с миром. Первое и единственное место среди норных собак занял фокстерьер Глаша, принадлежавший Филимону Квасову. Лучшей лайкой из трех представленных оказалась Найда Ивана Соловья, лучшей легавой — опять же единственный — сеттер Глаша. Животное это происходило от смешения шотландского сеттера с фокстерьером, потому и выступало сразу в двух категориях. Та-

кой черный в подпалинах сеттер на прямых коротеньких лапах и с бородой.

Затем в саду под яблонями состоялось награждение победителей. Иван Соловей получил пять пачек патронов двенадцатого, конечно, калибра, Филимон Квасов — именное ружье, Олегу были торжественно вручены двести таблеток яда. Он пытался сопротивляться, говорил, что не занимается «этим делом», да и вообще «Боткин всех волков потравил», что не заслужил, что собаки не его, а бродячие, но Квасов помотал головой и обреченно вздохнул: «Бери, сынок, пригодятся».

Наконец настал черед кинологического семинара. Слово для доклада было предоставлено Соловью. Он сказал:

— В старые времена каждая собака занималась своим делом: одна — гоняла, другая — подымала дичь, третья — травила самостоятельно, четвертая — еще чего, но всякая знала свою, можно сказать, профессию. Потом наступили другие времена, когда любая собака в любой деревне умела кое-как и зайчишку загнать, и птицу поднять, и белку облаять. А потом пришли нынешние времена, когда все собаки всё понимают, но ни одна ни хрена не делает.

Это была самая длинная речь в жизни старца. Народ был так потрясен внезапной его говорливостью, что от изумления оцепенел. Очнувшись, общество забило в ладоши. Иван даже поклонился, но «спасиба» за внимание не сказал — от волнения потерял голос.

Олег — бывший москвич, променявший столицу на Достославное общество, выступил с сообщением.

— Граждане,— сказал он.— В городах обстановка такая: есть, конечно, отдельные охотничьи собаки, отдельные, если по-научному, особи, но основная, если опять по-научному, популяция делится на три группы. Первая — собаки мальчишеские. Это бездомные животные, которых кормят детишки и которые, значит, из благодарности сносят все шалости и прочие игры. Вторая группа — собаки пенсионерские. Обычно мелкие, злобные и перекормленные животные. О них я даже и говорить не хочу. Третья группа — пьяницкие, я бы сказал, собаки. Они дежурят возле дверей магазинов, стоят около подъездов и подворотен — хозяина ждут. Как правило — лохматые, немытые, но спокойные и до невозможности терпеливые. Спасибо за внимание. У меня все.

— Чисто симпозиум,— вздохнул Боткин.— А мы ниче-

го не записываем.— Квасов отвернулся, слеза скатилась по его квадратной щеке.

Да, совсем недавно еще велась летопись: для отчетности, для потомков и для себя — копить опыт да ошибок не повторять. Но однажды, когда бумаг и бумажек набралось множество и негде их стало хранить, отнесли все это в архив, дабы там разобрались и свели историю общества в единую книгу. Тут, кстати, приближался и юбилей, и договорились уже, что типография отпечатает памятные экземпляры.

Архивные умельцы действительно свели все в одну куцую папку с надписью «Дело», но странным образом: первый же документ об организационном собрании заканчивался словами «князь плакал». Вторая запись была сразу о собачьей выставке, случившейся спустя десять лет после собрания. Заканчивалась она: «Князь смеялся». Далее таинственный князь стал все чаще и чаще влезать на страницы летописи. То он вместе с охотниками осуществляет биотехнические мероприятия, то вдруг попадает в кабину «уазика» и отказывается платить штраф за браконьерство, аргументируя свое поведение вопросом: «А ты знаешь, кто я?» Под конец князь совсем вытеснил Достославное общество, выдав свою дочь за какого-то соседнего князя и устроив по этому поводу «зело велику потеху».

Долго недоумевали охотники, искали намека, жаловались архивным начальникам и получили ответ. Оказалось, что некогда, в стародавние времена, существовало здесь еще какое-то общество и архивариусы свели его воедино с нынешним. Причем действовали аккуратно, соблюдая таблицу перевода календарей, то есть, если собачья выставка была, скажем, пятнадцатого сентября, то и князь, в переводе на новый стиль, смеялся тоже пятнадцатого сентября, а не зимой и не летом. Так что архив сработал нормально. Хотя за неуместное припутывание князя кого-то лишили премии, кому-то влепили «на вид», а Достославному обществу принесли извинения. Но поправить дело было уже нельзя: сотворив новый взгляд на историю общества, старые бумажки архив спалил. А жаль. Действительная история Достославного в некоторых смыслах весьма поучительна и уже по этой причине заслуживает внимания. А всякого рода приукрашивания — зачем они? Охотники так и не признали невесть откуда взявшуюся грамоту «за поимание единорога», хотя, веро-

ятно, с четырьмя грамотами им было бы легче выиграть межрайонное соревнование. Но признавались лишь свои кровные, честно заработанные: первая — за истребление волков, вторая — за их успешное разведение в качестве санитаров природы и третья — та самая, которую завоевал Боткин,— за истребление вновь.

...Пообедали, стали собираться домой, и тут выяснилось, что у Филимона собака пропала. Кричали, стреляли, дудели в стволы — бесполезно. Боткин предположил, что Глаша пошла погулять как легавая, где-нибудь нашла нору и залезла туда как норная. Посмеялись, но Соловей обнаружил, что потерялась и Найда. Такое в общем-то случается на охотах: привязавшись к следу, собаки, бывает, уматываются за зверем на целый день, а то и на два. Квасов и Соловей вынуждены были остаться. Боткин и Олег присоединились.

— Что будем делать? — спросил председатель, когда они остались вчетвером.

— Ждать,— пояснил Боткин.— Больше нечего. Вдруг твоя норная по ошибке в дренажный коллектор воткнулась и путешествует там теперь, а Найда ждет у какого-нибудь выхода аж за несколько верст?

— Да нет тут дренажных труб,— отвечал Квасов,— не окультурено поле.

— А ты почем знаешь? — изумился Боткин председателевой проницательности.

— Да вспомнил я эти места: мы про них на последнем заседании Совета по охране природы беседовали. Директор тутошнего совхоза собирался грунт с полей на болото перевезти.

— Зачем? — не понял Олег.

— Ну дак он Катькин мох-то высушил? Высушил! Засеял, а ничего не взошло.— Председатель развел руками.— Теперь вот землю туда перевезет и по новой попробует.

— Зачем? — Олег растерянно смотрел на Соловья — не шутит ли председатель? Но Соловей стоял, опустив голову. Боткин пристально вглядывался в заоконную даль.

— Бесхозяйственность,— объяснил Квасов.— Совет возражал, но — надо. Куда денешься?

— Боже мой,— прошептал Олег.— Бред какой-то...

Боткин, скосив на него глаза, коротко усмехнулся: все лицо молодого заготовителя было усеяно разнокалиберными родинками, которые при изменении выражения то

собирались в кучку, то рассыпались, то взлетали, то падали.

— Так что... Кстати, какое сегодня число? — вдруг поинтересовался Квасов.— Ну да: не то завтра, не то послезавтра директор совхоза собирался присылать сюда бульдозер, экскаватор, машины. Такое совпадение, значит. Может, правда, сначала и не сюда, а на другое поле — их тут несколько.

— Бред...

— Какой мох был,— вздохнул Соловей,— верст пятнадцать в длину, пять — в ширину... А глухарей, тетеревей!..

— Клюквы! — добавил Боткин.

— Бесхозяйственность,— снова развел руками Филимон Квасов. Олег настороженно посмотрел на него.

— Ну ладно,— вмешался Боткин.— Надо располагаться. Глядишь, день-два проторчим.

— А вдруг собачек волки задрали? — предположил Квасов. И все почему-то устремили взоры на Боткина.

— Ну и народ, однако! — укоризненно покачал тот головой.

Первым делом затопили печь. Дров в каждом дворе, слава Богу, было запасено. Желтые, офанерившиеся листья фикуса пошли на растопку. И уже вскорости русская печь покрылась холодной испариной, словно из нее начала выходить хворь. Олег подмел избу, протер зеркала и оконные стекла нашатырем, обнаруженным в аптечке. Достал из сундука чистенькие занавесочки — принарядил залу. Боткин, походив по соседям, собрал дюжину разнообразных керосиновых ламп; почистил и пустил тикать ходики; заправил водой два умывальника — один на кухне, другой — возле крыльца. Натаскал глины, которой и замазал чадящие трещины в печке.

А Соловей, заняв в доме напротив голубой красочки, подновил изгородь и наличники, потом сходил в клевер и принес оттуда двух разнополых зайчат да еще прихватил по дороге случайно встретившийся пчелиный рой. Зайчат он посадил в крольчатник, пчел пустил в улей.

— Для чего это, дядя Вань? — не понял Олег.

— Для жизни,— доходчиво объяснил Соловей.

Продуктов брали с собой немного — все ж не планировали ночевать на маневрах, так что пришлось срочно подсобрать белых грибов, кое-где по огородам обнаружи-

лась самостоятельная картошка, да дикорастущих морковин еще нашли. Компот варили из яблок, черной смородины, крыжовника, малины, боярышника и шиповника.

Стемнело. Олег взялся запаливать по всей избе лампы, Соловей сел за стол набивать патрон для ружья. Боткин растопил печь-голландку, а Филимон решил перед сном проверить состояние дымохода. Слазил на чердак и притащил пыльную шкуру. Бросил на пол и спрашивает:

— За сколько возьмешь?

Олег покосился:

— Бутылка.— И, отрегулировав пламя основной лампы, висевшей над головой Соловья, пошел задергивать занавески.

— Каким же это образом ты насчитал? — серьезно спросил Филимон.

Олег вернулся к овчине, пошевелил ее носком сапога.

— Сняли ее полтора года назад. В большой мороз...

— Иван, у них здесь не на зимнего Николу престольный? — поинтересовался Боткин от печки.

— Сто семьдесят два,— произнес Соловей, перекладывая дробинку, и согласно кивнул.

— Точно, в запрошлую зиму на Николу мороз был,— припомнил Боткин.

— Повесили во дворе на веревку,— продолжил Олег.— Снег шел...

— Метель была,— подтвердил Боткин. Филимон подозрительно посмотрел на него.

— Дня через три сняли...

— Конечно: отгуляли,— Боткин загнул два пальца,— опохмелились,— загнул третий палец.

— Перенесли на чердак и бросили на какую-то жердь,— закончил Олег.

— Откуда ты все это?..— прошептал Филимон.

— А! — махнул рукою Олег.— Там вон и полосочка от веревки, и пятна от снега — дело нехитрое.

— Но отчего ж непременно бутылка, а, скажем, не пять и не семь рублей?

— Вычислительный центр требует,— пожал плечами Олег.— Говорят, алгоритм такой, да и...

— Сто двадцать! — выпалил Соловей, переложив очередную дробину. Все вздрогнули, разговор прекратился.

— Двести двадцать, наверное. Сто двадцать было

уже,— и Олег сел за стол подстраховывать Соловья в сложном деле.

Квасов нерешительно подошел к печке, проверил пальцем, не пачкается ли побелка, и привалился спиной. А Боткин сидел на низенькой «доильной» скамеечке перед огнем и, завораживаясь, клонился все ближе и ближе к топке. Филимон шмыгнул носом:

— Что-то горит!

— Двести пятьдесят девять, двести шестьдесят, высунь морду-то из огня! Двести шестьдесят один...

Боткин дернулся, осторожно ощупал лицо:

— Действительно, пригорать стал. Виноват. Задумался, свою, можно сказать, профессию вспомнил. Какая-никакая и у меня была. Тоже дело знал не хуже, чем Олежка свое или, к примеру, Иван свое.

— Какая ж твоя профессия? — насмешливо спросил Филимон.

— Крестьянин дак! — удивился Боткин непониманию.— Землю пахал, хлеб ро́стил... Лен, картофель, всякую другую ботву.

— Ну ты ладно — колхозник, а у Соловья-то какая профессия? — не унимался Филимон Квасов.

— Всю жизнь человек в лесу живет,— задумчиво глядя в огонь, отвечал Боткин.— С леса кормится — уметь надо. Трудная у Соловья доля...

— Ну а меня-то ты что пропустил? — шутливо поинтересовался Филимон.

— Тебя-то?.. Ты, браток, человек ре-эдкостного таланта. Место твое — в тылу врага. Ты лет за десять любую державу разоришь. Надо же, в кои-то веки раз спутник в наши края упал, и угораздило на твою деляну!

— Ну так что ж? — Филимон недоумевающе полуобернулся.— Меня даже по телевизору показали!

— Полверсты от дороги, и не смогли подобраться! Нет, говорят, на земле техники, чтобы через такие завалы прошла. Вертолет вызывали.

— Ну так что ж? Ведь деляна же! — Квасов дернул плечами и вновь привалился к печке.

— Была одна книга божественная. Знаешь, чего там написано?

— Не знаю и знать не хочу, я неверующий,— проворчал Филимон.

— Без разницы. Так вот, написано там, что есть время бросать химикаты и есть время собирать их. Есть

время рубить деревья и есть время сажать их, понятно? Ты, Филимон, за свою жизнь хоть одно деревце посадил? Ни единого ведь. А сколь изничтожил — да понапрасну?

— Если насчет бесхозяйственности,— с удивлением в голосе отвечал председатель,— то я согласен.

— Да что вы все: бесхозяйственность да бесхозяйственность? — рывком поднявшись из-за стола, Олег шагнул в одну сторону, вернулся обратно, наконец, встав боком к Квасову, раздраженно сказал: — Это ведь вы ее породили!

— Я? — переспросил Квасов и чуть растерянно, но тем не менее исполненным превосходства взглядом обратился сначала к Боткину, потом к Соловью. Боткин по-прежнему смотрел в огонь, Соловей все так же пристально считал дробины, и Филимонов как ни терзал их взглядом, так и не сумел получить каких-либо союзнических заверений.

— Именно вы!

— Да я, конечно, я понимаю...— суетливо пробормотал председатель.

Увидев испуг в его глазах, Олег как-то разом обмяк. Вздохнул и, возвращаясь к окружающей действительности, пустым, бесцветным голосом завершил разговор:

— Ладно, давайте спать.

Белье стелить не стали, легли поверх одеял: на одной кровати — под васнецовской «Аленушкой» из старого «Огонька» — Олег, на другой — под шишкинскими медведями — Квасов. Досчитав до какого-то заветного числа, Соловей снарядил патрон и полез спать на печку.

Один лишь Коля Боткин все не ложился. Сидел, сидел у огня, потом пошел за дровами. Вернулся, запыхавшись.

— Куда ходил? — сквозь сон поинтересовался Филимон Квасов.

— На охоту.

— Чего добыл? — в рифму пошутил Филимон.

— А енота,— не ударил в грязь лицом Боткин.

Филимон поднял голову:

— Ты что, серьезно?.. Да ведь сейчас не сезон...

— Я ж не убивал: вышел до ветра, включил фонарь, он увидел и повалился.

— Ну да! Они обычно так и притворяются! Где он лежит-то?

— В крапиве.

Филимон живо поднялся, надел сапоги и, взяв фонарь, вышел. Олег хотел было тоже встать, но Иван тормознул: «Лежи, парень». Олег вопросительно посмотрел на Боткина — Коля уже успел припасть к топке. Хлопнула входная дверь, и в избу влетел председатель.

— Ты что, издеваешься? Там кабаны!

— А мне показалось, что там енот был,— удивленно отвечал Николай.

— Я, понимаешь, полез в крапиву, включил фонарь, а они: хрю, хрю — и на меня. Ха-ам,— укоризненно пропел председатель.— А ведь старый уже человек, должен вроде бы понимать... Да что вы разгоготались? Как вам не стыдно?

— Ну ладно,— успокаивая всех, сказал Соловей,— хватит. И так уже весь сон перебили... Что с полем-то будем делать?

— С каким полем? — не понял Квасов.

— Что делать, что делать? Против железа не попрешь — у них трактора,— Боткин угнездовывал в топке большое полено.

— Наконец-то,— вздохнул Олег, поднимаясь,— а то я уж решил, что никому здесь до земли дела нет.

— Вы насчет перевозки грунта? — спросил председатель.— Да, это, конечно, бесхо...— испуганно взглянул на Олега.— Да, конечно, надо что-то придумать. Можно как-то связаться с руководством, заострить вопрос, попытаться отложить его решение на более поздние сроки...

— Пошел ты,— уныло возразил Соловей, сползая с печки.— Где ж эт тебя раньше носило? А вдруг они завтра как раз всю почву и вывезут?

— Но иного выхода у нас нет! — снисходительно пояснил Квасов.

— Есть выход,— без радости в голосе произнес Олег.— Но — теоретический: можно ручей перекрыть, вода поднимется хоть ненамного, и машины уже вброд не пройдут. Там, кстати, в одном месте хорошая горловина — русло узкое, берега высокие, крепкие...

— Раньше по этой реке лес сплавляли,— вспомнил вдруг Соловей.

— Ну вот и досплавлялись,— согласился Олег.

— А один лодочник, что на переправе работал, опрокинулся тут во время шторма и утоп — не доплыть было до берега...— Боткин жалостливо вздохнул.— Дак чем

перекрывать будем? Надо ведь, чтоб они не смогли разрушить.

— Вы что, братцы? Что вы затеяли? Так нельзя! — взволновался Филимон Квасов.

— Хоть избу туда волоки,— покачал головою Олег.

— А комбайн не сгодится? — спросил Николай.— Возле кузни комбайн лежит, СК-4...

— Комбайн бы, пожалуй, в самый раз,— прикинул Олег.— Да как мы его дотащим? — и невесело ухмыльнулся.

— Попробовать можно,— сказал Николай.

— Это вчетвером-то? — напомнил Олег.

— Без меня,— строго сказал Филимон.

— Попробовать можно,— заключил Соловей.— Давайте чайку, что ли, да и пойдем — скоро уж светать будет.

На рассвете Олег, Боткин и Соловей направились воевать СК-4, а председатель, сказав: «Ну смотрите же», ушел в село. Комбайн стоял за кузницей, на лугу, спускающемся к реке. Сначала отвинтили все, что отвинчивалось, оставив лишь бункер на шасси, потом лопатами обкопали колеса так, что они уже не вязли в земле, а наоборот — возвышались над нею. Наконец, с помощью ваги попытались сдвинуть комбайн с места. Шевельнувшись, он снова увяз. Пришлось таскать из деревни доски и выкладывать их на манер рельсов до самой реки. Хорошо еще, в одном дворе обнаружился штабель хороших сосновых досок — должно, хозяева собирались пол перестилать.

Опять обкопали, опять качнули, бункер стронулся, оси заскрежетали, взвизгнули... Агрегат с воем и грохотом помчался к реке и ахнул в воду.

— Всего-то и делов,— задыхался Боткин,— а некоторые сомневались.

Но оказалось, что вода пробивается и под комбайном, и по бокам, и сквозь щели.

— Делаем так,— предложил Олег,— собираем в деревне мешки, короба, корзины, набиваем землей и укрепляем гидротехническое сооружение.

Работали до полудня. Олег несколько раз пытался остановить стариков, но: «Не-эт, паря!» — подмигивал Боткин, а Соловей тихохонько добавлял: «Я ничего, ничего — не волнуйся». Опустили мешки под шасси, законопатили дыры у одного берега, у другого, сверху и на-

конец запрудили: река навалилась — железа не одолела, подпрыгнула — высокий борт не пустил, а стороны — берега держат. Остановилась, затихла. И вот уже поверхность ее подернулась матовой пленкой, а вот — травинок-сушинок да скрюченных ольховых листьев понанесло.

Неясным оставалось, достаточна ли подпора для того, чтобы затопить брод, но сил для выяснения уже не было. Придя в избу, мужики рухнули и спали до поздней ночи.

— Иван! — позвал Боткин.— Худо мне, помираю.

Зажгли свет. Соловей склонился над Боткиным. Олег стиснул руками виски и замотал головой: «Это я во всем виноват!»

— Надорвался, видать,— шептал Боткин.— Помру... Иван! Иван!.. Хоть не зазря помираю-то! Не зазря? А, Иван?

— Да бросьте вы, дядя Коль! Что вы ерунду говорите? — испуганно зачастил Олег. Лицо его сделалось плоским, родинки поразъехались.

— Чего уж тут,— вздохнул Соловей.— Не зазря. Плохому делу помешали — поле спасли...

— Эх, знать бы наверняка — спасли или не спасли? А, братцы?..— Боткин всхлипнул. Олег кивнул и бросился из избы.

Когда он вернулся, Боткин уже сидел на кровати. Соловей понуро стоял у стола.

— Ишь ты! — сердито выговаривал Боткин.— Хотел, чтобы я прежде его убрался! Не выйдет! — и пригрозил Соловью черно-багровым указательным пальцем.

— Что? — оторопело спросил Олег.— Что случилось?

— Приступ был у него,— объяснил Соловей.— Газы подперли.

— А теперь все в порядке,— весело заключил Боткин.— А он: «Не зазря», «Не зазря»...

Олег устало сел на пол прямо у двери и закрыл руками лицо.

— А ты чего мокрый? — поинтересовался Боткин.— Чего там?

— Есть, братцы. Есть подъем! Больше метра — вон как я выкупался!

— Живсырье ты мой родненький! — Боткин, как был, босой, прошлепал к двери, опустился на колени и, обняв Олега, ткнулся ему в плечо. Соловей пошел посмотреть окно, в котором, кроме отражения керосинового огня, ничего не было видно. Потом Коля поднялся.

— Братцы! — он натурально рыдал и не пытался скрыть этого.— Братцы! Ведь получилось же, получилось!

Соловей хмуро одернул его:

— Неча тут, готовь завтрак!

— Какой разговор?! — вскинулся Боткин, широко распахнув руки.— Сделаем!

Чай пили на улице. Вынесли стол, скамьи, самовар, праздничную посуду. Всходило солнце, в низине, над гладью новорожденного водохранилища, плыл туман

— Теперь здесь чайки поселятся, альбатросы,— мечтательно произнес Боткин.— Буревестники прилетят.

— Хорошо,— сказал Соловей.— Когда-нибудь всем людям будет вот так хорошо.

Олег кивнул, но Боткин возразил.

— Не будет. Потому как кончатся однажды раздолбаи вроде тутошнего директора, и не с кем воевать будет — тоска!

— А если не кончатся? — усмехнулся Олег.

— Тогда изведут они всякую жизнь к...

— Хорошо! — повторил Соловей, не внимая.— Настанет время, и в болотах болота окажутся, где был лес — лес вырастет, а на поля придут крестьяне с плугами.

— Блаженный,— покачал круглой головой Боткин.

— И не надо будет ручьи перегораживать,— вставил Олег.

— А ручьи вновь станут реками,— продолжал Соловей,— и потекут туда, куда текли.

— Блаженный,— утвердился во мнении Боткин.

Вдруг долетело из-за реки бормотанье мотора, и вскоре у брода возникли два «уазика»; один — зеленый, другой — милицейский, желтый. Люди высыпали на берег, ходили туда-сюда, размахивали руками.

— Все, мужики,— сказал Боткин.— Все, отмечтались.

Не глядя друг другу в глаза и не говоря ни единого слова, Олег с Боткиным собрались и отправились к броду. Соловей по-прежнему сидел за столом и пил чай.

— И я б с вами пошел,— повинился Иван,— да хозяйство: зайцы, пасека...

— Тебе хорошо,— вздохнул Боткин.— Ты человек лесной.

— Дак и вы,— Соловей поднял острые плечи,— вы тоже... люди.

Не дослушав, Боткин махнул рукой и покатился к реке. Олег зашагал следом. Постояли у бывшего брода, по-

кумекали, как форсировать. Олег начал уже было раздеваться, но тут Коля сказал: «А, шут с ним со всем!» — и бухнулся в воду. Намокнув по грудь, они выбрались и остановились перед незнакомым мужчиной в маленькой шляпе, которому Филимон Квасов что-то тихим голосом объяснял, указывая на тот берег.

Олег с Боткиным поздоровались, но незнакомец, стоявший в двух шагах, словно бы и не слышал. Правда, милиционер подмигнул. Но что это могло означать — неведомо.

Так ждали мужики, потупив головы, стекала и стекала с них вода, а председатель, наклонившись к шляпе, продолжал что-то шептать. И вдруг незнакомец воскликнул: «Здравствуйте!»

Олег отшатнулся, а Боткин подпрыгнул даже.

— Здравствуйте,— испуганным хрипом поздоровались мужики еще раз. Милиционер вновь подмигнул, и вновь — непонятно: с угрозой или же ободряя.

Внезапно незнакомец и Филимон развернулись и, не простившись, пошли к машинам. Боткин качнулся следом, но Олег придержал: «Команды не было». Машины поурчали и исчезли в лесу.

— Де-ла-а! — опешил Боткин.

— Опять одежду сушить, елки зеленые! — расстроился заготовитель.— Только после ночи просохла — и опять!

И тут они друг на друга взглянули: Боткин был багровей обычного. Олеговы родинки сползлись к переносице. Члены Достославного общества страдальчески покачали головами и вдруг расхохотались до слез. Потом, вздрагивая в затихающем приступе, форсировали реку обратно.

— Братцы! — донеслось.— Братцы! — На том берегу стоял Филимон Квасов.— Братцы, подождите, я с вами! Перенесите меня, а то вы уж все равно мокрые...

— А шел бы ты! — отмахнулся от него Боткин.

— Да подождите вы! Собаки наши нашлись — они, оказывается, с гончими убежали и теперь, значит, на свалке живут. Да подождите!

Охотники, не оборачиваясь, уходили.

— Расформируют,— предположил Олег.

— Едва ли,— уверенно заявил Боткин.

Соловей сидел за столом, пил чай и, слушая птиц, вздыхал: «Хорошо!»



САПОГИ ИЗ ТРАПЕЗУНДА

Не желая кого-либо обременять, я спросил ближайшую брошенную деревню и к вечеру стал однодворцем. Рядом располагалось еще несколько изб, но все — негодные для ночлега, так что на мелкопоместность я в этот раз не претендовал. Хотя в иных случаях мне доводилось коротать время не только в совершенно справных, разве что опустевших, деревнях, но даже и в натуральных селах: с соборами и прочими одинаково обезлюдевшими сооружениями как казенной, так и частной предназначенности.

На другой день погода выправилась: стих ветер, дождь перестал, и можно было пускаться дальше, но тут я познакомился с прежним хозяином дома, Павлом Степановичем Метелкиным, и лишний раз убедился, что обстоятельства, сбивающие нас с намеченного пути, сулят подчас куда более заманчивые последствия, чем достижение цели.

Я прожил в этой деревне неделю. Неделю — разбирая бумаги, оставленные бывшими жильцами за ненадобностью. Вечерами ходил на тягу, но вальдшнеп здесь тянул плохо, и я, конечно, все-то и порывался оставить эту деревню и поскорее отправиться в некоторые заветные места, но Павел Степанович не отпускал.

Сначала он показался мне обыкновенным занудою: в ворохах бумаг часто встречалось каллиграфически выведенное слово «жалоба», иногда — «прошение». Скоро, однако, обнаружилось, что самих «жалоб» и «прошений» не столь уж и много, зато писаны они во множестве экземпляров: перерабатывая и дополняя, автор, должно быть, стремился к некоему совершенству. Так, датированный 1923 годом текст «Прошения о перестании полагать товарища П. С. Метелкина недоимщиком по уплате сельхозналога» имел четырнадцать вариантов, а отдельные страницы преобширнейшей «Жалобы на соблазнительное поведение сборщицы сельхозналога В. Лепетяевой» переписывались до тридцати раз, и оттого вполне

позволительно утверждать, что Павел Степанович кое в чем сумел превзойти самого графа Толстого.

Следующее наблюдение и вовсе смутило меня: в то время как Метелкин даже под черновики жертвовал прекраснейшую бумагу, дочь его решала арифметические задачи про жнейки, стога и пуды на страницах печатной продукции. Были тут брошюры с таблицами займов, с постановлением «О порядке разрешения трудовых конфликтов, возникающих на почве применения наемного труда в крестьянских хозяйствах» от 1924 года, «Законодательство о трестах» 1925 года, «Выращивание сои на севере СССР», «Как устранить яловость животных?» и другие издания не меньшей значимости. Несколько самодельных тетрадей было сшито из рекламных афиш «Крестьянской газеты» и цветастых плакатов, объявлявших «волостные торги недвижимостью» и «сдачу лесов в аренду».

То есть определенно писание жалоб являлось для Павла Степановича занятием чрезвычайной, ни с чем не сравнимой важности.

Узнал я еще, что в годы гражданской войны Метелкин служил делопроизводителем 29-го этапного батальона, и счел было свое исследование завершенным, как вдруг на чердаке среди пыльных березовых веников, разобранных кросен, мятых чайников, кастрюль, самоваров нашелся странный предмет — долбленый деревянный пенал цилиндрической формы. Сняв крышку, я обнаружил плотный свиток бумаг, касавшихся неизвестного мне периода жизни Павла Степановича.

Документ с сургучной печатью оказался послужным списком «чиновника военного времени Карского крепостного интендантского управления П. С. Метелкина». Так я узнал, что Павел Степанович имел счастье явиться на свет в 1881 году, а в 1910 был зачислен в писарской класс при Управлении здешнего воинского начальника. Пройдя курс наук, попал в распоряжение штаба Кавказского военного округа и с 1914 по 1918 год служил в Карсе писарем, старшим писарем и, наконец, помощником бухгалтера.

За четыре года бравый воитель успел наградиться тремя медалями, о чем в анкетах следующих лет не упоминал. К этому же периоду относились и особо яркие проявления кляузнического таланта Павла Степановича. Чего стоит хотя бы его докладная о прапорщике 296-го

пехотного полка Марисове, который при обстоятельствах, изображенных не очень внятно, назвал Метелкина «драным (на литеру «с») кавалером и дураком». «Докладывая о вышеизложенном господину делопроизводителю Управления Карского крепостного интенданта», Метелкин просил «ходатайствовать перед господином полковником Карским крепостным интендантом о разборе инцидента по нанесению нетактичного оскорбления».

Господин делопроизводитель, подчеркивавший прочитанное карандашом, дошел лишь до фразы: «Прапорщик Марисов спросил меня: «Ты знаешь, кто ты есть?» Не ознакомившись с доходчивыми разъяснениями прапорщика насчет метелкинского кавалерства, делопроизводитель перескочил к концовке и, подчеркнув несколько строчек, оставил следующую резолюцию: «Некоторые офицеры 296-го пехотного полка всякими вопросами нетактично отвлекают писарей от исполнения прямых обязанностей, которые и без того чрезмерны ввиду малости штата».

Господин полковник, просматривавший резолюцию делопроизводителя, подчеркнул в свою очередь лишь слова «штат» и «нетактично» и препроводил бумагу в 296-й пехотный полк с требованием «провести штабные учения, так как офицеры полка имеют столь слабую военно-тактическую подготовку, что по всяким вопросам справляются у писарей, словно статские». То есть из-за устойчивой невнимательности отцов-командиров докладная в итоге попала к тем, против кого и была направлена,— к офицерам 296-го пехотного полка, и они не замедлили рассчитаться с виновником неурочных учений: спустя несколько дней Метелкин жаловался на офицеров, которые, посетив канцелярию, передвинули табурет, в результате чего Павел Степанович, державший в руках бутыль свежеразведенных чернил, сел мимо.

Получив, однако, серебряную медаль на Аннинской ленте с надписью «За усердие», писарь прекратил битву.

Но все это дело оказывалось совершеннейшим пустяком в сравнении с продолжительной тяжбой о сапогах.

В мае 1917 года некий титулярный советник господин Лукьянов докладывал, что из шкафа, стоявшего в комнате писарей, пропало пять пар сапог. Павел Сергеевич отписал: «Куда девались пять пар казенных сапог, мне неизвестно, о чем могут подтвердить сослуживцы мои, писаря Голик, Гладский, Андрющенко, Хряк». Стало

быть, на пять пар сапог — как раз пятеро свидетелей...

Затем чиновник Лукьянов находит у себя в кабинете три пары сапог, но вместо того, чтобы вдумчиво принять дар, объявляет это событие «началом раскаяния неизвестных злоумышленников» и сдает сапоги на склад. Лукьянов, выполнявший, по-видимому, ревизионную миссию, был человеком, без сомнения, деликатным: уповая на совесть, имен прохиндейских не называл. Однако раскаяния не случилось. Более того, Голик, Гладский и Хряк избили Андрющенко и Метелкина и отобрали у них две пары будто бы «законных сапог, выданных еще формуляром 1915 года». Запутанная эта математика весьма прозрачна: писаря сговорились вернуть все пять уворованных пар, а Метелкин с Андрющенко сотоварищей своих надули, через что и телесное наказание понесли и с добычей расстались.

Бухгалтер управления — «зауряд-военный чиновник» по фамилии Неборачко,— стремясь угасить раздор, добивается награждения каждого из пятерых серебряной медалью на Станиславской ленте с надписью «За усердие» и переводит Голика, Гладского и... метелкинского друга Андрющенко в Трапезунд, иначе говоря, разрушает и перемешивает начавшие враждовать группировки.

Тут приходит пора получать новые комплекты обмундирования, и Метелкину с Хряком недостает сапог. На официальный запрос писарей Неборачко официально же и отвечает, что их «сапоги по причине ошибочности свезены в Трапезунд». В том, что это случилось не по злому умыслу, а от обыкновенного разгильдяйства, убеждает ответ Андрющенко, у которого Павел Степанович попросил дружеского содействия: «С обувачкой слободно, но с портками зато полное безобразие, так что Гладскому с Голиком не хватило». В обмен на две пары форменных брюк прибывают из Трапезунда даже не две пары, а одиннадцать штук сапог, но все — левые. Метелкин в следующей докладной грозится пожаловаться государю и требует командировки в Трапезунд, чтобы «на месте восстановить справедливость по вопросу правых сапог». И хотя государь вот уже год как находился вдалеке от престола, зауряд-военный чиновник Неборачко все равно дрогнул: спроворил Метелкину золотую медаль на Станиславской ленте с надписью «За усердие» и дал разрешение «посетить Трапезунд по служебной необходимости».

В это время Андрющенко присылает очередное письмо: «Я с удовольствием бы отсюда уехал. Дело в том, что здесь какие-то пауки называются скорпионами. Их здесь много, и укус ихний для человека смертелен. Кроме того, хотя наше управление помещается на горе и с малярией, говорят, у нас неплохо, но в городе нанизу летом страшная малярия». И Метелкин остался. А вскорости весь гарнизон был эвакуирован в Тифлис.

Долго скрывал Павел Степанович ратные эпизоды молодости своей. Лишь в 1945 году, разрабатывая прошение о награждении медалью «За победу над Германией», он назвал себя во едину строку «участником гражданской войны и героической обороны осажденного Карса». Он правильно рассуждал: историю свою мы знаем куда как плохо, и к сорок пятому году в здешней глуши никто ничего про Карс не помнил. Да и вообще не до того было.

Вот, собственно, и все, что удалось мне узнать о Метелкине за несколько дней. Отправившись дальше, я в первой же населенной деревне принялся выяснять мнение земляков о знатном кляузнике. Все, кто знавал его, а Павел Степанович умер тому назад лет эдак двадцать, в один голос твердили, что он был печником. «Может, когда чего и случалось,— говорили они,— но если только давно. А после войны, все знают, Павел Степанович ложил печи, причем от денег отказывался — задарма ложил».

Я вспомнил, что последнее найденное мною «прошение» относилось по времени действительно к концу войны. Просмотрев еще раз «биографию жизни» Метелкина, датированную 1925 годом, нашел я и пропущенные ранее строки об учебе на печника и о работе печником в Петербурге с 1906 по 1909 год.

Все кругом дружно хвалили метелкинские печи и пожимали плечами при словах «жалоба», Карс, Трапезунд. Составленное мной представление никак не вязалось с образом печника-филантропа. Допускать, чтобы одно благополучие соседствовало с другим, никак не хотелось: вышло бы, что недобрые дела можно преспокойно творить рядом с добрыми, потому как первые непременно забудутся, а это — безусловная несуразность.

Прояснили картину родственники Метелкина: его внук — колхозный бухгалтер и жена внука — завскладом.

По их утверждению «дед когда-то был ничего — копейку имел, но потом — не враз, конечно, а постепенно — свихнулся. И хотя врачи этого не подтвердили, вся родня знает. Стал печки ложить, деньги порастратил или неизвестно куда подевал, а в наследство одну-единственную бумажоночку только и оставил — перед соседями срам дак».

Я попросил, и мне показали завещание Павла Степановича, написанное все тем же виньеточным почерком,— уж не гусиным ли он пользовался пером?

«Главное достояние людей на Земле — ушедшее время,— начал я разбирать вслух.— Будущего нет...»

— Точно,— подтвердила внукова жена.— Эти ученые доведут Землю до края. Не войной, так химией.

Далее Павел Степанович корявыми канцелярскими фразами, воспроизвести которые затруднительно, рассуждал в том смысле, что будущего не существует физически, что его либо еще нет, либо, осуществляясь, оно уже становится настоящим, а осознанное настоящее — собственно прошлое и есть. Дескать, одно только прошлое реально, дескать, оно с нами всегда: «в житейском опыте, в воспоминаниях и болезнях, в нераскаянных наших грехах».

Затем, бесхитростно сравнивая жизнь с «хождением в неведомое», Павел Степанович настоятельно советовал для определения курса оглядываться назад, на «вешки прошлого», и проводить от них через себя прямую линию, то есть употреблять прошлое как геодезический репер.

Наконец он признавал, что лишь к закату «начал понимать в жизни», но тем не менее решился круто изменить весь ее ход, дабы последние, поставленные им вешки подсобили потомкам. «Хотя слишком поздно, а потому навряд»,— прозорливо завершал Павел Степанович.

Я решил отдать документы Метелкина, но родственники замахали руками: «Вы что?!» И поинтересовались, мне-то для чего понадобился «этот мусор»? Я не знал, что отвечать, как, впрочем, и теперь не знаю. И до сих пор все не могу найти какого-то определенного отношения к Павлу Степановичу, между тем как судьба его не перестает занимать меня.

Вероятно, ни мне, ни кому-либо другому не докопаться уже до мыслей и чувств, которые «не враз, конеч-

но, а постепенно» изменили внутренний облик Метелкина.

А может, и не надо докапываться? Может, и не следует искать определенности в отношении к Павлу Степановичу? Может, и в помине нет слов, которые точно обозначили бы образ старого писаря? Может, притягательная сила этой «зауряд-военной» истории только в том, что она — прошлое? Может, Метелкин прав, и прошлое на самом деле обладает некоей властью над нами, властью реальной, но необъяснимой, загадочной? Как там у него: «Главное достояние людей на Земле — ушедшее время...» Есть в этом положении некоторая категоричность... Да-да, есть...

Но с другой стороны, нельзя же всерьез утверждать, что сапоги из Трапезунда могут представлять нынче хоть какой-нибудь интерес? Тем более что все они на одну ногу.

НОВОСЕЛКИ



обираться туда легко: в девять вечера садишься на поезд, в три часа ночи слезаешь. Полтора километра по шпалам, столько же через лес — вот и весь путь. Брошенное поле, брошенная деревенька, на краю которой совсем недавно еще стоял жилой дом.

В ту пору, когда я познакомился с дедом Сережей и его старухой, были они уже людьми опустившимися. Не то чтобы совсем потеряли интерес к жизни — нет: что-то ели, что-то пили, слушали радиоприемник, даже мылись, наверное, иногда, однако они позволили жизни своей сделаться безобразною. Сережа уже почти не надевал протез — лежал целыми днями в грязной постели, курил, кашлял, плевался. Бабка хотя и совершала кое-что по хозяйству, но без усердия: посуду она не мыла — суп всякий раз варился в одном чугунке и разливался в одни и те же тарелки. Стирала ли она — не знаю.

Да и все в доме у них было опустившимся: кобель — матерый гончак,— если случалось ему оказаться в избе, мочился на пол, кошки бродили по столу, добирая объедки, тараканов расплодилось такое множество, что они шуршащей коростой покрывали стены и потолок, кишмя кишели в дедовой койке, и он их разве что с лица прогонял.

Электричества в доме не было — отрезала колхозная власть, керосина у стариков не водилось, так что жили они без света. Ни разу не слышал я, чтобы вели они между собой человеческие беседы — только ругались, грязно и равнодушно. Сережа — кашляя, бабка — тонким гнусавеньким голоском.

Останавливаться у них не было никакой возможности, предпочтительнее оказывалось ночевать в полуразвалившихся избах соседней деревни, но, наведываясь в те края, я всегда заходил к Сереже — оставлял батарейки для приемника и фонаря, чай и, быть может, еще что-нибудь по мелочам.

Жизнь стариков делалась все более мерзостной. Наконец старуха не выдержала и ушла к сестре — в деревню километров за десять. Потом сгинул кобель — самостоятельно гоняя зайца в ночи, он вылетел к железнодорожному полотну и остановился, чтобы пропустить чудовищное сооружение, однако это был не обыкновенный поезд, а снегоочистительный, чего пес по азартности своей не углядел: краем выдвижного бульдозерного ножа его и ударило.

Совершенно одичав от тоски, дед разыскал свою бабку и поджег избу — люди спаслись, но изба сгорела. Был суд: два года тюрьмы и тысяча рублей компенсации. Пустился дед Сережа отбывать срок, старуха же вернулась к кошкам и тараканам. Вскоре она сама выплатила сестре причитающуюся сумму — что-то продала, сколько-то заработала на бруснике, о чем-то она, вероятно, могла договориться и по-родственному. Через год Сережа вернулся — совсем блатной, с наколками, покрывавшими чуть ли не все его тело, за исключением, понятное дело, отсутствовавшей ноги.

А через какое-то время оба они убрались со света. Дед преставился здесь, и последние его слова были матерными, старуха тихохонько отошла в новой избе сестры.

Печально, конечно, что жизнь этих людей так омрачилась к своему завершению, печально, что не осталось от них ничего — даже тараканов с кошками не осталось: я был там недавно — на месте дома груда печных кирпичей да несколько поблескивающих хромированным металлом протезов, о которых дед Сережа, помнится, говорил, что они — один другого нескладнее. Всем им он предпочитал деревяшку... Кто и зачем спалил их дом — неизвестно, скорее всего, кто-нибудь из местных: обычно подобное занятие — утеха молодых подвыпивших трактористов. Может, человек и родом из этой деревни был — новоселковский, а вот: чтобы уж никому не досталось ни обогреться, ни переночевать. Горазды мы, как известно, землю свою поганить. Сами, правда, до этого редко додумываемся, но уж если кто нас подтолкнет: объявит ее устаревшей, дом — неперспективным,— мы и рады: землю загадим, дом сожжем.

Сидя на валуне, подпиравшем некогда угол избы, я не

без растерянности взирал на уголья: как же так — что-то было, а теперь нет... Глупая, конечно, растерянность, да разве привыкнешь — тоскливо ведь. Тут, само собой, воспоминания кое-какие промелькнули, и вспоминалась все одна пакость. Как дед рассказывал про некогда соблазненную им девицу — учителку, присланную из города,— старуха слушала все это с очевиднейшим равнодушием, а потом, широко зевнув, добавила, что «у колхозной булгахтерши трое детей, а обличием все — в гада этого». Как коршун курицу прихватил, а я, увидев, бросился было из дома с ружьем, да старуха не выпустила: «Загубишь курицу!» В конце концов и курица сдохла, и коршун улетел, чтобы потом, в мое отсутствие, извести всех остальных кур. Ах, дура-баба была эта старуха!.. Вспоминал сонмище кошек: Сережа держал их вроде как для промысла — шапки шил. Теперь это занятие распространено необыкновенно и на Птичьем рынке: одномастных котят продают целыми корзинищами: на шубу, горжетку, жакет. А тогда кошачий промысел был в диковинку, и потому старика можно смело называть первопроходцем.

— Хочу черную шапку сшить,— говорил он мне при каждой встрече.— Кра-асивая будет! Видал, какая у кота шерсть? Блескучая, густая, ворсистая...

Свесив с печи лобастую голову, кот устало и снисходительно щурил глаз: за многие годы он выдал лишь одного отпрыска своей масти, остальные рождались пестрыми или рыжими — из них-то дед и шил шапки, воротники, рукавицы. Однако как только Сережа помер, косяком пошли беспросветно черные.

Вспоминались и тараканы: бывало, зимой, прежде чем обуться, валенки приходилось вытаскивать в морозные сени. Тараканы из валенок ползут и ползут: до верху доползают, тут в них что-то щелкает — жизнь выключается, и они летят на пол, кошки только успевают подбирать. И что интересно: живых тараканов кошки не трогали, зато мороженых — до драки доходило. Какая тут кулинария сокрыта?..

В общем, одна дрянь вспоминалась, хорошего — ничего. Но почему не покидало и не покидает меня теплое чувство к этим, прозябавшим в мерзости старикам? Что-то к ним притягивало всегда, какой-то свет от них исходил... Неяркий, может быть, но все-таки...

Не знаю наверняка, что было его источником, не знаю... Но вот ведь держались они друг друга всю жизнь! И дома своего, и своей земли... Не стало их, и место это обезжизнело. А когда-то, отстояв тягу, сходились здесь у мосточка через ручей охотники — было нас человек пять — семь: из разных городов, в разные дни приезжали, в разных деревнях останавливались, а собирались — надо же — именно здесь. Встретимся, постоим, поговорим об охоте, узнаем, кто как прожил год — осенью и зимой редко кому доведется встретиться, это уж десятидневный весенний сезон вместе всех собирает. Стоим, разговариваем тихонько, тлеют огоньки сигарет, а дед Сережа, конечно же, посматривает на нас в окошко. Потом расходимся кто куда.

А теперь вот — давно уже — не встречаемся у ручья. Вроде и старик этот не нужен никому был, а вот надо же! И пока еще как будто живы мы все, и каждый год по весне наведываемся в Новоселки, но встретиться друг с другом, как прежде, уже не можем. Стоишь на тяге, слышишь: за высоковольткой ба-бах! — это, стало быть, Петр Сергеевич, дочь его, помнится, рожать собиралась... теперь внук или внучка в первом классе, поди. А вот у реки зачастила пятизарядка Антона Романовича — какие-то у него там сложности в министерстве были, чем, интересно, дело кончилось? Хотя он, наверное, уже на пенсии. А то ночью, поезда дожидаясь, под единственным станционным фонарем столкнешься с небритым мужичонкой: рюкзак у него даже на вид трудноподъемный — пара глухарей точно есть. И в вагоне уже сообразишь: Витюха — шофер из Калинина. Он тебя тоже признает, поговоришь, выяснится, что, похоже, остальные ребята были, но это — так: по догадкам, по слухам, а видеть он никого не видел. Вот и я никого, кроме него, не видел... И никогда больше не соберемся мы у мосточка через ручей. Впрочем, и самого мосточка давно уже нет — раньше Сережа его подновлял, хоть кое-как, но починивал, совсем нарушиться не давал, а без старика обветшал мосток, иструхлявился и смыло его весенней водой.

Нет, теплился огонек в этой лампадке: хоть и перепачканной она была, а теплился. И ведь не то важно, что перепачкана, а то, что не погас — это важно и удивительно, ведь столько невзгод было обрушено на Сережину мужицкую голову, на Сережины крестьянские плечи:

«Жизнь обычная,— говорил он,— как у всякого деревенского, а ногу на войне потерял».

И родни у них на земле не осталось, и могилку их отыскать мне не удалось, вот уже и старухино имя забылось... Однако несправедливо будет, если память о них сотрется, исчезнет совсем — несправедливо.

СЛУЧАЙ С ПРОВОДНИКОМ



роводник, местный мужичок по имени Костя, обманул меня: не довез до нужного места. Я понял это не сразу: выгрузил на берег вещи, расплатился деньгами и поллитровками, пожал Косте руку, оттолкнул его лодочку, огляделся и тут только ощутил вдруг тревогу: не было рядом ни обожженной молнией лиственницы, о которой рассказывали промысловики, ни порога, отмеченного на карте. Ну, лиственница могла бы и исчезнуть — скажем, догореть в костре геологов, геодезистов или иных землепроходцев, но порог — куда деваться ему?.. Пока я в растерянности соображал, Костя, устроившись на корме моторки, откупоривал бутылку и резал хлеб. Лодку медленно выносило к середине реки.

Я спросил, где мы находимся. Костя наполнил стакан, деликатно, двумя пальцами, поднял его, неспешно выпил, нюхнул черного хлебушка и сказал:

— Однако двадцать пять километров не доехали.

— Да как же я дальше добираться буду — груза-то, смотри, сколько?

— За две ходки дотащишь,— он начал жевать.

— Но мы же договаривались с тобой, и я заплатил тебе, как обещал...

— Договаривались,— скорее угадал, чем услышал я,— лодку отнесло уже далеко.

— Ну так что же ты?

— Некогда мне! — прокричал Костя.— Душа горит!

— Вот вмажу сейчас картечью, «душа горит»!

— Но-но, парень...— Он не стал искушать судьбу: врубил двигатель, газанул и, лишь отлетев метров на двести, вновь заглушил мотор — для того, вероятно, чтобы в гарантированном спокойствии опрокинуть второй стакан.

— Нажрешься, на перекате в камни влетишь и руки-ноги переломаешь,— зло бросил вслед ему я.

Очень скоро этот случай забылся, и, наверное бы,

навсегда, но, вернувшись через месяц в поселок, я узнал, что Костя чуть не погиб.

— После твоей литрухи он в деревню к сестре заглянул,— рассказывали промысловики.— Пузырь спирту принял да у бабки одной чекушку выпросил, а потом где-то и кувыркнулся. Ну, сплавщики изловили его, всего переломанного: руки, ноги, хребет. Так что, паря, он теперь в городу, в больнице, и доктора, однако, не сулились его выпускать.

Тягостное ощущение вины не покидало меня. И дело было не в том, что последнюю свою пьянку Костя начал с моих поллитр, а в недобром пророчестве. Состояние мое ухудшилось еще более, когда я узнал, что у Кости — четверо ребятишек. Поколебавшись, я решился сходить к его жене, чтобы отдать оставшиеся у меня деньги и кое-что из вещей.

Против ожидания встретила она меня приветливо, почти радостно:

— Костя?! Да по нему давно могила рыдает, чо жалеть-то?.. Насчет какой помощи?.. Э-э, миленький, это прежде нам помощь была нужна, а теперь мы и сами справимся! Денег теперь никто у нас отымать не будет — некому, а зарабатываем мы с Танюшкой — это старшенькая моя — хорошо, так что...

Я поведал ей о мучившем меня чувстве, о словах, сказанных вослед ее мужу.

— Так тебе ж цены нету, сынок! Ты бы таким манером всю нашу пьянь... Погоди, однако,— подхватилась она,— сейчас я баб созову...

Конечно, чтобы предугадать Костины перспективы, вовсе не обязательно было озаряться прорицательностью, но с тех пор я уже не испытываю обстоятельства недобрыми пожеланиями. На всякий случай. И для своего же спокойствия.

Смерть всех рассудит, время всем воздаст.

КРАУЗЕ



В конце марта ударила вдруг жара. Снег в два дня растаял, и степь залило водой. Кое-где потоки перехлестывали через шоссейку, но были они все неглубоки, и «уазик» преодолевал их без затруднений. «Это — несерьезно,— говорил Саушкин, сбрасывая газ.— Это нам... по колено»,— и снова можно было придавливать акселератор.

По радио объявили полдень.

— Пять часов пилим,— подсчитал Саушкин.

— Четыре пятьдесят две,— уточнил с заднего сиденья Краузе.

— Мы ведь выехали ровно в семь,— Саушкин вопросительно посмотрел на меня, я только пожал плечами.

— Ровно в семь ты включил двигатель, а потом начал искать права. В семь ноль восемь ты нашел их.

— А-а, правильно, правильно, было.

— Сколько до моста? — спросил я.

— Немного осталось,— отвечал Саушкин.— Вон за тем поворотом... Или за следующим...

— До моста семь с половиною километров,— сказал Краузе.

— Семь так семь,— согласился Саушкин.— В прошлом году там такая беда... А кстати, почему ты не приезжал в прошлом году?

— В прошлом? — взялся я напрягать память...

— Он ездил в командировку на Дальний Восток,— объяснил Краузе,— и на обратном пути из-за нелетной погоды застрял в Хабаровске.

— Точно,— вспомнил я,— в Хабаровске. Я ведь вам оттуда звонил!

— А-а, да-да-да,— припомнил и Саушкин,— звонил. Денек мы тебя подождали, а потом поехали, было... Мы-то проскочили нормально, а на следующий день здесь автобус перевернулся: и шофер вроде опытный, а вот... Шел посередке, да тачка-то длинная — корму с насыпи

и снесло. Народу — человек тридцать погибло — беда-а...

— Двадцать семь,— сказал Краузе.

Вскоре мы скатились в низину, и путь нам преградила натуральнейшего вида река: мутный поток волочил через дорожное полотно вывороченные с корнем кустарники, вороха соломы, обломки досок, деревянные ящики и прочий хлам. По берегам потока стояли десятки машин, а трактор «Кировец» сновал туда и обратно, перетаскивая желающих. Краузе сходил на разведку:

— Ширина разлива — сто двадцать — сто тридцать метров, глубина над мостом через ручей — один метр, справа и слева от моста, рядом с насыпью, глубина достигает... может достигать четырех метров.

В эту минуту трактор буксировал «Запорожца». Дойдя до самого глубокого места, легковушка оторвалась от земли, подвсплыла, и течение отнесло ее в сторону.

— Вот там,— заметил Краузе,— глубина и может достигать четырех метров.

— Туда автобус и завалился,— Саушкин не отрывал взгляда от «Запорожца».— Тонет...

Машина действительно начала погружаться в волны.

— Давай! Скорее! Давай! — закричали с берега трактористу. Но, похоже, он и сам хорошо знал свое дело: оставив опасное место позади, плавно добавил скоростенки — легковушка подтянулась к обочине, вползла на асфальт, а тут уж и выкатилась на сухое место.

— У него хоть какая-то герметизация, а мы при своих щелях — потонем,— и Саушкин покачал головой.

— Можно ехать так,— заявил Краузе.

— Как «так»?

— Так. У тебя есть кусок шланга?

— Ну есть...

Краузе вставил один конец шланга в выхлопную трубу, другой загнул вверх и привязал к застежке брезентовой крыши «уазика». Потом приподнял капот, снял ремень вентилятора, наконец, сел на свое место:

— Можно.

— А ты уверен?

— Вполне. Скорость — первая, обороты — предельные, поехали.

— Поехали так поехали,— и Саушкин нажал на стартер.

— Только, пожалуйста, педаль не отпускай,— попросил Краузе,— ни на миллиметр, а то заглохнем. И возь-

ми прицел: совмести щетку дворника с автокраном — вон, на подъеме стоит. Держись этого курса, а на воду не смотри: дороги не видно.

Мы уходили все глубже и глубже, в какое-то мгновение вода подступила к ветровому стеклу, но тут же сбежала с капота — начинался подъем. Мотор натужно ревел, и Саушкину было жаль его, но педаль он не отпускал. Переехали...

— Теперь машине надо полчаса отдохнуть,— сказал Краузе.— Потом трогаемся: через двадцать семь километров заправка, возьмем сорок литров бензина.

Насчет километров Краузе не соврал — в точности так и оказалось, однако по поводу литров пророчество его категорически не сбылось — мартовский бензин кончился, а апрельского еще не завозили.

— Фантастика,— растерялся Краузе.

— Да брось ты, старичок,— тягостно вздохнул Саушкин.— В сравнении с нашей реальностью любая фантастика — детский лепет... Ну, что будем делать?

— Я не знаю,— спокойно признался Краузе.

— То-то же... Это тебе не километры считать... Есть тут председатель один — Перебейнос, я про него писал как-то... Может быть, помнит...

Отыскали мы грязное степное сельцо. Перебейнос помнил:

— А як же?! Товарищ Саушкин в нашей областной «Правде» таку гарну статью про меня напечатал, что ой-ой-ой — разве можно забыть?.. Присаживайтесь, дорогие гости, присаживайтесь... Горпина Нечипоровна!.. Горпиночна! Це друззя мои, так ты того... сама знаешь... и сала...

С этого момента путешествие наше стало обретать характер новый и непредсказуемый. Через полчаса сильно раскрасневшийся Перебейнос кричал:

— Та вы шо?! Яка така охота?! Яки таки гуси?! Таки гарны хлопчики, та шоб я отпустил вас? Ни! Горпиночка, скажи там внукам или еще кому, шоб навертели гусакам шеи... Скилько? Ну скилько вам надо тих гусей? По три штуки хватит?.. Хватит?.. Горпиночка! Нехай они десять гусей тащат... Кушайте сало, хлопчики.

— Три на три — девять,— исчислил Краузе.

— Ну, девьять. Та еще и по курке в придачу, а? На кой оно вам сдалось: тащиться куда незнамо,

там, мабуть, и хаты неякой немае?.. Берить сало, закусуйте...

Хорошо еще, что Саушкин не пил. Однако гостеприимный хозяин добрался и до него:

— А ты чего не пьешь, хлопчик? Я ведь тоби все равно бензину не дам, так что пей, корреспондент, пей... А вы угощайтесь... Отак и живем — товарищ Саушкин знает: я уже семнадцать рокив район вытягиваю.

— Это точно,— подтвердил Саушкин.— Иногда даже и область...

— Та-а! По зерну план заваливается — к Перебейносу, молока недобор — опьять, кормов нема — сюда же... Та вы кушайте, кушайте, не стесняйтесь... Горпиночка, принеси еще сала. А Горпина Нечипоровна у меня заслуженная учительша — працюе директором...

— А учить женщине не позволяю,— отчеканил вдруг Краузе.

От неожиданности все замерли.

— Дюже мудро,— восхитился Перебейнос.— Дюже! С них таки ж учителя, як с мене балерина.

Краузе внимательно осмотрел фигуру хозяина, словно желая удостовериться, что балерина из Перебейноса — никудышная. На всякий случай поинтересовался:

— А сколько вы весите?

— Та-а... пудов девьять, мабуть... чи десять.

— А рост?

— Кто его знает? В армию призывался — сто шестьдесят пьять було, так то ж когда...

— Когда?

— Та уж с полвеку, мабуть.

— Не получится балерина,— признал Краузе и, тяжело вздохнув, повторил: — А учить женщине не позволяю.

— Дюже умно! — Перебейнос был потрясен.— Який добрый хлопчик.

— Это не мои слова,— сознался Краузе,— это сказал апостол Павел.

— Дюже умно. Горпина Нечипоровна, слыхала такого?.. Ни?.. Ото ж! Они такого не проходют, они ж тильки Павлыка Морозова. Слухай, корреспондент, товарищ Саушкин: оставь мне цього хлопчика, а? Бензину дам — хоть залейся. Такий добрый хлопчик!.. Ты чего умеешь робить?..

— Лесничий он,— отвечал Саушкин, пока Краузе собирался с мыслями.

— Лесничий? В степу?

— Лесопосадки вдоль дорог,— объяснил Саушкин.

— Ну шо ты там маешь?..— полюбопытствовал Перебейнос.— Я буду платить тебе против того вдвое, ты мне тильки мораль читай.

— Под моим руководством высажено шестьсот сорок четыре тысячи различных деревьев и кустарников,— сообщил Краузе.

— Да хай вони, ти кусточки, цветуть и пахнуть! — он решительно отмахнулся.— Кусточки и Горпина Нечипоровна нам посадит. Кто б взял на себя усю эту мораль, усю... як ее... нравственность. Словом, душевность...

— У меня специального образования нет,— скорбно произнес Краузе.

— Ой-ой-ой, делов-то! Учиться пошлем! Где цьому учат?

— Этому, пожалуй, в Загорске,— предположил Саушкин.

— А нам шо? — вскинулся Перебейнос.— Пошлем и в Загорск. Пока я,— он ткнул себя пальцем в грудь,— кормлю область, а не область меня... Эх! Та шо область? Перебейнос усю Европу бы накормил, он бы вам отут бананы вырастил, тильки бы кто-нибудь прийшел людям на пидмогу, тильки бы кто взявсь отвечать им на их душевни потребы... Кто б растолкував, як надо жить, чтобы не обижать дружка дружку, чтобы никто никому не мешал... А то... возьмем, к примеру, колхозы... Слухай, хлопчик, а шо ты можешь сказать насчет колхозов?

— Насчет колхозов? — вяло переспросил Краузе.

— От именно: насчет колхозов.

— А! Вздор: не может худое дерево приносить добрые плоды.

— Та-ак, а насчет Госплана?

— Если слепой ведет слепого — оба упадут в яму,— влепил Краузе, не задумываясь.

— Так-так-так... А насчет...— но не успел он договорить, как грянул ответ:

— Если это дело от человеков, оно разрушится.

— Ото ж и я думаю,— горестно кивнул Перебейнос,— но в чем же тогда искать опору?

Краузе забормотал что-то, похожее на песню, да вдруг как взревет:

— По-бе-ды на су-про-тив-ны-е да-ру-я-а-а-а!..

— А-а-а! — могучим басом присоединился хозяин и ударил кулаком по столу.

Как ни умолял, ни упрашивал нас плачущий Перебейнос, Краузе мы ему не оставили.

— Он нам самим нужен,— завершил разговор Саушкин.

— Понимаю,— легко согласился хозяин.— Як не понять?.. Но — жалко. Я бы ему и хатку дал, и скучно бы ему тут не было — у меня тут и немци е... Кого тильки у меня нет — всякие нации.— Он вытер слезы.— Есть еще така нация, у которой и названия нема — один матерный язык понимают. От через них-то, скоришь всего, я ридну мову и подзабув: добри слова десь хоронятся, а пакость всякая так и прет, так и прет,— и, внезапно озаботившись, поинтересовался: — Не видели по дороге — боронуют где-нибудь?

— Не обратил внимания,— отвечал Саушкин. Я вспомнил, что где-то попадались нам работающие трактора, а Краузе ровным голосом сообщил:

— Два трактора вели боронование на сто двенадцатом километре справа от шоссе...

— Колхоз «Заря»,— определил хозяин.

— И один — на триста тридцать девятом — тоже справа.

— Это — «Восход», та-ак,— он задумался было о своем, но, вскинув восхищенные глаза на Краузе, снова всхлипнул:— Это ж надо!.. Углядел, запомнил — такий хлопчик... Та шо ж вы сало не кушаете?

— Кушаемо,— возразил Краузе.

Потом мы долго тряслись по проселку. Так долго, что почти весь хмель из нас выбило.

— Куда это тебя занесло? — спросил Саушкин.

— Не занесло,— сказал Краузе.— Просто мне хотелось сказать о самом важном,— и замолчал. Похоже, однако, что остатки давешней красноречивости в нем еще сохранялись: недолго помолчав, он приступил к разъяснению:

— Среди моих предков были люди разных профессий, но каждый из них делал работу, которую считал главной для русской земли — это закон нашей фамилии, нашего рода. Уже двести четырнадцать лет. Отец мой отдал меня в Лесотехническую академию, потому что считал профессию лесничего перспективно самой необхо-

димой. Он говорил. мы та́к вырубаем лес, что скоро не останется кислорода.

— Он был прав,— оценил Саушкин.— Экология сегодня...

— Он был не прав,— перебил Краузе,— он ошибся: самые важные проблемы сегодня — другие.

— Что ты имеешь в виду? — обернулся Саушкин.

— Через тридцать метров канава...— И мы чуть было не влетели в канаву, вырытую поперек.

— А это еще зачем? — прошептал Саушкин в бессильном недоумении.

— Раньше дорогу тут размывало — помнишь, какая грязь была?

— Ну и что, что грязь? Проползали ведь?

— А то, что каждый год приходилось подсыпать полотно. А теперь они сбросят воду через канаву, засыплют ее — и всё: целесообразно.

— Дак ведь проехать нельзя!

— Нельзя,— заключил Краузе.— Ширина — два метра, глубина — тоже два метра, причем один метр — вода.

— Ну уж нет,— рассердился Саушкин.— Так дело не пойдет,— и задумался.— Поглядите-ка! Где-то нам щиты попадались? Эти — для снегозадержания...

— Километрах в трех. Нет, в четырех отсюда. Но из них ничего не сделаешь, да потом — скоро уж темно станет.

— Попробуем...

Мы привезли два щита, положили их один на другой через канаву, поразбросали нарытую экскаватором землю, чтобы машина могла въехать на мост, а если выпадет фарт, то заодно же и съехать. Краузе походил по щитам и остался недоволен:

— Прочность этого моста не рассчитана на массу этого автомобиля.

— Я и сам знаю,— сказал Саушкин.

— Мой отец не дал бы здесь никаких гарантий.

— Я тоже никаких гарантий дать не могу.

— Зачем же ты собираешься ехать?

— А что мне,— взорвался Саушкин,— у канавы и куковать? Я сюда на хрена за четыреста километров перся?..

— Четыреста тридцать два.

— Гуси будут где-то, а я буду торчать здесь? Или

обратно поедем, к Перебейносу? За домашними гусаками и курками?! Тоже мне, «добрый хлопчик»... Рассчитана — не рассчитана... Хрен ли с того, что не рассчитана? Ехать надо? Надо! Ну вот...

— Одно условие: дай мне аптечку.

— Да на, возьми... погоди, а где она есть-то? Может, у меня ее и нету?.. А! Вот она, держи! — Он захлопнул дверь, машина подпрыгнула, рванулась — замерла она уже на другой стороне. Мы с трудом перебрались по деревянным обломкам.

— Сколько осталось? — осведомился Саушкин.

— Шесть с половиной километров.

Дальше ехали при свете фар. В каком-то месте свернули с проселка в степь, протащились сколько-то без дороги, наконец Краузе сказал: «Здесь стоп». Саушкин остановил машину, выключил двигатель, откинулся к спинке сиденья и тихо так попросил:

— Мужики, налейте там чего-нибудь, а то ведь не усну — так и буду руками дергать да ногами на педали давить.

Потом мы расстелили палатку, бросили на нее спальные мешки, залезли в них и мгновенно уснули.

— Три часа четыре минуты,— разбудил нас Краузе все в той же кромешной тьме.

— Так мы — чего,— не разобрал Саушкин,— ложимся или встаем?

— Конечно, встаем! — удивился Краузе.— Ложились мы в ноль часов четыре минуты.

— Обалдеть можно, сколько спали,— вздохнул Саушкин.— Всё спим, спим... Эх, Краузе, ошибся в тебе товарищ Перебейнос, ох как ошибся! — Саушкин протяжно зевнул.— Ну какой из тебя проповедник? Ты ведь умные слова городить можешь только «на кочерге». А закалки у тебя под это дело соответствующей нет... Сколько ты вчера влудил: стакан, два?

— Не помню,— без интереса отвечал Краузе.

— Ну вот, всю свою арифметику сразу и позабыл. А я тебе скажу: раздавили вы два пузыря на троих, литруху то есть. Стало быть, по триста тридцать три грамма — и ты уже песни орать. Ну какой из тебя после этого...

— Тсс...

— Что «тсс»?

— Тсс...

— Да что «тсс»?!

— Гуси...

Я затаил дыхание: донесся издалека хрипловатый гогот гусиной стаи.

— Так ничего же не видно,— изумился Саушкин, повертев головой.— На кой ты нас разбудил-то?

— Через восемь минут начнет светать,— сказал Краузе, и мы выскочили из спальных мешков.

В ТУМАНЕ



Утром пароход «Керчь» стал в тумане. Набрав последний раз воздуху, машины тяжело, с сипением выдохнули и замолчали. Час был ранний, пассажиры спали еще, и только старик по обыкновению сидел на корме в провисшем шезлонге. Он просидел так всю ночь. Ночью по реке пахло сеном, у деревень — навозом. В деревнях горели электрические огни, ползли по воде дорожки света, и гигантские тени деревьев, возникая в них, ветвями касались борта. Потом запахло сыростью, запахло болотом, потянулась мгла, все густела, и пароход в тумане увяз.

Старику стало холодно, однако он не спешил в каюту, зная, что долго еще не уснет, будет ворочаться и мешать соседу.

Негромким простуженным голосом скомандовали на мостике. От чужой хрипоты старик закашлялся. Донеслись снизу металлически дребезжащие шаги, скрипнула якорная лебедка, и, захлебываясь в астматическом приступе, захрипела ржавая цепь. Старик, не удержавшись, снова откашлялся и сообразил, что в этом переувлажненном воздухе звуки сами простужаются, сами хрипнут.

Якорь бросили потому, что течение, хоть и слабое, сносило судно. Старик понял это, когда прямо перед собой увидел невысокий, темнеющий берег. Берег то исчезал, то открывался в тумане, но был совсем рядом. Наконец плоскодонный пароходишко вовсе прибился к берегу — только узкая полоска воды осталась шуршать.

Старик продрог. Подняв воротник грубого черного плаща, он обхватил себя руками и сжался, скрючился сколько возможно, чтобы сердцу не так далеко было посылать кровь. По времени пора уже было взойти солнцу, и, наверное, оно где-то взошло, но в какой стороне? — туман оставался плотен и неколебим.

Потом на берегу возник человек. Настолько неожидан-

но — словно из ничего. Старик даже вздрогнул. Человек в очевидной задумчивости постоял над водой, разглядел пароход, изумленно выругался и исчез. «Охотник,— сообразил старик,— заплутал»,— и улыбнулся, отчего стало ему теплее.

Донеслось издалека стрекотанье мотора, и долго невозможно было понять: приближается оно или уходит — неуверенно и осторожно суденышко бродило в тумане. Но подошло, нечаянно приблизилось к пароходу: казенный серый катерок-буксирчик. Парень, выбравшись из кабины, бросил на нижнюю палубу веревку с глухой петлей на конце. Кто-то — старик не видел, должно, матрос — подтянул катер и закрепил веревку.

— Куда собрался-то?

— Да на ферму, за молоком,— вздохнул парень,— а тут — незнамо что.

— Ну, у вас это частенько.

— Болота...

Потянулся у них разговор, а старик разглядывал сверху парня, который сидел на крыше кабины, расстегнув ворот рубахи и закатав рукава. В разговоре парень перехватил его взгляд и посмотрел недолго на старика. Тому вдруг стало совестно своего жалкого вида. Он распрямился, встал, сунул руки в карманы и небрежной походкой, как в молодости, когда спина была легкой, прошелся по палубе. Захотелось даже в воду сплюнуть. Но не решился. Свернул с палубы в коридор, пахнущий комфортом ковров и лакированного дерева, заглянул в каюту: сосед спал на верхней полке, и его огромный, обтянутый белой майкой живот при вдохе вздымался над каютой и грозил обрушиться, как штормовая волна. Закрыв дверь, старик нерешительно прошелся по коридору и спустился вниз. Четвертый класс дышал портянками и носками. Нагретый машиной воздух содрогался от храпа. На полках и на полу, на мешках и на ящиках, сидя, лежа, в самых неудобных позах спали люди.

У дверей машинного отделения старика схватила за руку девочка-цыганка лет пяти. Ночью старик видел и слышал, как на какой-то маленькой пристани цыгане с гомоном и суетой штурмовали трап парохода.

— Пайдем, пагадаю.

— Красивая,— улыбнулся старик.— А как же зовут тебя?

— Малюта,— отвечала маленькая цыганка.— Пайдем!

На шее и на руках звенели мониста, сделанные из просверленных гривенников.

— Ты что же, и гадать умеешь? — ласково спросил старик, не трогаясь с места, но и не отнимая руки.

— Я не умею, мамка умеет, пайдем! — дернула старика за руку, он повиновался.

Цыгане со своим скарбом сидели у выхода на нижнюю палубу — должно, недалеко было ехать. Как только Малюта подвела старика, одна из цыганок — «мамка», наверное,— оторвала от груди младенца, бросила его кому-то и, не успев застегнуть кофту, обратилась к старику: «Иди сюда, дарагой, иди, пагадаю!» Крупный бородатый мужчина лет пятидесяти, стоявший на палубе, мигом обернулся, прищурил глаза, сказал что-то непонятное, и женщина взяла младенца обратно. Старик растерялся.

— Не волнуйся, отец! — Цыган приветливо вскинул руку,— по-видимому, он был у них старшим — и назидательно обратился к женщине: — Что ты ему расскажешь? Ну что?.. Что он скоро умрет? Это он и без тебя знает.

Женщина не поднимала глаз.

— Про детей, про внуков,— решительно предположил кто-то из молодых. Старший покачал головой:

— Эх, ты, цыган... Нет у него ни детей, ни внуков.

Старик согласно кивнул и посмотрел на бородатого с настороженным удивлением. Тот щелкнул пальцами:

— Спой лучше, Малюта.— Малюта потащила старика на палубу. Там тоже сидели несколько человек. Все они готовились сойти на какой-то пристани, но час их прошел, пароход стоял неизвестно где, и люди ждали и томились.

Малюта тихо запела. Пела она как будто для себя. Самозабвенно предаваясь грустной цыганской песне, девочка смотрела в туман. Подчиняясь то ли ее взгляду, то ли самой песне, бородатый тоже смотрел в невидимую сейчас даль. Что было там? Старик заметил вдруг движение в тумане. Туман расслаивался, шевелились маленькие облачка, и чистый детский голос дальше, дальше улетал куда-то между ними. Малюта замолчала, звук бежал, бежал... Потом все расплылось, старик руками долго тер глаза.

Подошла женщина с ярко накрашенными губами и,

сняв с пальца дешевенький перстенечек с лиловым стеклышком, подарила Малюте. Девочка, сжав перстенек в кулачке, убежала, женщина вернулась к своим узлам и принялась, отчаянно жестикулируя, рассказывать что-то мужу. Старик не слышал их разговора: песня все звучала вдали. «Хорошо. Красиво»,— сказал старик, продолжая прислушиваться к песне. На него не обратили внимания. «Глухонемые»,— пояснил бородатый цыган. «Как?!» — изумился старик, но цыган заметил в таборе что-то, требующее его присутствия, и исчез. «Как же?» — спросил старик и растерянно, ища объяснения, посмотрел на женщину. Она вдруг улыбнулась — старик увидел, что зубы и кончик непрестанно двигающегося языка вымазаны помадой,— несколько раз приветливо и согласно кивнула, и он понял, что да, так оно и есть: женщина глухонемая, а песня красивая, и, успокоенный, ушел, согревшись трогательностью своего объяснения.

Пробираясь нижней палубой сквозь туман, столкнулся с казенным катером. Матроса не было. Парень все так же вольно сидел на крыше, покуривая сигарету. Старик смутился встрече с забытым катером, горько вздохнул, косо взглянул на воду — у катера покачивалось радужное пятно мазута,— распрямился и поднял голову: парень почему-то вызывал в старике чувство соперничества.

Обойдя судно с кормы, вышел на борт, обращенный к берегу. Дверь кухни была открыта. Пахло рыбой. Сухощавый седенький повар суетился, привинчивая мясорубку.

— Здрасьте,— поклонился старик.

Повар, вскинув голову, посмотрел сквозь старинные в золотой проволочке-оправе очки и кивнул.

— Давайте помогу.

— Займитесь,— легко согласился повар,— я пока рыбку достану.

Сняв плащ, старик вымыл руки, нацепил фартук и занялся. За окном висела мутная хмарь, а здесь горело электричество, потрескивала печь, и было похоже не на рассвет, а скорее на зимний уютный вечер. Крутили они котлеты и рассуждали о кулинарии.

— Пока был женат,— рассказывал повар,— ни разу толком и не поел — на всю жизнь худосочным остался. То, понимаешь, вареная луковица в супу, как медуза, болтается, то сало, то дробленый мосол...

— А я процеживаю!

— Конечно!.. А то с работы придешь, я на лесопилке работал, едва на ногах держишься, а она — жареного леща! Разве можно?! Лещ, ведь он для будней чересчур костляв!

— А я, знаешь, что делаю? — старик поделился опытом.— Весь погреб забиваю банками с резаным чесноком, петрушкой, укропом, помидорной мякотью. Все засолено — и до весны хватает!

— Такое я слышал, это здорово. Это ты мне обязательно расскажи, как делать. Здорово... А бабам, им можно доверять только простые блюда, например, ну... картошку сварить.

— Или готовые котлеты пожарить.

— Ну! — радостно согласился повар. Оба замолчали, довольные обнаружившимся родством.

— Они даже чайник всегда ставят носиком к себе! — возмутился старик.— А это нехорошо, это против всех правил техники безопасности!

Повар задумался: «Да... верно, носиком к себе».

— Вот,— подхватил старик,— а ты как ставишь?

— Не упомню,— смутился повар.

— От себя! — воскликнул старик, указывая на плиту.— Вот! Чайник поставлен твоей рукой, я специально внимание обратил! А иначе ты и никогда не поставишь!

— Конечно,— признал повар со снисходительною небрежностью.

Еще помолчали.

— Однако жалкий мы народ — холостяки,— горестно и твердо сказал вдруг старик.

Повар, не поднимая глаз, кивнул, словно и сам успел подумать об этом. Расстались, поддержав друг друга улыбками, искренними оттого, что нашли общее и хорошо обоим понятное.

Старик поднялся к себе. Ухал от холодной воды, плескаясь над умывальником, сосед.

— Доброе утро.

— А-а!.. Монастырь не проехали?

— Нет.

— Бррр... Опять всю ночь колобродил?

— Да, не спал.

— Где ж эт тебя носило?

— Гулял,— пожал плечами старик, повесил плащ сел, откинувшись к спинке дивана.

— Ну даешь! Чего же сейчас гулять? Я, понимаешь, проснулся, тер, тер стекло — думал, что запотело, оказывается, с той стороны туман? А-а! До чего холодная, стерва!

— Туман,— подтвердил старик.

— То-то... Поди, все еще спят?

— Нет, уже много времени.

— И чего — люди есть? У-ух-ха-ха!

— Конечно.

— Кому ж это, кроме тебя, не спится? — Он плескал воду за спину, вода стекала, и на полу образовалась лужа.

— Кому, кому? У некоторых рабочий день начался, другие ждут своих пристаней — мало ли что у кого? Цыгане... Девочка одна, Малюта, так хорошо пела! До того здорово, что, представляете, женщина глухонемая — и та почувствовала... Колечко ей подарила.

— Иди ты? Серьезно?

Старик рассказал про цыган, про то, как готовил котлеты с поваром, рассказал коротко, стараясь не выдавать своего отношения, но сосед угадал. Глядя на старика, он приходил все в большее недоумение и даже обтереться забыл.

— Ты что, отец, первый день живешь?

— Почему? — не понял старик.

— Экий ты малахольный,— пожалел сосед и вспомнил о полотенце: — У-ух, хорошо!.. Конечно, работа у тебя соответственная: стрелочник или как?.. Обходчик. Живешь, понимаешь, в лесу и, окромя своих рельс, ни хрена в жизни не видишь.— Он докрасна натер руки и принялся за лицо, огромное, круглое.

— Почему? У нас станция, узловая, народу много

— А чего ж ты тогда в людях не разбираешься? Бросил на диван полотенце.— «Цыган», «цыган», «гадать запретил»... Куда ж я рубаху-то подевал? На ивный ты человек!

— Почему? — растерялся старик.

— Почему, почему?.. Рубашку мою не видел?.. Это ж специально, разжалобить чтоб, тонкий подход, понял? Надеялись из тебя побольше выжать. Из глухонемой кольцо выжали?.. А! Вот рубашка-то! В шкафу, понимаешь! А я ищу... И глухонемая твоя,— с вешалки

снял рубашку,— ни хрена, понимаешь, не глухонемая, а ты восторгаешься: не слышит, мол, а красоту чувствует... Воротник грязный... Постирать или не надо?.. Ладно!.. Слышит, говорю, может, и не сильно, но наверняка слышит, понятно?

— Но почему вы так думаете? — обиделся на него старик.

— Да что ты, как маленький! «Почему, почему?» Потому что!.. Повар, понимаете ли, ему понравился Хищник ведь он, хищник! «Котлеты делали»! А зачем просто так рыбу не жарили? Кулинария? Чтобы вкуснее? «Палтус с треской»?.. Да чтоб выжать побольше — не понимаешь? Небось центнер хлеба на десять котлет . Да не мотай головой, знаю я!— И нацепил рубашку — Знаю я их! Ладно, старый, держись веселей, не обижайся Ресторан, что ль, открыли? Пойдем позавтракаем, опохмелимся маленько. Ты не грусти — жизнь понимать надо. Не грусти, сейчас в этот придем... где монастырь Не грусти. Сходим вместе, сфотографируемся на память, монастырь, между прочим, исторический — в путеводителе прочитал.— И, застегнувшись и осмотрев себя, на миг задумался: — Шестнадцатый, что ль, век или четырнадцатый... не помню. Держись, отец! — И вышел

С трудом поднявшись, старик перешагнул лужу, взял плащ и, волоча его, пошел по коридору. Появились проснувшиеся пассажиры, но старик, не замечая никого, все брел и бесконечно брел по коридорам, палубам, по лестницам

За стеклами машинного отделения шла работа. Сжигая топливо, гудел паровой котел. Тяжело вздыхая, шагали поршни. Жарко пахло мазутом и маслом. Выйдя из забытья, словно проснувшись, старик долго смотрел, удивляясь, что можно вот так, стоя на месте, наблюдать машину в работе. Паровоз, хоть и устроен похоже, но только пустит машину в ход — и уехал, и не видно его, а здесь — можно смотреть. «Хорошо,— оценил старик.— А что ж это они пустили машину?»

Поднявшись наверх, он обнаружил, что туман начал рассеиваться. Казенный катер отчалил, дал ход. Парень, высунувшись из рубки, медленно вел его вдоль пароходного борта. Поравнявшись со стариком, свистнул и весело подмигнул. Старик ответил ему улыбкой и с улыбкой посмотрел вслед. Скомандовали убрать якорь. Ни дре-

безжания, ни хрипа не было теперь в голосе. Бархатно загудела лебедка, с дробным лязганьем поднялась цепь. Склянки отбили поднятие якоря. Плеснула из-под колес вода.

Перекинув плащ на руку, старик прошел вперед. Постучали в стекло — обернулся: за окном ресторана жевал сосед и приглашал к соучастию. Старик покачал головой, с любопытством посмотрел на соседа, хмыкнул и вдруг рассмеялся,— тот удивленно перестал жевать. «А ну тебя!» — сказал старик.

По бурунам у форштевня заметно было, как пароход набирает скорость.

Внезапно яростный луч прорезал воздух, и, словно в прорву, хлынул на землю солнечный свет.

Отчаявшийся пробраться к своему какому-нибудь заветно-непроходимому болоту, охотник сидел на мокром берегу, свесив ноги, и безучастным взглядом провожал пароход. Старик развел руками, мол, не вышло? Охотник тем же жестом ответил: «Ничего не поделаешь»,— и усмехнулся и кивнул.

Туман начал таять, стекать в низины, в воду и скоро исчез.



ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

чего вдруг он сказал мне, что Козырев застрелил Databродеева — не понимаю: сказано это было совершенно неожиданно и без всякой видимой связи с предыдущими моими словами.

В тот день мы гоняли зайца. Попался дошлый, иначе — «профессор»: не дав ни единого круга, набил прямых троп, умотал-запутал собак да и нас с Шеногиным, а между тем чувствовалось, что он где-то близко, рядом совсем. Когда наконец собаки, досадливо взвизгивая, в третий раз пронеслись через просеку по своему следу, я сдался: «Не послушались Козырева...» Шеногин кивнул.

Козырев не хотел набрасывать собак на этот малик и уговаривал отойти от поселка подальше. «Братцы,— предупреждал он,— это «профессор», его еще дедушка мой гонял. Вы что, братцы? Да он тут не то что каждый куст — каждого охотника, каждую собаку в лицо и по имени знает!»

Мы действительно совсем немного прошли — оранжевые окна просыпающегося поселка светились совсем еще неподалеку, а лес лишь начинал угадываться впереди. Но не утерпели: Шеногин спустил Лоботряса, а Козырев, осуждающе покачав головой, отвязал бечевку от ошейника Найды, но сказал, что дело — пустое и что он, пока мы тут будем маяться, пойдет тихонечко по дороге.

И вот уже рассвело. Начался дождь, вчерашний снег стал быстро таять. Мы стояли у опоры высоковольтки на просеке, спускавшейся к полю, к домам. Окна погасли, но явственной чернотой сияли теперь сами намокшие избы. Возле крайней, среди пятен снега, бродили в грязи рыжие куры.

– Да,— вздохнул Шеногин.— Надо снимать собак.

Направились по просеке вверх, туда, где она пересекалась с дорогой и где, вероятно, ждал нас Козы-

рев, и тут же заметили самого «профессора», заметили его мягкий, спокойный прыжок с просеки в чащу. Похоже было, что заяц давно сидел здесь и, возможно, не без интереса наблюдал за ходом мероприятия.

— Однако здоров! — воскликнул Шеногин.— Как кабан!

И я почему-то легко с ним согласился, хотя до той минуты уверенно полагал, что зайцев с кабана не бывает.

Мы было испугались, что собаки снова погонят его, но, к счастью, донесся сигнал охотничьего рожка — терпение Козырева лопнуло, и он позвал всех к себе.

Тут, кажется, я сказал что-то уважительное о семидесятилетнем Козыреве, который, судя по звукам сигнала, упилил незнамо куда, и Шеногин со странным, судорожным смешком произнес:

— Еще бы! Силен мужик! Самого Добродеева завалил... Собственноручно.— Потом, словно вспомнив что-то, без чего никак было нельзя, добавил: — Дезертира, во время войны...

Не понимая, с чего вдруг понадобилось поминать Добродеева, я ждал продолжения разговора, но Шеногин, кажется, расценивал мое молчание как растерянность перед неизвестным мне фактом и в свою очередь ждал расспросов.

А историю с Добродеевым я знал. Козырев рассказывал мне, как однажды во время войны попал домой: ездили на Урал не то за каким-то оборудованием, не то за вооружением — точно не помню, знаю только, что служил Козырев в артиллерии,— по дороге туда командир отпустил его, а через четыре дня эшелон проходил обратно.

Добрался домой. Всё в порядке: дети живы, здоровы, жена ждет. Ночью вызвали в НКВД. Думал: выяснять, на каком основании домой заявился, но нет. Начальник — капитан-фронтовик лежит на диване и не встает. Извинился: что-то у него после ранения не то с ногами, не то с позвоночником. «Я,— говорит,— все понимаю: жена, дети. Но,— говорит,— выручай: на мне дезертир висит. Знаем, что скрывается в своей деревне, а взять не можем — некому брать». Их там всего двое было — офицер этот да еще пацан, который за Козыревым прибегал, а у того пацана рука скрюченная, он ни на какое дело не годится — так: «сходи», «позови»...

Ну, значит, и поручает капитан Козыреву — а Козырев лейтенантом был — взять дезертира. Как не выполнить приказание? Могли бы ведь за здорово живешь и самому дезертирство пришить — домой-то попал не официально. Повозражал было лейтенант, повозмущался беспорядком, а капитан объяснил, что все на фронте, что в других местах хоть раненых офицеров сколь надо дают, а тут и госпиталя нет, так что жди-дожидайся.

Деваться некуда: пошел Козырев. А капитан ему в дорогу винтовку навялил. «Пистолет,— сказал он,— одно баловство, а трехлинейка: увидел — прицелился, прицелился — попал, попал — убил». Весна была. Снег еще глубокий лежал, а под снегом — вода. Взмок лейтенант и промок. Вышел на поле: деревенька — дворов десять — двенадцать, аккуратненькая, вся огороженная, в четыре стороны света ворота, два «журавля», дров навалом, трубы дымят. Подошел к крайней баньке — банька топилась — и сел на лавочку отдышаться. Вываливается голый мужик: грузный, борода совковой лопатой. Ухнул, ахнул — и в снег. Снег тает — тонет мужик, «пар над ним, как из полыньи»,— вспоминал Козырев.

Встал, покряхтел и спрашивает: «За дезертирами, что ль?» — и снова в баню. Козырев прислушался и определил, что парится мужик в одиночестве, а значит, никакой опасности в его действиях нет: просто ему либо судьба Добродеева до фени, либо уж так хорошо, что на все остальное наплевать.

Он уж было собрался зайти расспросить о дезертире, как вдруг из-за домов выбежал человек и, проваливаясь в сугробах, стал уходить к лесу. Козырев закричал, призывая остановиться, но тот в ответ саданул из ружья, и ход событий сделался необратимым. «Ну шел бы себе и шел, дубарь,— сердился Козырев, вспоминая.— Я знаю, кто это? Я устал, да и гоняться — времени не было. Так нет же: стрелять начал, дурак! Ну, я не выдержал и тоже в ответ — по ногам ведь не попадешь...» Да, такая еще деталь: Козырев перебежал к углу соседнего дома — стрелять оттуда, вероятно, было удобнее, прицелился и — это запомнилось ему навсегда—почувствовал чей-то взгляд. Поднял голову, а в окошке девчоночка белобрысенькая. Он погрозился, отогнал ее от окна, снова вложил приклад в плечо — парень вот-вот должен был скрыться в ельнике. Однако насчет винтовки пехотный капитан оказался прав...

Тут выскочила из какой-то избы женщина, закричала: «Па-а-ша-а!» Козырев понял, что убит действительно Добродеев Павел Иванович, девятнадцати лет от роду, и что эта женщина убитому — мать. Парившийся мужик сходил к трупу за документами. Подробностей я не выяснял, но, надо думать, мужик предварительно облачился, иначе весь рассказ приобрел бы совсем иную окраску.

В тот же вечер Козырев сдал винтовку и отобранные документы раненому капитану.

Я, конечно, понимал, что у Шеногина, как у жителя здешнего, могло быть свое, сложное отношение к поступку Козырева — мало ли что связывало Шеногина с Добродеевым? Может, они вместе работали или на рыбалку ходили? Вот об этом я и размышлял, шагая под толстыми проводами высоковольтки.

И тут где-то впереди погнал Лоботряс. По его радостному лаю мы сразу же определили, что заяц — не опостылевший зануда «профессор», а свежий, другой. Гон удалялся вправо, и Шеногин тотчас свернул, должно, зная лаз, к которому мог выйти кружной путь зайца. А я побежал туда, где Лоботряс поднял косого. Вскоре к мощному, монотонному буханью гончака присоединился заполошный, пронзительный голос Найды, и дело пошло веселее. Лоботряс зачастил, раздался выстрел, потом второй, прокричал что-то Шеногин: наверное, «готов» или «дошел»,— и голоса собак смолкли. Закинув ружье за плечо, я отправился дальше.

Возле самой дороги, в лесочке, Козырев развел костер и кипятил воду для чая. Устраиваясь на вывороченной лесине позавтракать, мы гадали, взял ли Шеногин косого и почему не идет. Потрубили еще. Кажется, кто-то вдалеке отозвался.

— Куда же собак-то занесло? — дивился Козырев.— Обычно время от времени показываются, а тут... Не за лосями ли уперлись? Жди тогда...

Отогревшись чаем, мы подразомлели и предались любимейшему занятию всех охотников — травле баек. В этом виде народного творчества меня всегда поражало полное соответствие вещательных свойств тому или иному виду охоты.

Скажем, охота облавная, в которой преобладает сухое организационное начало и которая чаще всего заканчивается одним-двумя выстрелами. Про такую охоту рассказывают голосом ровным, скупо. А если рассказчик ожив-

ляется, то лишь в том месте, где нормальное течение событий нарушилось: раненый зверь пошел на загонщиков, или попытался проскочить между загонщиками и стрелками, или последовало несколько промахов подряд, или, наконец, произошло что-то еще более невероятное.

О тетеревиных и глухариных токах повествуют негромко, словно боятся вспугнуть токующих петухов. Причем, если об охоте на глухаря, где хоть помалу, а передвигаться приходится, рассказывают с жестикуляцией, то о тетеревах практически без нее — охотник сидит в шалашике, почти не шевелясь.

При воспоминании об охоте с гончими глаза у охотников дружно вспыхивают шальным пламенем. И если о том, как гончак поднял зайца, как бежали, распределяя на ходу, кому где встать, рассказывается громко, то о последующих событиях: об ожидании, вслушивании в музыку гона — говорится шепотом — так держался рассказчик и на охоте.

Зато уж тяга вальдшнепов! Угасание дня, закат, затихание леса... Тут будут сплошные «ах!», «бах!». Даже когда ни одного патрона не высадил — все равно «ах!». А уж если весь патронташ расстрелял, будет ахать потом, покуда не захлебнется,— такая охота.

Наговорившись до жаркого сердцебиения, мы разом умолкли и вмиг вернулись к действительности момента: не было ни Шеногина, ни собак, а между тем уже половина короткого дня перетекла в прошлое.

Козырев снова протрубил в рог, я пару раз выстрелил — никто не отозвался. Старик начал ругать Лоботряса, который, «если не хочет гонять, всю охоту споганит», я кивал, соглашаясь, что Лоботряс — себе на уме. С другой стороны, мы знали: каким же ему быть, когда первый хозяин помер, а второй на стройку завербовался? За Шеногиным пес только числился, а жил вольно — как его волки не съели: то он на сплаврейде в тридцати километрах, то на железнодорожной станции в пятидесяти. Любил Лоботряс самостоятельно погонять зверя, но как только начинался охотничий сезон, примыкал к людям. Если он был в ударе, «музыка» весь день гремела в лесу, прерываясь лишь выстрелами, но если охотиться не желал, мог спрятаться, незамеченным прошататься за охотниками или вовсе уйти, да при этом, случалось, и других собак с панталыку сбивал. А уж Найда, верная подруга Найда, подчинялась ему беспрекос-

ловно. Была некогда у него своя профессиональная кличка: Догоняй, Заливай или какая-нибудь иная гончаковая, но — забылась, сменившись на оскорбительное хотя и шутливое прозвище.

— Шеногин этот и сам темнила, что твой Лоботряс! — не унимался старик.

И я вспомнил:

— А что, он Добродееву, ну, тому... родственник, что ли? Или приятель?

Тут мой напарник — осанистый, гренадерской комплекции старикан, с лица которого никогда не сходила снисходительная полуулыбка,— вздернул вдруг седые брови:

— А что? — И взгляд его сделался растерянно-глуповатым.

Я объяснил, что ничего особенного: Шеногин, мол, сказал то-то и то-то, а остальное — лишь домысливание мое. Брови поопустились.

— Это хорошо. Мандражирует, значит.

— А в чем дело? — не понял я.

— Ты извини...

— Да ладно, ладно, не надо! — мне стало совестно за мое праздное любопытство.

— Ты только Шеногину не говори...

— Пожалуйста, простите меня!

Он тяжело вздохнул, огляделся — для того единственно, чтобы я не видел его глаз, и тоскливо сказал:

— Понимаешь,— снова засомневался,— раз уж ты вроде как приобщен...

Я поспешил отказаться и на шутливой этой ноте готов был завершить разговор.

— Ну вроде как,— повторил Козырев серьезно.— Да все равно: если я раньше его помру, надо ведь...— Он явно убеждал себя в необходимости открыться. Я молчал, не зная, что и делать теперь. И тут Козырев почти выкрикнул: «Это Шеногин ранил меня!»

— Когда ранил? — в моем сознании сообщение Козырева ни к чему не привязывалось.

— Да когда я после Добродеева возвращался. Добродеев не попал, а он на выходе из леса шмальнул — в плечо-то и ранил! — взволнованно объяснил старик.— Из пистолета стрелял... Но мне никак нельзя было говорить об этом капитану — он знал только о Добродееве, а в этаком разе запросто мог отправить меня за вторым. А у меня до поезда всего полтора суток остава-

лось! Я бы не то что к семье, я бы и в часть не попал, наверное,— капитану-то на меня начхать, ему свои дела делать надо, ну!.. Умолчал, словом. Да и в дивизионе потом скрывать приходилось. Конечно, я тогда ни о каком Шеногине и не подозревал, думал, что кто-то из деревенских.

— Но откуда Шеногин там оказался? Да погодите!.. Ему ж тогда было... Он ведь не то двадцать девятого, не то тридцатого года, правильно? Ему же тогда было лет двенадцать — четырнадцать!

Задерживаясь с ответом, старик терпеливо позволил мне совершенно оторопеть, потом ухватил пуговицу моей фуфайки и величественно произнес: «А дело в том»,— и что-то еще, но я вдруг перестал его слышать.

— Найда! — прошептал я, и Козырев замер.

Где-то далеко, почти сходя со слуха, гоняла Найда. Сдерживая дыхание, мы пытались определить направление гона. Козырев отпустил пуговицу и, упреждая события, показал движением руки, что заяц выскочит на дорогу и пойдет к нам. Я погрозил пальцем: мол, не сглазить бы. Ударил бас гончака, и стало ясно, что старик прав.

— Скорее туда! — указал он.— Там болотце, наверняка по краю пойдет! — И уже вслед мне: — Я останусь здесь, у дороги!

Какая «музыка»! У Лоботряса — набат, у Найды — малиновый колокольчик. Конечно, если бы Лоботрясу добавить чуть бархатистости, а Найде — певучести, тогда б... Но в наше время выбирать не приходится — лишь бы тявкали да в нужную сторону по следу бежали. А тут все-таки — натуральный дуэт. И дело не только в эмоциях, но и в сообразности: у Лоботряса, если употреблять техническую терминологию, низкочастотный голос, у Найды, напротив,— высоких частот. И оттого сквозь любые помехи: скрип снега, шелест ветра в деревьях, сквозь собственное дыхание охотников, стук сердца, шум крови в висках — какой-то из голосов непременно да прорывается.

Я отыскал болотце, определил наиболее удобный с заячьей точки зрения лаз и, став за ствол старой ели, изготовился к выстрелу.

Заяц не очень спешил. Сначала я услышал его прыжки — легкие прикосновения к тонкому слою снега (здесь, в спелом лесу, снега на землю просыпалось совсем ма-

ло, но он зато и не растаял почти). Потом в прогале среди лесного подроста появился и сам белячок. Замер. Ворочая ушами, прикинул расстояние до собак, чтобы не прозевать момент для новой петли или какого-то иного фокуса, на разгадывание которого преследователи затратят силы и время. Запрыгнул на поваленную березу, смял корочку влажного снега, оттолкнулся...

Когда через минуту, клубя паром, к ногам моим подлетели гонцы, я дал им по пазанку — по задней лапке. Найда дробила кость жадно, быстро и при этом не спускала с притороченного зверушки мстительных глаз. Лоботряс же взял пазанок нехотя, словно лишь для того, чтобы соблюсти порядок, традицию. Выронил, ткнулся носом в грязноватую, истоптанную заячью подошву, и в сей же миг гостинец без видимых манипуляций исчез.

Повернули к дороге. Найда радостно побежала вперед, а Лоботряс не то устало, не то в задумчивости поплелся рядом со мной. Я заметил, что левая передняя лапа у него кровоточила, и поинтересовался: «Что с ногой-то?» Не взглядывая на меня, он подал лапу: коготь был вывернут. «Ну ты хоть зализал бы, что ли?» Он лизнул раз и побрел дальше.

Он, конечно, был из тех замечательных псов, которые «всё понимают, только что не говорят по-нашему». Случалось, мужики шутки ради бросят ему газетину, мол, читай. Он лапами порасправит, пригнется и начинает мордой туда-сюда возить, да еще и подвывает при этом. Мужикам смех, а Лоботряс обижается: он ведь старался, как люди... А потом, кто ж его разберет: может, он и впрямь понимает, что там написано?..

Вышли из леса. Козырев с Шеногиным стояли посредине дороги, беседовали. Я вспомнил о прерванном рассказе Козырева и решил: ерунда. Если Шеногин и впрямь стрелял, его б наказали. Не тогда, так потом. А коли уж не наказали, значит, все это — не более чем стариковские бредни: старость бывает подчас тщеславна и, перетолковывая прошлое, готова и слукавить, и прихвастнуть.

— Ну что? — спросил я, подойдя к охотникам.— Дальше двинем или — домой?

С ходу на такой вопрос ответить трудно.

— Жировали? — полюбопытствовал Шеногин. Он часто употреблял в обиходе охотничьи словечки: молодежь у него «токовала», самолеты «тянули», люди подраз-

делялись, в частности, на «матерых», «переярков» и «пестунов». Все это как будто в шутку, но... Нет, не знаю, никогда более ничего подобного не встречал.

— Жировали,— вздохнул Козырев, отводя взгляд от наших зайцев.

— Я тоже. Теперь бы на лежку.— Шеногин зажмурился и погладил живот. Найда, заискивающе повизгивая, призывала нас возвращаться — дома ее ждали щенки.

— А может, успеем дотемна еще одного поднять?— словно бы между прочим поинтересовался Козырев.

— Какой разговор! — Мы понимали, что старику тоже надобно взять зайчишку. Вообще-то, если уж выдерживать этикет, я должен был отдать добычу свою хозяину Найды, а взамен получить патрон, но во-первых, я был гость, а во-вторых, Козырев хотел, конечно же, подстрелить самостоятельно — и только так: в своих счетах со старостью он был щепетилен.

Вдруг Лоботряс, отлеживавшийся в дорожной грязи, резко поднялся и начал злобно рычать. Шерсть на загривке вздыбилась, пасть ощерилась — стали видны все до единого зубы.

— Волки,— определил Шеногин.

Стоя на месте, пес резкими, судорожными движениями отшвыривал назад комья глины. Из-под вывороченного когтя снова шла кровь. Найда спряталась у нас в ногах и с настороженным любопытством поглядывала то на Лоботряса, то в ту сторону, куда смотрел он. Мы поняли, что следует возвращаться,— волки легко снимают собак с гона.

— Не крякай,— успокаивал Козырева Шеногин, хотя тот и не крякал.— Ближе к поселку подымем тебе какого-нибудь.

— «Профессора»,— согласился Козырев.— И тогда уже на всю ночь.

— Подымем! — пообещал Шеногин и, кликнув собак, пошел впереди. Козырев, конечно же, был расстроен.

— Ладно,— объяснялся он с самим собой.— В первый раз, что ли? Шут с ним, с моим зайцем-то, пускай поживет, пускай подрастет поболе...— И вдруг шепотом: — Ну вот, значит, дело такое... Это я насчет того... Ну, насчет выстрела...

История с Добродеевым оказалась куда более запутанной и сложной, чем можно было предположить.

Итак, на обратном пути в Козырева стреляли из пис-

толета. Тогда только вспомнил он, что голый говорил не о дезертире, а о дезертирах. Возвратившись, сказал капитану, что ранен картечью после выстрела Добродеева. И в самом деле: вдруг да капитан и заставил бы снова идти в ту деревню разыскивать второго стрелка. Сейчас это предположение может показаться сомнительным, а тогда... У Козырева оставалось чуть более суток до выхода, и он не хотел рисковать этими сутками и боялся упустить эшелон.

После войны узнал, что капитан умер от своих тяжелых ранений, а перед смертью успел даже медальку за Добродеева получить. Старик нисколько — по крайней мере сейчас — не упрекал капитана за искажение фактов — тот ведь в рапорте своем не мог и упоминать Козырева.

Суть дальнейшего путаного и сбивчивого рассказа сводилась к тому, что в первые послевоенные годы ничего нового разведать не удалось. «И невозможно было,— признал Козырев.— Он ведь, стрелок-то мой, единственным трудоспособным мужиком был на всю деревню: тот, голый, помер, а с войны к ним вообще никто не вернулся — так разве ж выдали бы? Это уж потом, полегче жить стало, кое-какие слушки и проползли. Да и те — не слишком серьезные: дескать, пригрела одна солдатка паренька тридцатого года рождения, пригрела еще во время войны, и выходило: не то баба опаскудившаяся совсем, не то паренек сильно ранний. Ну да я во все это не особо вникал — война так людей перекорежила, что... За четыре года я видел столько всяческой жути... Думалось: выжил человек — и ладно, а уж все остальное... Бог ему судья...» Он начал было пересказывать страшные случаи военной поры, но спохватился: «О чем это я?.. Ах да! Паренек тридцатого года, солдатка... Значит, так...»

Прошли годы. Деревеньку эту злосчастную, наравне с множеством других, не имеющих ровным счетом никакого отношения к дезертирству, разорили, а жителей перевели в поселок, в сборные двухквартирные домики. Вот тогда-то Козырев и познакомился с соседом Шеногиных — пьяницей, не помню фамилии. Нельзя сказать, чтобы познакомился он специально, но и не случайно тоже: просто Козырев в то время «керосинил» и сам. Отчего-то у нас едва ли не всякому человеку бывает в жизни необходимость испытать себя на этом поприще, и

многих, как известно, искушение совершенно одолевает.

Козыреву повезло — он устоял. Этому немало поспособствовал большой зимний праздник, давно забытый городами, но неукоснительно отмечающийся в сельской Руси. В ночь после чествования памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Козырев выпил залпом трехлитровую банку воды. Наутро обнаружил, что вместе с водою неведомым образом проглотилось два десятка живцов, приготовленных для рыбалки. Этот эпизод произвел на Козырева значительное впечатление и упрочил его пошатнувшийся было дух. Проще говоря, он «завязал». И «завязал» наглухо.

Так вот: шеногинский сосед являлся в те времена одним из козыревских приятелей. Он рассказал, что к Шеногину иногда приезжает брат, младший вроде. И они надираются, и младший кричит на старшего, что тот, дескать, всю жизнь ему изломал, и грозится довести дело до суда. А несчастный Шеногин все бегает и бегает в сельпо за водкой. Кончатся деньги — занимает и снова бежит. А однажды даже гармонь на бутылку сменял.

— Соображаешь? — прошептал Козырев.

Шеногин шел шагах в пятидесяти впереди, и Козырев говорил вполголоса, а то и вовсе переходил на шепот. Заметно было, что он сильно взволнован.

Зная Козырева, я готов был утверждать, что им в распутывании этой странной истории руководила страсть преследователя, может — исследователя, но никак не жажда мести.

— Неужели не соображаешь?.. А я тогда уже все разгадал. Вся хитрость в том... Погоди-ка! — насторожил он меня.

Подошли к полю. Собаки занервничали. Лоботряс, свернув с дороги, петлял между светлеющими на блеклой стерне кочками снега, а Найда, недавно еще скулившая от материнской тоски, суетливо и отрешенно вертелась в грязном кювете.

Я сказал, что мы не в кино и нечего обрывать на самом интересном месте.

— Короче,— продолжил Козырев, пристально наблюдая за Найдой,— было их два брата: один — двадцать четвертого, другой — тридцатого года,— теперь он говорил машинально, бегло.— Старший дезертировал с Добродеевым, а потом, до конца войны, скрывался в той

же деревне у солдатки. После войны съездил на родину — а он из К-ой области,— взял часть документов младшего брата и тоже стал Виленом Шеногиным тысяча девятьсот тридцатого года рождения: тот — Вилька и этот — Вилька, тот — тридцатого и этот тоже. Тогда к бумагам относились без привередливости, не шибко строго, а уж на внешность и вообще внимания не обращали: иные ребятишки выглядели старей мужиков...

Лоботряс замер.

— По этим-то документам его и призвали. Отслужил — после войны уже, понятное дело,— вернулся к своей бабенке, вот и все. А у младшего, видать, жизнь не сложилась — подпортил ему биографию этот клиент: некоторые важные бумаженции умыкнул. Ну тот, значит, и приезжает иногда отыграться... Да и жена, стерва, измывается над ним как пожелает...

Найда взлетела на поле. Судя по нашему местонахождению, это был не «профессор». Скорее всего — шумовой, то есть согнанный с лежки шумом охоты. Мы видели, куда бежит Найда, но зайца заметили лишь после того, как он сорвался: сначала он пошел было к лесу, но оттуда встречь ему бросился Лоботряс. Развернувшись, косой помчался прямиком на ружейные стволы.

— Не стреляй! — крикнул Шеногин. Стрелять было нельзя — на хвосте у зайца висели собаки. Но когда косой, одним прыжком преодолев широкий кювет, ушел от собак и покатил по дороге, мы с Козыревым почти одновременно выстрелили, и я, к счастью, чуть припоздал. Рассудили, что заяц козыревский, а я стрелял зря. И прекрасно.

Дальше мы уже шли втроем. К вечеру стало подмораживать, захрустел под ногами тонкий ледок, грязь начала отвердевать, каменеть. Лоботряс сносил все невзгоды молча, а Найда жалобилась и то и дело оборачивалась посмотреть, не идет ли сзади машина. Обычно по этой дороге две-три машины за день проезжали, но на сей раз оказии не подвернулось — до самого поселка шли пешком.

Простились с Шеногиным, и я направился проводить Козырева. Семья у него большая, дома не поговоришь, оттого историю свою досказывал он в сарае, где мы кормили Найду, а она — щенков.

Старик излагал подробности своей тайной поездки в К-ую область, а меня занимало другое:

— Почему же вы скрываете все это? Или вы стали как-то иначе относиться к своему поступку... ну, к убийству Добродеева?

— Нет,— с твердой уверенностью отвечал старик.— Добродеев — враг. Он не занял своего места в окопе, не защитил кого-то, не выручил, не помог... Погубил, словом. И то, что не Добродеев ранил меня, дела не изменяет. Конечно, в таких случаях следует стрелять по ногам, но, во-первых, сугробы были, а во-вторых, психанул я: как только начал он лупить из дробовика, так и...

— Ну ладно: Добродеев — враг, а Шеногин?

— Тоже, конечно,— старик задумался,— однако раскрывать его сейчас... А вдруг он сразу же и даст дуба?.. Вот ты бы такую ношу снес?

Я пожал плечами.

— То-то и оно. А может, наоборот,— продолжал рассуждения Козырев.— Восстановит прежние документы — и давайте мне пенсию в этот срок, а не на шесть лет позже. Стало быть, отправим дезертира на заслуженный отдых? Его ж не посадят, я узнавал: одних статей уже нет, по другим давно амнистия вышла, так что... А кроме того, он отслужил, отдал, так сказать, долг Родине. В мирное, конечно, время, но...

Щенки все еще ползали вдоль брюха матери, а Найда уже спала. Дыхание ее было глубоким, ровным, но лапы иногда вздрагивали — должно быть, снилась погоня.

— Как вы думаете? — спросил я.— Шеногину трудно далась такая вот его жизнь?

— Да! — убежденно отвечал Козырев.— Тяжело. Он ведь все время боится, все время чего-то ждет. Не случайно и вокруг меня вертится — чует... Мы ж с ним,— улыбнулся старик,— не разлей вода, сам знаешь. Но я не могу решить, что предпринять, и... ничего не предпринимаю. Это — тоже тяжелый груз, устал я. Устал носить все в себе...

Вот какую историю рассказал мне старый охотник на обыкновенной охоте. Обыкновенной — не в смысле заурядности, нет: всякая охота необыкновенна, потому что неповторима. Просто в эту пору щемящего душу межвременья охотники имеют обыкновение гонять зайцев. Вот и я. Чаще — с Козыревым, Шеногиным. С Ло-

ботрясом, Найдой или другими козыревскими собаками. У него были всё русские пегие, все — некрупные и заливистые. Почему так — затрудняюсь сказать. Должно, вкус у человека такой.

Он просил не разглашать эту историю до его смерти а там — будь что будет.

Я обещал и сдержал слово.

ШЛЮЗ



ще три недели назад, когда судно возвращалось из Швеции, топливозаправщик стоял по левому берегу канала, а теперь вдруг оказался на противоположном. Капитан поискал объяснений, но так и не понял: на левом берегу — леспромхозовский поселок с магазинами, кинотеатром, людьми, на правом — болото, и, значит, кроме неудобств для рабочего заправочной станции, эта перемена никому больше ничего принести не могла.

Однако стой дебаркадер хоть с левого борта, хоть с правого — горючее было на исходе, и капитан приказал швартоваться. Вместо привычного старика с несколько запущенной и тем не менее вполне определенной бородкой, выдававшей в нем отставного шкипера, судно встретил незнакомый парнишка, замасленный и чумазый — лишь белобрысый вихор светлел.

Разглядев бедолагу, которого, казалось, держа за вихор, окунули в бочку с мазутом, капитан покачал головой и вздохнул: судно из-за туманов отстало от графика, надо было наверстывать, экономить время и гнать, гнать, а тут... Как мастер, изучивший дело до мелочей, капитан, столкнувшись с неопытностью, испытывал раздражение.

— Где старик-то? — спросил он парнишку, надеясь, что отставной шкипер где-то поблизости, спит, например, или ужинает и его можно позвать и быстро, без проволочек и суеты заправиться.

— Ушел,— словно извиняясь, ответил парень,— на пенсию — ревматизм у него.

— Жаль,— капитану и впрямь было жаль. И просто по-человечески, и по служебным соображениям.

— Вот я теперь...

— М-да. Жаль... А кто ж придумал дебаркадер перетащить?

Ожидая услышать жалобы на какое-нибудь начальст-

во, совершившее это нелепое действие, капитан даже поморщился, выразив готовность посочувствовать пареньку.

— А я,— простодушно ответил рабочий. Настолько простодушно, что капитан принял ответ как нежелание говорить о чем-то разумеющемся и понятном, и не стал расспрашивать дальше.

— Куда идете? — поинтересовался парнишка.

— В Финляндию.

— А-а, в Финляндию! — повторил он значительно.

— Долго будешь? — капитан кивнул на цистерны.

— До-олго — компрессор совсем не тянет,— он лукаво сощурился, и капитан подумал: «От горшка — два вершка, а туда же: власть свою надобно показать — ишь, темнила!»

— Вы б пошли пока погуляли.

— В болоте?

— Зачем? Тут такое!..— глаза парнишки восторженно округлились.— Тут шлюз! Старинный!

— Ну? — удивился капитан.

— Законно говорю! — Матросы окликнули, он заторопился.— Честное слово! — И бросился к механизмам.

Капитан перешел на дебаркадер, остановился у суетящегося рабочего, окинул взглядом и покачал головой:

— Ты бы на всякий случай держался поближе к огнетушителям, а то самовозгоришься, не ровен час.

Компрессор затарахтел, потом, набирая ход, взвыл и, наконец, загудел мощно и ровно. Шланг дернулся — пошло горючее. Парень радостно просиял, и капитан подумал: «Зря я на него... Симпатичный малый, не похоже, чтоб хитрован».

— Куда идти-то?..

Простым и недолгим путем — километр по прямой — он вышел к зарослям ивняка, в которых лежал обрывок старой Мариинки: десять шагов шириной, полсотни в длину, стенки из сгнивших бревен, покрытых плесенью, мхом, и на дне — вода.

«Тоска,— рассудил капитан.— Хотя... Впрочем...» — И поднялся на холм посмотреть продолжение русла. Среди широко раскинувшегося болота в двух местах зияли окна воды — все, что осталось. За болотом, где почва была пригодна для земледелия, голубело льняное поле, и крохотная деревенька весело отвечала закату ярким бронзовым блеском стекол.

Капитан посмотрел на деревню, на одинокую бере-

зу, стоявшую у крайней избы, и вновь оборотился к шлюзу.

«Впрочем... Странно...— Мысль то погружалась в вековую глубь, то возвращалась, но толком ничего определить не могла: — Шлюз не шлюз, хламида какая-то, а вот... Когда-то здесь барочки разные швартовались, плоты. А по берегам матросы ходили, купцы, прочие авантюрные люди... Теперь вот, понимаешь, берега заросли, ветви сомкнулись, и под ними сырость одна. Естественно, все проходит, и ничего удивительного, хотя...»

Это был вполне серьезный и в меру задумчивый капитан. Он много плавал, много видел и, стало быть, коечто понимал. Но сейчас от нехитрых своих рассуждений почувствовал вдруг растерянность — состояние непривычное — и встревожился:

«Дался мне этот шлюз! Наматывается, понимаешь, со своею историей, как водоросль на винт...»

Ничто с такой легкостью не переносит наше воображение в иные времена, как развалины и осколки: капитан подумал о том, что здесь наверняка бывал и отец — шкипер баржи-песчанки, и дед — матрос парусника, а по берегу запросто мог идти бечевой прадед. «Вот те и на!» — осторожно ковырнул землю носком ботинка и, смутившись своей сентиментальности, огляделся — не видит ли кто.

Когда, пообщавшись со временем, мысль потерялась, а ее место стали неотвратимо занимать графики, километры, лоция и навигация, капитан глубоко вдохнул земной воздух, сладкий, с множеством запахов, и пошел к своему «Волго-Балту», водоизмещением пять тысяч тонн.

Заправка окончилась. На дебаркадере пахло свежим соляром. Миновав серебристые цистерны с надписями: «Масло», «Мазут», «Диз. топливо», капитан заметил парнишку и подозвал:

— Кто ж все-таки надумал заправщик перетащить?

— Я,— удивился тот повторению вопроса.

— А зачем?

— Дак ведь шлюз зазря пропадает! Разве ж можно? Это ж музей! Исторический!

— Чудак ты, братец,— рассеянно сказал капитан,— туристов здесь не бывает...

— Да хоть кто-нибудь поглядит — все польза, думаю.— И, почесав затылок, безжалостно довершил малярные работы над своим обликом.

— Ты здешний?

— Здешний, а вы?

— Не знаю. Я на барже родился.

Вахтенный осторожным гудком сообщил о готовности к отправлению.

— Ну, будь здоров! — капитан перешел на палубу судна.— Поди, намыкался? Это ж надо небось разрешение инспекции получить, одних бумаг собрать кучу..

— А! Дело прошлое!

«Волго-Балт» вспенил воду винтами и пошел, рассекая розовеющую в отсветах облаков гладь канала.

Не ведал еще капитан, что шлюз теперь будет сниться ночами, а то и вовсе средь бела дня вырастать из воды — озерной, речной, морской — непосредственно по курсу судна; каждому человеку, даже родившемуся на барже, необходим пусть небольшой, пусть умещающийся во взгляде, кусок отчей земли, который живет с нами до последнего нашего часа и который, собственно, зовется родиной.

«Скоро вахта,— сказал себе капитан, когда топливозаправщик скрылся из виду,— надо бы и отдохнуть»



ТРАНСПОРТ «ПОБЕДА»

а одном из островов Волго-Ахтубинской поймы жил бывший смотритель створных огней Степан Лосев. Огни, правда, несколько лет назад перевели на автоматическую работу, и Лосев жил теперь просто так. Числился сторожем аварийного топливного склада, но колхоз совсем уже перестал ловить рыбу, Лосев извел солярку на разные свои нужды и ничего не сторожил, а только числился.

Первая супруга его — жуткой красоты Зинаида, прожив со Степаном Николаевичем шестнадцать лет в любви и спокойствии, повесилась. Вешалась она и на десятом году совместной жизни, но тогда Лосеву удалось ее спасти, а тут прозевал: в бане парился. Перевез Степан уже холодную Зинаиду в поселок, из города следователь примчался, начались допросы-расспросы, и все выходило, что между Зинаидой Ивановной и Степаном Николаевичем была большая любовь и согласие, и следователь опешил. Но фельдшер Бронза внес ясность, заявив, что она была «сумасшедшей шизофреничкой», и следователь, удовлетворившись, закрыл дело.

Потосковав год, Лосев снова женился, и труда ему не составило: был он крепок, строг лицом, и когда появлялся на берегу в капитанской фуражке и шел тяжелой поступью уверенного в себе человека, бабы тыкались лбами в окна и разевали рты.

А приезжал Лосев раз в месяц — получить на почте зарплату и газеты с журналами. Выписывал столько, сколько поселок скопом. Закупал еще продукты в сельпо и вновь исчезал. И в один такой вот приезд Степан присмотрел молодую смазливенькую Аленку, вдовствовавшую с зимы, когда муж ее, непрерывный пьяница, угодил на мотоцикле в промоину.

Аленка пожила месяц на острове — и расписались.

Был август. Степан Николаевич надел капитанскую фуражку с белым верхом.

И вновь, как много лет назад, гулял поселок. И в том же старом клубе. И гармонист был тот же и все так же пьян. И тупо глядя в пол, играл все те же переборы. Играл и врал, как много лет назад.

Вспоминали ту первую свадьбу: где была занавеска, где стояла кровать — без сетки, связанная веревочками. И как веревочки оборвались и все смеялись. И пошло, и пошло — жизнь пошла наперекосяк. «Может, хоть теперь образуется»,— загадывал Лосев.

Проходя мимо кладбища, он обернулся: «Зин! Скажи хоть что-нибудь!» Аленка тащила за руку, напирала толпа, освобождая внутри себя круг для «Цыганочки», «Зин! Не в обиде?» — И все пытался заглянуть поверх оград, чужих крестов, туда, где была и его — Зинаиды Ивановны — могилка, прислушивался, но не разобрал: Зинаида всегда говорила тихо.

Началось прощанье-целованье, длилось долго. Некоторые мужики отвязывали свои лодки, заводили моторы — чтоб проводить. Степан заспешил, и, поскольку был трезвее других, сразу завел мотор, и, махнув рукой, оторвался от провожатых. А до острова — лишь Волгу переплыть. На казанке под «Вихрем» минутное, можно сказать, дело.

Ах, погода хорошая — солнце, штиль! Ни тебе мглы, ни облачка до горизонта. Ах, синее небо, зеленые берега!.. И завтра так, неделю еще, месяц. Но не вечно и астраханское лето: подует ветер, вывернет листья на деревьях, бело-холодно заблестят они под дождем — осень. И налетают бешеные ветра, и набегают волны, сначала серые, скоро они белеют от злости, падает снег.

В такие дни Степан Николаевич не выходит из бани. А если выйдет — побродит нагишом, остынет под снежным ветром — и на полок. И даже не смотрит на воду, как будто в шторме белом нет для него ничего тревожного, памятного, да и вообще ничего интересного.

...Осенью сорок шестого года транспорт «Победа» попал на Каспии в шторм, потерял управление и был выброшен в волжские плавни. Экипажу с невероятным трудом удалось покинуть судно — железный труп, по которому наотмашь, валяя с борта на борт, били белые волны. Все одиннадцать человек отчаянно пытались держаться вместе, но были порасшвыряны волнами, и тогда каждый мог полагаться лишь на себя. Штурман Влас-

кин не мог. Прыгая с палубы, он оскользнулся, зацепил край рваной обшивки, и на локтях у него повисли длинные лоскуты кожи. Власкин пробовал отгрызть лоскуты, чтоб они не задирались дальше и не мешали плыть, однако, хлебнув воды, отказался. Сжавшись в комок, он ловил момент вдохнуть и гадал единственно — в каком виде его выбросит на твердое: живым или умершим от холода?

Густой снег лепил не переставая.

Власкину повезло. Семнадцатилетний моторист Степка Лосев, который ходил первую навигацию, увидел штурмана, пробился к нему и через пятнадцать минут вытащил на какую-то твердь. Чужой, запуганный штормом сейнеришко искал где потише, подобрал их и спрятался в лабиринте проток.

Первое, что узрел Степка, очнувшись,— мундир офицера НКВД. Офицер постоял несколько и ушел. Назавтра снова явился и зачастил каждый день. Сначала Лосев волновался, рассказывая. Останавливался вдруг на полуслове, и офицеру приходилось даже трясти Степана за плечи, чтобы вывести его из оцепенения. Но к концу недели воспоминания о катастрофе «Победы» перестали приводить Степку в ужас. Он машинально отвечал и машинально, не просматривая, подписывал протоколы. Потом ему дали прочитать показания Власкина, который лежал в другом госпитале. Потом — судовой журнал.

— Ну,— весело сказал ему на прощание офицер,— не волнуйся и радуйся: у тебя чисто.

Но Степка не волновался и не радовался. Он безучастно смотрел в стену перед собой.

Еще через два дня его навестил Мордвинов. Балтийский моряк, тяжело раненный в сорок третьем. Мордвинов кипел нерастраченной в боях яростью, старался успевать всюду и, как говорили, «тащил на себе все пароходство», хотя и рядом с ним, и повыше было много других начальников.

— Ты, парень, молодец! Герой, настоящий моряк! Это я тебе сообщаю. И вот что: скорей выздоравливай, отремонтируем «Победу» — пойдешь на нее стармехом. А зимой направим тебя в институт — будешь учиться на капитана, понятно?

Степан, в котором за последние дни, кажется, кровь остановилась, ожил.

— Да, да, понятно,— растерянно бормотал он, стараясь приподняться на локтях и сесть, чтобы легче было думать и осознавать происходящее.

— Лежи, лежи,— успокаивал Мордвинов.

— Да как же? Как же так?! — И поплыло перед глазами — то ли напрягся сильно, то ли от восхищения, ведь дальше моториста Степан и в мечтах никогда не ходил, а тут — капитанство!

— Ну вот, брат, ты извини... Извини, брат, не думал я... А ты, вишь, повалился... Лежи уж.

— Что вы! — прошептал Степка, стараясь быстрее восстановить дыхание и снова открыть глаза.

— Извини, брат, я, пожалуй, пойду, отдыхай... Да,— вспомнил Мордвинов в дверях,— начальство будет предлагать тебе отпуск, ты, конечно, смотри... Как здоровье, то, се, но,— он поморщился,— сам понимаешь — людей, понимаешь, нет. Смотри, конечно...

— Ерунда все,— задыхаясь и не открывая глаз, улыбнулся Степан.

— Ну, в общем... А! — Мордвинов вышел.

С того дня, как Лосев выбрал учиться на моториста, он ни разу уже не задумывался над собственной жизнью, считая ее навсегда и вполне решенной. То, что предложил Мордвинов, казалось Степану неправдоподобным, сказочным. Это была уже жизнь какого-то совсем нового, незнакомого Лосева. «Но если так, стало быть, во мне и сейчас есть что-то для того, нового, для капитана? — удивился он и обрадовался.— Какой отпуск тут? Ерунда!»

И вдруг холодная, спокойная мысль вывела его из забытья: «А почему... ерунда? Почему не поехать домой? — И снова жар подступил к вискам.— Ну зачем, кроме Мордвинова, есть еще какой-то начальник?» — успел подумать Степан и потерял сознание.

Через две недели Лосев вышел из госпиталя. С кашлем, но врачи объяснили, что это бронхи, а что легкие, мол, в порядке.

Пошел к Волге, а там сильный ветер, и с кашлем туда не надо бы, но до бронхита ли, когда насчет будущей жизни соображения раздваиваются? Как-то приходил в госпиталь корреспондент, разбередил своими вопросами, и Степан устыдился: «Что же это я? Испугался? В газете понапишут: герой — а я? Нет! Видать уж, коли взялся за гуж...» Но тут Власкин умер. И в газете

о Степкином подвиге не напечатали. И от этих событий — неизвестно, от которого больше,— Степка снова задумался и окончательно растерялся: оставаться латать «Победу», идти в плавание или... Или уехать? И теперь он шел к пароходу спросить у него. «Победу» уже подремонтировали, и Лосев, внимательно вглядываясь, то хозяйственно замечал, где надобно будет подправить, а то вдруг снова вспоминал белый шторм, побитые стекла, лопнувшую обшивку, беготню по трапу вверх-вниз, шлюпочную лебедку, с которой все соскальзывала нога и на которую наконец удалось встать, чтобы прыгнуть в белые волны. Волны белые, белый снег... Камыши то скрывались в пене, то обнажались до дна. Хорошо еще, что им с Власкиным удалось высмотреть руслецо без камышей — не запутались, не увязли в зарослях, как другие. Потом выбрались на островок, покрытый пеной, и Власкин сидел по пояс в пене, держал перед собой одеревеневшие руки, и прозрачными ремнями свисала сорванная от ладоней до локтей кожа, а мышцы под тоненькой пленкой были синими. «Точь-в-точь промытая баранья ляжка»,— подумал Лосев теперь. «Пожалуй, уеду. Надо отдохнуть,— решил он, прощаясь с «Победой».— А вообще — чего ехать? Наотдыхался в госпитале»,— и так вот еще подумал.

В пароходстве Степку ждала комиссия: начальство, кавторанг из военной флотилии и два сухопутных майора. Выражали соболезнования, благодарили за мужество, провожали на месяц в отпуск. «Я конечно,— нерешительно возразил Степан, выискивая взглядом Мордвинова,— да ведь людей не хватает». Пароходские смотрели внимательно и серьезно — это у них не хватало людей, прочие из комиссии одобрительно улыбались: Степан им нравился и все правильно говорил.

Мордвинова не было.

— Ничего, ничего,— опуская глаза, сказал начальник,— товарищи вот решили, да и по инструкции положено... Съезди, чуток отдохни. Ты ведь из местных, кажется?

— Да, в общем недалеко.

— Ну вот. А мы тут как-нибудь уж...

Поочередно пожимали руки, желали — Степан не слышал чего. Он ждал, не попросят ли остаться: надо, мол. И он остался бы. И наверное, с радостью. Никто не попросил.

Потом он долго стоял на палубе буксира-колесника.

Если бы появился Мордвинов, Степан весело сказал бы что-нибудь вроде «от вас не скроешься» и сошел бы на берег. И тоже, наверное, с радостью. Буксир отдал швартовы и пошел себе, а Лосев все всматривался в берег, все ждал Мордвинова, чтобы назад, хоть вплавь. Но буксир шел и шел, а Мордвинова не было и не было. Скрылись вдали купола астраханских соборов, поползли по сторонам пески, редкие дерева, и горько зарыдал Степан от обиды и облегчения. Понял, что никогда уже не быть ему капитаном и никогда уже не возвратиться на море.

Утром Лосев вернулся в родной поселок. С подаренной моделью «Победы», на борту которой было выгравировано: «За героизм и мужество в морском деле». Геройский поступок поставил Степку чуть ли не в один ряд с теми немногими, кому удалось возвратиться с войны. И так же, как в свое время они, Лосев спервоначала отсыпался, ходил по гостям и рассказывал страшное. Сообщал, что назначен на «Победу» стармехом, а там — институт, капитанство, свой пароход. И странно: когда говорил об этом, сам верил.

Родители Степкины перед самой войной умерли от холеры — болезни, которая испокон веку предпочитала здешние края многим другим. Пока Лосев учился в Астрахани, бесхозный дом его использовали под разные нужды: сначала в нем размещался штаб, руководивший «подборкой» — выловом трупов, плывших из-под Сталинграда; потом в доме жили эвакуированные, а после войны расположился магазин. Так что теперь Степке пришлось поселиться в рыбацком сарае. Спал он на верстаке. Кругом валялась щепа, обрезки фанеры, чернел в углу разбитый, замасленный дизель. Гнилая, пахнущая рыбой сеть свисала клочьями с длинных гвоздей из-под потолка.

Бессовестно было отдыхать в такое тяжелое время, а герою — тем более, и Степан занялся баркасом, над которым давно уже бились поселковые мужики. Движок был хороший, трофейный, но автомобильный, и система охлаждения к плаванию не годилась. Напаяв железные кожуха, две трубы — водозаборную и сливную, установив крыльчатку-насос, Лосев приспособил двигатель к судовой жизни и сразу стал Степаном Николаевичем. Артель просила его остаться, но Лосев не отвечал.

Ночью, при свете коптилки, надев капитанскую фуражку с крабом, он сидел на верстаке и рассматривал свое отражение в оконце. Там, за стеклом ходовой рубки «Победы», капитан Лосев нес ночную вахту. Сдвинув брови, втянув ни разу еще не бритые щеки, строго всматривался в коварную — он это знал — даль моря, и судно верным ходом шло вперед сквозь шторма. Сквозь белые шторма.

Тяжело было отказаться от мостика.

Но когда поутру пришли мужики, и Лосев увидел нацепленные для важного разговора медали... Не сопротивляясь, он согласился принять этот самый, отремонтированный, баркас.

Четыре навигации без выходных и без праздников ходил он за рыбой. Попадал в шторма — на Волге не такие, конечно, как на Каспии, но случались и белые. Тогда Степан Николаевич бледнел лицом, холодел сердцем и, судорожно сжимая штурвал, тащил баркасишко, боясь не столько шторма, сколько самой боязни: стыдно и страшно было видеть трусость свою.

Зимой — подледная ловля сетями и ремонт судна. И тоже без праздников, без выходных. Потом стало легче, даже отпуска появились. И в первом же отпуске, чуть отдышавшись, Степан женился. Жена его Зинаида была из «вакуированных», но после войны не уехала, как другие: отец на фронте погиб, мать умерла здесь в сорок четвертом, дом в Ленинграде был разрушен бомбежками — куда ехать? Степка, вернувшись из Астрахани, сразу заметил, какой красавицей стала девчонка, и сразу влюбился. Зинаида тоже привязалась к нему, но не у верстака же им жить? Наконец терпение Степана иссякло. Рассудив, что самое тяжелое для народа время прошло и он, капитан Лосев, трудом и геройским поступком заслужил право на улучшение жизни, Степка попросил у колхоза дом. Нового не построили, но комнату в заколоченном клубе дали.

Это была первая послевоенная свадьба. Весь поселок, конечно, в клубе не уместился, гуляли около. Пели, плясали, пили кто что принес, кричали «горько!», и было в диковинку всем — как увиденное впервые — и свадебные поцелуи, и подвенечная, пусть сшитая из занавески, фата. И без стыда все ждали ночи, и наперебой просили: мальчика, девочку — все равно кого. Он всем был нужен: новый, отделенный от войны человек.

Через год родился ребенок.

К тому времени Степан перебрался на остров: завистливые бабы притравливали Зинаиду: и тошша, и деревенского хозяйства не знает, и больно уж молчалива — словом, «мужику в тягость». Тут как раз установили створные знаки, бакены, потребовался грамотный человек, знающий радио и азбуку Морзе,— Лосев, поколебавшись, словно жалко было ему расставаться с баркасом, согласился, но лишь «на время», пока не подберут «нового кадра». Внутри самого себя Степан Николаевич прочно утвердился капитаном транспорта «Победа», им — смотрел на людей, на проплывающие пароходы, им — ступал по земле, а фактическое свое отклонение от капитанства считал временным, вынужденным, из-за большой любви к Зинаиде и был тем вполне доволен. «Вот уж когда все утрясется...»— а что должно было «утрястись»— Степан не домысливал. И на остров перебрался вроде бы для того, чтобы оградить Зинаиду от неправильных толков, остров ведь подальше от берега, от людей.

Хотя, как ни странно, и от штормов тоже.

...Роды начались по пути через Волгу. Степан бросил весла и придержал Зинаиду, которая корчилась на дне лодки и могла вывалиться за борт. Течением отнесло в сторону от поселка. Лосев развернул на песке брезентовый плащ и уложил жену. Весь его акушерский опыт сводился к воспоминаниям о подсмотренном в детстве рождении ягненка. Ничего толком не вспомнив, махнул рукой и развел на всякий случай костер из плавника: холодно было, дождь пошел. Потом сообразил согреть воды — по счастью, в лодке была жестянка для вычерпывания. Оставив жене всю свою одежду, кроме исподнего, побежал в поселок. Когда воротился — в брюках, ватнике — с фельдшером и двумя бабами, костер уже не горел, воды в банке не было, Зинаида беспамятствовала или спала, прижав к груди завернутого в окровавленные мужнины тряпки ребенка. Лосев отвернулся. Люди суетились над Зинаидой, ребенок закричал, но как-то слабо. Потом перестал вовсе. Отброшенная фельдшером пуповина угодила Степану под ноги и в мгновение из розовой стала серой.

Происходящее так потрясло Лосева и настолько ужасным показалось, что, когда Бронза, положив руку ему на плечо, сообщил, что ребенок умер, Степан только кивнул. Ему уже безразлично было, лишь бы поскорее уйти. За-

брать жену и уйти. А брезент, шмотье, банка — пусть все остается. И пуповина, и сам ребенок, из-за которого, собственно, это и...

Через два года снова родился мальчик. Радости как будто прибавилось. Правда, иногда, баюкая сына, Зинаида тихо, чтобы не слышал Степан, вздыхала: «И зачем ты родился? Какая ж тоска тебя ждет!» У Степана во рту становилось горько от ощущения своей вины, но глаз он не открывал и продолжал дышать ровно, как спящий. Он объяснял себе, что Зинаида грустит от усталости и прежней тяжелой жизни, и быстро успокаивался.

Но дело вроде бы пошло на лад: супруга повеселела. И, проснувшись однажды светлой летней ночью, Степан увидел ее в петле. Удалось спасти.

Фельдшер Бронза, подумав, спросил: «Может, не удовлетворяешь?»— «Дурак ты»,— ответил Лосев и решил, что надобно отвезти Зинаиду в город к хорошим врачам. Но Зинаида сказала, что это было случайно, так, и к врачам ехать необязательно. Степан согласился. «Может, вообще ее увезти куда-нибудь в другие края, жизнь другую начать?»— спрашивал он у Бронзы, чувствуя, что это — самое верное дело, что надо бы увезти, что жить надо бы по-другому, пошустрее, что ль. Но на всякий случай спрашивал, ища поддержки.

— От себя не уедешь.

— И это правильно,— легко соглашался Степан.

Шло время. Зинаида становилась грубее, потяжелел взгляд, но приезжавшие на остров рыбаки обнаруживали все ту же тихую семейную жизнь. Жена спокойно управляла хозяйством, муж парился в бане или разгадывал кроссворды, из-за которых единственно он и выписывал газеты с журналами. Сынишка вырос, отправили в интернат. Зинаида часто навещала его, хотя теперь бабы разве до рукоприкладства не доходили, а так все перепробовали: ведь теперь Зинаида числилась д у р о ч к о й. Да еще и лучшего жениха увела, и жизнь ему портит...

Как-то причалили праздные московские рыболовы — спрашивали местечка, чтоб народу никого и чтоб порыбачить вволю. Степан обедал. Пригласил к столу, обещал вечером, как зажжет бакены, отвезти в хорошее место. Один — по виду бывалый — бородатый мужик все расспрашивал да расспрашивал, остальные, наскоро переку-

сив, занялись снастями. Зинаида разговорилась, и Степан удивился внезапной ее живости и веселому их разговору. Она беседовала с «бородой» о том о сем, и они легко понимали друг друга и не договаривали фраз. А Степану казалось, что говорят на чужом языке. Обидевшись, он встрял, перевел разговор на «моряцкую» тему, небрежно сообщил, что плавал на большом корабле, попал в передрягу, выкрутился, но вообще ему «это дело не очень понравилось. Волны, понимаешь, снег... Все белое, понимаешь. Ничего, конечно, особенного. Дело, можно сказать, плевое, но так — не понравилось. И домой потянуло»,— смущенно улыбнулся Степан, но по глазам «бороды», слушавшего с настороженным интересом, заметил, что тот все понял насчет «плевого, непонравившегося дела». «Тут, как раз — Зинаида... Ну, мы и поженились»,— обратился он к жене за поддержкой, но встретил скорбное изумление, словно ее поразила какая-то внезапная мысль, какое-то предположение, открытие. Зинаида долго смотрела на мужа, сначала пристально, а потом взгляд расслабился и ушел сквозь. Стушевавшись, Лосев встал вроде бы проветриться. Когда возвратился, обнаружил компанию, живо беседующей с Зинаидой. И снова про непонятное.

«Ну и жена у тебя, капитан!— шутливо завидовали приезжие, спустившись на берег.— И умница и красавица. Повезло, брат, тебе!» Лосев довольно улыбнулся и предупредил: «Денег не давайте». Сели в казанку, завели мотор. Когда подъехали, Степан Николаевич заметил, как «борода» что-то шепнул одному, и тот сунул в карман Лосеву бумажку: «За перевоз».— «Не надо,— буркнул Степан,— я же предупреждал... Спасибо»,— и отчалил. «Червонец!— рассмотрел он бумажку,— Пригодится, конечно». И сплюнул — было противно.

Прошло еще несколько лет. Зинаида прожила их в молчании и задумчивости или — как объяснял Степан — в спокойствии и любви. И повесилась окончательно. Наверное, ее и на этот раз можно было спасти, несмотря на то что Степан долго парился в бане. Но был праздник. «А по праздникам,— как тихим голосом сказала однажды покойная,— полрайона в канаве валяется». И фельдшер был в этой половине как раз. Лосев с криком влетел к нему. Выслушав, Бронза пробормотал: «А что я тебе говорил? Что?! Эти, ежели задумают... то непременно. Непременно!.. Медицина, брат, это... Я тебе говорил? Ме-

дицина — это...»— и пригрозил Лосеву пальцем. Милиционер был из другой половины, но вернуть Зинаиду к жизни никак не умел. Спустился к лодке, глянул мельком, запретил дотрагиваться и побежал звонить следователю. Так закончилась семейная жизнь Степана Николаевича Лосева с Зинаидой из «вакуированных», которую он очень любил.

И вновь на острове «любовь и спокойствие», и словно бы ничего не произошло. Поселок, в прежние времена неустанно жалевший Степана за его «испорченную дурочкой» жизнь, тоже затих, успокоился. Поговаривают иногда некоторые, мол, не все просто в этом деле и что Зинаида вовсе не была дурочкой,— да кто ж их послушает? Кто будет трогать мысль, слежавшуюся и окаменевшую?

А Степан Николаевич с утра залезает в баньку. Попарится, а в предбаннике журналы с газетами — кроссвордики его дожидаются. Насчет кроссвордиков Степан Николаевич мастак. Есть у него специальная амбарная книга со списками «столиц союзных республик», «областных центров РСФСР», «созвездий», «звезд», «притоков Енисея», «композиторов», «государств в Африке», «химических элементов» и т. п.— ни один кроссворд дольше десяти минут не продержится. Алена чаек ко времени принесет, ко времени стопочку. Течет жизнь, растекается, утекает... Пожалуй, только однажды и всполошилась, да и то ненадолго. Это когда сын поступал в речное училище, недобрал балла и попросил отца приехать помочь — будто бы директор, некий Мордвинов, сыновьям речников оказывал снисхождение. Алена положила в маленький чемоданчик модель «Победы», приготовила праздничный костюм, но Степан, поначалу собиравшийся ехать, обдумал все как следует на полкé и вдруг возразил: «Пусть сам пробивает себе дорогу! Мы-то — сами!»— и не поехал. Он представил на миг встречу с Мордвиновым, представил, что тот все вспомнит и все поймет. «Оверкиль... Тридцать лет жизни — вверх дном!.. А-а-а!» И, задыхаясь, бросился из баньки наружу.

— Что с тобой?— выбежала на крыльцо Аленка.

— Так,— взял себя в руки Степан,— со зла.

— Что «со зла»?

— Да и из-за парня... Пусть сам пробивает себе дорогу. Мы-то — сами!

— Как скажешь...

Алена соглашалась со всем, что говорил муж. Лишь в первое время пыталась она дознаться: что ж это здоровый мужик не займется серьезным делом? Степан отмалчивался, отшучивался, но раз не выдержал, психанул: «А у меня дело, может, посерьезнее, чем у других! Я, может, секретные корабли заправляю, понятно?» — «А чем заправлять-то — в бочках пусто?» — «А может, я,— Степан от гнева разбрызгался слюной,— может, я... атомом?!» И сам опешил от придуманного, но Аленка смутилась. «И рацию чтоб каждый день протирать!» — увлекся Степан. С тех пор жена не спрашивала его о работе, рацию протирала, хотя к ней давно не было аккумуляторов, и вообще — согласилась на спокойную, бездельную жизнь — скучно, конечно, но все безопаснее, чем с прежним мужем.

Сын, не поступив в училище, попал в армию, отслужил и остался на сверхсрочную прапорщиком. Изредка присылает казенного содержания письма.

Дошел слух, что «Победу» списали. «Ну вот и отплавались,— вздохнул Степан, словно груз с плеч свалился,— можно и отдохнуть». Но вместе с легкостью пришла холодная опустошенность. Иногда Лосеву кажется, что его уже нет. Что он давным-давно уже умер.

СОБРАНИЕ



В субботу утром открывался сезон. На пятницу было назначено собрание всех охотников. Знакомец мой — Александр, у которого я уже не первый год останавливался, вернувшись с работы, сказал: «Вместе пойдем». Вместе так вместе. Конечно, я не из их коллектива, мне от егеря только путевка нужна, а путевку можно взять и после собрания, но наше дело гостевое, их дело хозяйское,— стало быть, надо.

Саня долго наряжался: ботинки чистил, брюки выглаживал, рубашки менял — у одной пуговицы не хватило, другая как-то цветом не подошла. Потом брился, причесывался, вылил на себя полпузыря одеколона, остальное мне протянул: «Подушись». Немного помолчав, добавил: «Ну хоть маленько». И опять пришлось подчиниться.

Совсем уже было за порог собрались, как Саня вспомнил про курево: «Где сигареты? Вот бедствие: на место что ни положишь — все пропадает!» Жена и дочь его бросились искать, я тоже помогал, наконец нашли. Саня закурил, не глядя, отшвырнул спичку в направлении русской печи, сощурился и пошел.

Шагал он, против обыкновения, невероятно медленно, с прямою, словно доска, спиной, высоко поднятой головой и неподвижным взглядом, устремленным по навесной траектории невесть куда за село. Не шагал — шествовал. Сигарета дымилась в уголке рта.

Подошли к лесничеству, где должно было состояться собрание. У ворот толкся какой-то мужик — тоже выбритый и одеколоном облитый. Чинно друг с дружкою перездоровались, помолчали. Помолчав, они закурили по новой и стали пускать дымы, я же, как не принимающий участия в общем занятии, добрёл от нечего делать до крыльца и на дверях увидел прикнопленную записочку, извещавшую, что мероприятие переносится в контору совхоза. Пошли туда.

У порога конторы состоялось еще одно ритуальное выкуривание, в котором участвовали уже шесть человек. Они, наверное, так и курили бы до скончания табака, но тут из дверей двухэтажного кирпичного здания вылетел егерь:

— Мужики, сколько можно, давайте наверх — начинать пора.

— А чего вдруг такая честь — в конторе?

— Директора принимать будем, он и попросил — уборка ведь, надобно возле телефона ему...

Мужики, неспешно довершая дело, потянулись вовнутрь, я — за ними.

Заседали в директорском кабинете, причем егерь гнездился за хозяйским столом. Спервоначала звучал доклад: «В отчетный период мы, как и весь народ...»— словом, чин чинарем, как положено. Когда подошло время вопросов, высунулся пенсионер Сизьмяков:

— Товарищи охотники!— сам он даже рыбаком не был и в обществе состоял, кажется, лишь для того, чтобы задавать вопросы, на которые нет ответа.— Что делать с собакой, чтобы она за мотоциклами не гонялась?

— А по поводу доклада — ничего нет?— поинтересовался егерь.

— Так я по поводу доклада и говорю — она ж за отчетный период...

Впав в задумчивость, мужики надолго умолкли. Наконец кто-то предложил:

— А если палкой?

— Пробовал, мать ее...

— Это писать?— не поднимая головы, спросил агроном, которому выпало протоколировать.

—...Без матери,— определил егерь. Помолчав и не дождавшись продолжения разговора, он сказал:— Очень важный аспект затронул наш уважаемый ветеран и знатный товарищ: собаки — наше больное место. Во-первых, ни одной породистой особи в коллективе нет, так что по инструкции мы даже обязаны всех их истребить до самого тла наравне с бродячими. Во-вторых, на некоторых кобелей поступают жалобы: так, например, и сельсовет, и представители населения жалуются на твоего Цыгана, Григорьев.

Витек Григорьев — буйный малый лет тридцати — вскочил с места и, стоя, высказал все, что он думал о сельсовете и населении. Агроном отложил ручку.

Со вниманием выслушав умозаключения Григорьева, егерь решительно возразил:

— А люди видели, как твой Цыган летом носился по охотугодьям, что является фактором беспокойства, особенно с учетом известной злобности твоего кобеля.

Витек добавил что-то по поводу фактора, правда, несколько вяло, но все равно — агроном отдыхал.

Тут в кабинет робко протиснулся невысокий щупленький мужичок. Егерь жестом пригласил его прямо к столу, но мужичок, помотав головой, сел у двери. Я понял, что это и есть новый директор совхоза, человек, к слову говоря, небезынтересный. Дело в том, что первым же своим начальственным распоряжением он освободил Спасский собор от могучей сельскохозяйственной техники, безмятежно располагавшейся там на протяжении полувека. Конечно, у собора давно не было ни купола, ни колокольни — он являл собою подобие громаднейшего ангара с высоченными окнами и вряд ли мог надеяться на реставрацию,— тем не менее технику из него вывели, а на ворота, сделанные в проломе стены, навесили замок.

— Следующим пунктом повестки дня обозначена биотехния,— объявил егерь.— Кто что имеет сказать?

Приятель мой отчитался девяноста шестью парами вороньих лапок — птиц на крыше дровяного сарая успешно ловил капканами Санин сын. За это полагалось девяносто шесть патронов, но у егеря столько не было, он вручил пятьдесят, остальные пообещал отдать потом, ну да не в этом дело. И даже не в том, что патроны оказались старыми, подмоченными и не стреляли, а в том, что численностью добытых лапок Саня вызвал заметное потрясение, и мужики попросились перекурить.

— Это в биотехническом аспекте рекорд!— провозгласил егерь, с трудом сдерживая восторг изумления.— Рекорд районного, а может, и более значительного масштаба.

Курили на лестнице. Стены здесь были украшены плодами выморочного и явно нездешнего воображения. Одна из фресок открывала взору синюшное озеро, на ближнем берегу которого, возле рубленой баньки, мужик удил рыбу, тогда как на дальнем располагался млеющий в знойной желтизне восточный дворец. Примечательно, что и дворец, и мужик, и удочка, и деревья по сторонам — все дружно отражалось в воде, обрамляя озеро кольцеобразным

орнаментом. На противоположной стене колосилось золотистое с голубизной поле. Только опытный специалист мог определить, что тут посеяно: лен или некий злак с васильками. Посреди поля стояла черноволосая женщина, державшая на вытянутых руках до удивления безжизненного ребятенка, чуть поодаль — птица, напоминающая журавля, розовый конь и жирафа. У горизонта, в туманной морской дали, плыл корабль с алыми парусами.

— Сколько?— спросил я у директора.

— Это?— окинув взглядом чудовищные произведения, он вздохнул:— По две тыщи каждая: Не нравится?.. Мне тоже. Но выбирать не приходится: кого пришлют. А с этими,— кивнул он в сторону ближней росписи, подразумевая без сомнения авторов,— не договоришься, знай свое гнут: романтика, дружба народов, величие человека...

Закончив перекур, возвратились.

— Кто еще имеет сказать по аспекту биотехнии?

— Я,— поднялся Григорьев.

— Писать?— устало спросил агроном.

Егерь задумался, но ответить ему не успел: подойдя к столу, Витек вытащил из кармана горсть лапок.

— Девять,— пересчитал егерь.— Это почему так?

— Не знаю,— пожал плечами Витек,— сколько было, столько и принес.

— Писать или не писать?— встревоженно повторил агроном.

— Погоди,— оборвал егерь.— Так сколько же ворон засчитывать?

— Кто «погоди»?— не понял агроном.— Я?

— Засчитывай пять,— объяснил Григорьев,— не четыре же.

— Но у пяти должно быть суммарно десять лапок,— размышлял егерь.

— Может, ему какая инвалидка попалась,— предположил кто-то из мужиков,— с отмерзшей лапкой?

— А может, у него все девять — инвалидские?— егерь выдал Витьку четыре патрона, а одинокую лапку вернул.— Ищи пару,— принципиальный был егерь.

Снова порывшись в карманах, Витек вытянул еще что-то.

— Бродячую собаку отстрелял,— сообщил он,— вот хвост, так что все равно патрон заработал.

Помяв пальцами вверенный ему клочок шерсти, егерь

возмутился:— Какой же это хвост? В нем и стержня нисколько нет!

— Хвост,— твердо стал на своем Витек.

— Нет, мужики, поглядите,— и егерь передал кудельку охотникам.

Исследование продолжалось долго и привело к столкновению мнений: одни полагали, что ошметок этот выдран из боков лохматенькой собачонки, жившей по соседству с Григорьевым, другие же склонялись к мысли, что это действительно кончик хвоста не виданной никем бродячей собаки, отстрелянной и зарытой. Спор разгорелся — агроном едва поспевал.

Время от времени звонил телефон. Директор подбегал, хватал трубку, прикрывая ее рукой, кричал какие-то распоряжения, бросал трубку, бегом возвращался на свое место и слушал, слушал...

Егерь предложил ставить вопрос на голосование, но Витек сделал неожиданный выпад:

— А если к той лапке вот этот хвост...

— Тьфу,— отмахнулся от него егерь.— Держи,— и выдал патрон.

— Хочу спросить,— выкрикнул Сизьмяков.

— Валяй,— поддержали его сзади.

— А почему у нас, чтобы сделать хоть что-нибудь путное, надо действовать вопреки?

— Чего?— егерь опешил.

— Ну если, к примеру, кто-то хочет сделать хорошее для людей — почему он непременно должен идти против начальства? И если уж кто принесет какую пользу, все начинают орать: герой, добился, отвоевал, себя не жалея... Правильно я говорю?— обратился он к директору. Тот кивнул.

— Ну!— обрадовался Сизьмяков.— Все хорошее — вопреки, а все лучшие люди — вопрекисты.

— Вы конкретно о чем?— в голосе егеря послышалась настороженность.

— А я не конкретно,— пожал плечами пенсионер,— я — вообще.

— Тогда ладно,— успокоился егерь.

За сим взялись утверждать личные планы. Проще всего оказалось с агрономом: он брался засеять подкормочные площадки «хоть с две Франции».

— Ты что же,— заинтересовался директор,— полсовхоза, — того, зверям?

— Ничего,— отвечал агроном, не отрываясь от протокола,— запахиваем больше. А кроме того, у вас пока еще нет права голоса.

— Виноват,— смутился директор,— простите.

Саня пообещал побить собственный же рекорд.

— И вот что,— добавил егерь.— Проведешь техминимум по отлову врановых птиц посредством волчьих капканов.

Григорьеву поручили сделать порхалище. Он встал и с угрозою в голосе полюбопытствовал:

— А это что за..?

— Не пиши,— приказал агроному егерь и объяснил, что порхалищем называется куча песка, «устроенная в местах постоянного обитания боровой дичи».— А это запротоколируй.

— Большая куча?— обреченно спросил Витек.

— Не очень,— уточнил егерь.

— Ну тогда...

— Не пиши!

— Ну вот что,— агроном бросил ручку,— давайте так: либо пишу все, либо ничего не пишу.

— Пиши все,— посоветовало собрание.

— Договорились,— и снова взял ручку.

Расправившись с планами, единогласно приняли в охотничье общество директора. Он поблагодарил, извинился за уборочную и ушел. Оставалось разобраться с путевками: егерь выписывал их медленно, ошибаясь и спотыкаясь, но в конце концов справился.

Наутро была пальба, какая случается лишь в день открытия охотничьего сезона. Добыв невзрачную пташку, я возвращался домой, когда нагнал меня директорский «уазик». Одет был директор вполне по-служебному, ни ружья, ни патронташа, ни рюкзака при нем не было.

— А у меня ружья вообще нет,— отвечал он,— я не охочусь.

— А как же собрание, общество?.. Вы же взносы платили?..

— Платил. Я, знаете, люблю, когда народ собирается.

— Не надоело?

— Да я не в смысле президиумов, протоколов — это я не люблю, а вот когда люди вместе собираются... Я и в Красном Кресте состою, и в озеленении, в автолюбительском, в ДСО — где только не состою. Соби-

рать людей надо, собирать — порассеялись: кто за романтикой мотанул, кто еще за чем... Сила наша, когда мы рядом, так что... Конечно, хорошо бы всем вместе: партийным, беспартийным, охотникам, пчеловодам, автолюбителям... Но,— улыбнулся он,— пока такого — единого — общества нет, хоть по раздельным...

Директор высадил меня у Саниного крыльца и погнал в контору — сегодня там собирались кролиководы.



В ПУСТЫНЕ, НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

дноклассник мой стал к сорока годам значительным инженером и уехал в Среднюю Азию инспектировать газопровод. Освоившись, пригласил меня поохотиться — сам-то он не охотился, у него такого интереса вообще нет: он гонял вдоль трубы на машине или на вертолете, а я уж мотался за ним с удочками и ружьем.

Должен признаться, что никогда более не доводилось мне промышлять в столь обширных угодьях — от Саратова до Хивы. Однажды произошло даже так, что завершалась утренняя охота в трехстах километрах от места ее начала.

Напарники мне попадались самые разнообразные: и местные жители, и строители-сибиряки, и генерал из заядлых московских стрелков; генерал, кстати, вполне демократичный — через час мы с ним на «ты» сделались. Впрочем, охота, если это, конечно, настоящая вольная охота, а не привилегированное истребление ручного зверья, не признает субординации: тут уж, как в бане, все — изначально равны.

Осязательнее прочих запомнился мне компаньон по фамилии Пупкин: и фамилия вызывающая, и вид у него сплошь несоразмерный, и характер занимательный, да к тому же мы в приключение с ним попали.

Привез меня приятель очередной раз в незнакомое место: пустыня не пустыня, скорее — степь, вагончики стоят, за вагончиками — тугай, кустарниковые поросли. Среди кустов бродит верблюд. Вдруг он резко поворачивается, отбегает в сторону, вновь останавливается, а подождав несколько, бежит на прежнее место — какой-то мальчишка, пытаясь поймать, то и дело шугает его, однако через кусты плохо видно.

Похоже, приятель обо всем договорился: на крыльцо вагончика выходит человек в черной спецовке.

— Пупкин!— орет он в направлении скачущего вер-

блюда.— Оставь в покое животное! Никуда оно не денется! Иди сюда!

Мальчишка выходит.

— Собирайся на охоту. Возьми моторку и вон,— указывает в мою сторону,— земляка, понял?.. И чтобы три дня — до выходного — духу твоего здесь не было, понял?.. На выходной понадобишься. Все. Здравствуйте,— сказал он еще мне на прощание и скрылся в вагончике.

Пошли грузиться. Мальчишка по рассмотрении оказался мужичком лет пятидесяти — пятидесяти пяти. Только что очень меленьким. Зато большеухим. Как его звали, я так и не узнал: Пупкин и Пупкин.

Моторка стояла неподалеку — в коллекторе, по которому могуче неслись ядовитые стоки с полей. Мутный стрежень привел нас в конце концов к заросшему тростником озеру. Мы то скреблись по узким протокам, то, пригибаясь, вползали в сумрачные туннели — неба сквозь высоченные заросли не было видно. Мало-помалу вода начала светлеть, а потом и вовсе очистилась до совершенной прозрачности — на трех метрах глубины всякая водорослинка различалась. Тут и тростник поредел. Пупкин добавил оборотов винту, и вскоре огромнейшая гладь открылась нашему взору. Если до этого момента лодка вспугнула лишь с десяток лысух да одну длинноносую чомгу — товар малодостойный внимания серьезных охотников, то здесь увидели мы и множественные стайки утей, и большие гусиные стаи, кроме того, кружили в воздухе бакланы, пеликаны, цапли, лебеди и прочий неохотничий вздор. Внезапно выключив двигатель, Пупкин хрипло сказал:

— Бесчинство водоплавающих.

Ожидая развития мысли, я молча кивнул, однако Пупкин принялся заводить мотор снова — вероятно, разговор был исчерпан. Дергал, дергал он за стартер, и что-то долго у него не получалось, а я тем временем прикидывал, как бы да в каком месте устроиться перед вечерней зарей, а то ведь это только издалека их — тьма, а встанешь неудачно — и либо вообще ни одной уточки не увидишь, либо так и будут они над тобою по поднебесью свистать. Наконец поехали.

В другой раз мы остановились, чтобы я мог услышать:

— А дело к вечеру.— Движок тут не заводился куда дольше прежнего.

Ну а потом он заглох сам по себе, и, поклацав гаечными ключами, Пупкин сообщил:

— Заправиться-то мы забыли...

Вечерняя охота не удалась — в слишком уж неприглядном месте прервалось плавание: на открытой воде. Ночь мы провели не на острове у костра, специально для которого везли саксауловые дровишки, а прямо в лодке, на стланях. В лодке вообще-то спать хорошо — вода покачивает, убаюкивает, однако больно уж холодно было, так что мы почти и не спали и, едва дождавшись утренних сумерек, устремились спасаться. Я — греб, Пупкин занимал пост штурмана.

— Так держать,— направлял он.— Если будем держать вот так, выберемся к плато, к людям. Назад нам без мотора не проскрестись, а в другие стороны — твердых берегов и вовсе нет: пески да болота — заболоченные пески. И жилья нет — пустыня...

Грести было неудобно: борта высокие, алюминиевые весла коротки и легки — кое-как цепляешь поверхность воды, суденышко туда-сюда рыскает...

— Левее, правее, так держать!— командует Пупкин и тут же:— Левее, правее, опять левее...

А я уж давно и сам знаю: я взял лысину сидящего на корме штурмана в створ с одиноким тростниковым колком и стараюсь придерживаться. В те мгновения, когда колок занимает место короны, Пупкин и орет: «Так держать!» При этом голова его дергается от напряжения, корона спадает, тут еще и катерок наш уныривает куда-нибудь в сторону и снова начинается: «Правее, левее, правее...»

Налетали иногда утки. Сначала мы постреливали, но вскоре от занятия отказались — очень уж много времени уходило на судоводительские маневры к подбитой дичи: то в сторону, то вообще назад, да поближе подплыть, чтобы дотянуться удобно было.

Взошло солнце.

— Вон, видишь, плато?!— воскликнул Пупкин.

Я обернулся. Впереди, за тросниковыми островами, казавшимися отсюда сплошною стеной, виднелась тянущаяся вдоль горизонта возвышенность с плоским, словно по линейке отчерченным верхом.

Опять пошли заросли и становились все гуще. Мы путались в лабиринтах и, теряя из виду берега, ориентировались по солнцу. Несколько раз попадались рыбацкие

сети. «Во!— приободрялся Пупкин.— Уже близко!» Но час проходил за часом, а тверди не было.

Озеро стало мелеть, наконец лодка и вовсе увязла — я вылез и поволок ее за собой. Пупкина пассажирская роль заметно смущала, однако помочь он при своей малорослости ничем не мог — мне самому едва не захлестывало за отвороты бродней. Дно делалось все более илистым, и тут Пупкин не выдержал: скинул сапоги, босиком махнул через борт и погрузился в топь чуть ли не с головою. Потащили вдвоем.

— Ил — по причине пыли с плато,— изрек Пупкин.

Он был прав — теперь уже оставалось немного. Сначала мы увидели знак — тур, сложенный из плитняка на вершине утеса. «Держать туда!»— указал штурман. Потом разглядели и постройки. «Я же говорил!— обрадовался он.— Люди!»

Вода кончилась. Бросив лодку, мы пробрели сколько-то по грязи, потом — по белому, словно снег, соляному налету, и у подножия плато нам открылась езженая дорога. «Спасены»,— заявил Пупкин, и мы попадали в иссеченную протекторами дорожную пыль...

Поселок, расположившийся на склоне, был мертв; переходя от строения к строению, мы обнаруживали всюду следы разрушения и тлена: осколки стекла, ржавые кровати с матрацами, рассыпа́вшимися в прах от одного прикосновения, ветхую выгоревшую одежонку. Стемнело. «И переночевать негде»,— вздохнул Пупкин. Переночевать, хотя бы прилечь, действительно было негде.

Мы прошли поселок насквозь до того места, где с плато спускалась к нему дорога. Фонарики наши высветили колеи, поросшие жухлой травою, закрытый шлагбаум и рядом со шлагбаумом — столбушок с жестяным щитом. Обойдя столбушок, Пупкин посветил на щит и вслух прочитал: «Лепра»... «Слышь,— спросил он меня,—а что это такое?» Я начал было объяснять, но Пупкин перебил: «А! Знаю, это — «больной поселок», он брошен, где-то рядом должен быть «здоровый поселок», и там кто-то живет: не то рыбаки, не то пастухи — не помню, но кто-то есть, мне рассказывали...»

Пройдя вдоль берега, нашли мы и «здоровый поселок», тоже, впрочем, разрушенный, но одно саманное строеньице сохраняло вполне жилой вид и оказалось населенным: только торкнулись, только отворилась нам дверь, как начались приготовления к праздничному ужину.

Мы, кажется, и познакомиться с хозяином не успели, а он уж спросил:

— Барашка? Индюшка?

— Верблюда́,— отвечал Пупкин, располагаясь на кошме.

— Нет верблюд,— повинился хозяин.

— Тогда уйду,— пригрозил Пупкин, но смилостивился:— Валяй индюка.

— Зачем?— спросил я его, когда хозяин ушел.— Мы же не голодны, не съедим, да потом — столько ждать, уснем ведь.

— Уснем так уснем,— сказал Пупкин.— Если бы мы отказались, он бы до утра не отставал, все уговаривал бы.

Сделав необходимые распоряжения, хозяин вернулся с чайником и пиалами — началось... Мне уж доводилось попадать на дастархан, и я знал, что это не столько принятие пищи, сколько вожделенное времяпрепровождение уважающих себя восточных мужчин: «Рай — это вечный дастархан»,— объяснял как-то прежний напарник мой, профессор тутошнего университета.

Керосиновая лампа, стоявшая на полу, едва светила — друг друга-то мы, конечно, видели, но разглядеть лицо хозяйки, возникавшей время от времени из кромешной тьмы, долго не удавалось.

Выяснилось, что хозяина зовут Ложка.

— Лешка?— переспросил я.

— Нет,— и отрицательно покачал головой.— Ложка.

Было у него и другое имя — настоящее, но очень уж труднопроизносимое даже по восточным понятиям. Родители явно перестарались: в одно имя собрали все свои мечтания и надежды — натуральнейший манифест. Нынешнее же имя было, по сути дела, прозвищем. В молодости, браконьеря с приятелем, они додумались окликать друг дружку не по имени, а, чтобы запутать инспектора, «секретными словами»: приятель законспирировался кличкой Вилка, а хозяин наш обозначился соответственно Ложкою, да так на всю жизнь Ложкою и остался.

— Мой жена зовут Анна Ивановна,— гордо сказал хозяин.— Он — русский.

Мы, понятное дело, «как» да «что»?.. Тут наступил черед водки, следом вроде бы пошел арбуз... или — сначала индюшка, а потом арбуз... или все вместе... Ну да

неважно, важно то, что мы разговорились с доверительностью наипервейших друзей. И Ложка поведал нам, что и Анна Ивановна, и он сам — дети прокаженных, счастливо родившиеся без признаков неисцелимой болезни. Когда здешний лепрозорий закрыли,— а закрыли его из-за того, что озеро засолилось и пресной воды не стало,— родителей перевели в другой, там они и поумирали. Ложка с Анной Ивановной, попытав счастья на строительстве трубопровода и прокладке каналов, не приросли ни к какому месту и возвратились назад. Малая артелька долавливала здесь остатки рыбы, которой однова суждено было сгинуть в отраве, приносимой с полей. Супруги содержали и обихаживали базу этой артельки: строеньица, лодочки, сети, погреб-ледник... Раз в неделю приезжала машина, снабжала продовольствием, водой и забирала рыбу. На зиму они перебирались к дочери — она жила с мужем в поселке газовиков.

Явились сазаны, жаренные в хлопковом масле. После сазанов Пупкин заснул: приносят суп в огромнейших пиалах, а он спит... Мы с Ложкой продолжаем возлежать, бодрствуя, хотя сознание мое уже угасает, а на пищу я даже и смотреть не могу. Помню еще фотоальбом: юный Ложка стоит возле механизма дизельной электростанции («Моторист работал»), Ложка в солдатской гимнастерке («Москва служил: метро «Краснопресненская», потом туда, гда солнышко садится»), дальше шли цветные пейзажи из журналов («Новгородская область — родина Анна Ивановна предки»), фотография древней иконы («Анна Ивановна мама»). Я поинтересовался, кто же у нее на руках?

— Анна Ивановна брат,— спокойно отвечал Ложка.— Старший брат. Он был очень хороший и умер давно-давно.

Тут и я уснул. Среди ночи проснулся. Свет не горел, Пупкин тихо рассказывал:

— Трезвый-то он у меня — ничего, а вот как выпьет...

— А он ростом-то невысок?— спросила откуда-то Анна Ивановна.

— Очень невысок,— признал Пупкин.

— Тогда конечно,— и Анна Ивановна вздохнула.— Мелкие мужички они завсегда гоношливые.

— Д-да,— неуверенно согласился Пупкин.— Но так-то он — ничего, а вот как выпьет... Да в общем-то тоже ничего, только что выражается питиевато.

— Как?— не разобрала Анна Ивановна.

— Питиевато,— повторил Пупкин.— В том смысле, что не всякий его выпившего поймет... Например, бутылку ставит на стол и говорит: «Момент — и постамент», а разольет по стаканам, уберет пустую под стол и всегда скажет: «Момент — и монумент».

— Ну и что?— спросила хозяйка.

— А то, что не все это понять могут... Или вдруг петь начнет. Оно бы ничего, если бы какую простую песню, так нет, непременно арию... Эту любил все, как ее... по радио передают... А: «Сидоров! Сидоров здесь. Сидоров! Сидоров там». Слышали такую?.. Хотя да, у вас и радио нет... Ну вот, а это не всякий правильно осознать может, иной возьмет и подумает, что здесь какая-то каверза... В общем, выпивали они да разодрались. Да друга своего он ножом и зарезал... Потом, конечно, когда протрезвел уже: мол, как я мог такое совершить?.. Плакал, винился, нет мне прощения, говорил... Восемь лет дали. Ну, я не смог в поселке-то оставаться — мы ж с отцом этого парня — зарезанного-то — вместе в депо работали. Он, правда, электрик, а я слесарь... Подался на газопровод. С тех пор здесь и болтаюсь. В отпуск к нему езжу — он в Коми республике отбывает. Не слыхали про Коми республику?.. Это на Севере — очень уж там комаров много... Ложка, не спишь?

— Нет,— отозвался Ложка. Он, оказывается, находился на кошме рядом с нами, тоже полег, где ел.

— А как тебе с русской женой-то живется?

— Хорошо живется,— удивленно отвечал Ложка.— Русский жена — хороший жена, умный жена, научил меня не жить, как другие жили...

— Это в каком смысле?

— А у нас, знаешь, приписки был, взятки был, воровать был... Анна Ивановна не разрешил мне. Теперь, знаешь, всех жуликов — суд... Вот директор совхоза здесь — хороший человек был: Золотая звезда, депутат — недавно повесился... Много миллионов было — милиционеры целый день в саду банки выкапывал.

— Какие банки?— не понял Пупкин.

— Трехлитровый, с деньгами. А жена, Анна Ивановна, научил меня не делать так: мы, конечно, бедно живем, зато честные.

— По-ня-ат-но,— задумчиво протянул Пупкин.

И тут прямо под окном завыл волк. Пока в темноте

искали ружья да выбирались из дома, волк ушел. Недалеко, правда, но уже не достать было: мы сделали по удаляющемуся вою несколько выстрелов, с тем и вернулись.

— Много волк есть, много шакал, лисица, кот дикий, хищный птица орел,— перечислял Ложка.

— Они у тебя скотину-то не крадут?— спросил Пупкин.

— Какой скотина?

— Ну, барашков, индюшек, чего там у тебя еще есть?

— Остался один барашка,— сказал хозяин,— индюшка мы уже съели.

— Так у тебя по штуке всего, что ли?

— Да, по одна штук — для дорогой гости. Теперь попрошу машина еще индюшка привезти...

За краткое время нашего отсутствия Анна Ивановна успела расстелить на полу матрацы с одеялами, а сама снова исчезла: похоже, за занавесочкой был ход в маленькую комнатенку, вроде чуланчика, там хозяйка и обитала.

— Анна Ивановна!— изумился Пупкин.— Ну ты даешь! Настоящая восточная женщина: шуруешь-шуруешь, а на глаза не показываешься — это Ложка тебя так приучил?

— Привыкла,— донеслось из-за занавески,— да и правильно это: зачем бабе в мужскую компанию лезть? Обязательно встренешь с разговором и обязательно — невпопад, только рассердишь.

— Здорово вы устроились,— позавидовал Пупкин.— Ему — русская жена нравится, ей, понимаешь, восточный муж.

На этом, кажется, все уснули.

Утром приехали рыбаки.

— А где же они живут?— спросил я Ложку.

— Земля-земля, кругом вода,— отвечал он.

— На острове,— перевела Анна Ивановна.— Там будка есть, газовая плита, баллоны завезены... Отсюда уж больно далеко до глубоких мест, так что они живут там, а два-три раза в неделю, по улову смотря, отправляют нам рыбу.

Ложка долго беседовал с рыбаками: их было двое — приветливые, улыбчивые, они наговорили нам много слов, но, кроме «салам алейкум», мы ничего не поняли.

Горючего у рыбаков не оказалось — они гоняли лодку шестом, на глубине — веслами. Машина ожидалась лишь

в понедельник — это Ложка сказал нам еще вчера. Оставалось надеяться на случай — вдруг заедут какие-нибудь охотники. Однако Пупкину велено было сегодня попасть домой, кроме того, с завтрашнего дня непременно начнется розыск — сколько же напрасных тревог принесем мы и пупкинскому начальнику, и приятелю моему.

— Пойдем пешком,— сказал я Пупкину.— Как-нибудь за день доберемся. Потом приедете на машине, заправите лодку, и отгонишь ее назад.

Он кивнул. И вдруг вершители наших судеб засуетились — над озером появился самолет.

— Пиши!— закричал Ложка, указывая на дорогу.— Пиши! Пиши, что случилось!

Мы оцепенели от недоумения.

— Какой у тебя участок?— спросила Пупкина Анна Ивановна.

— Сто двадцать четвертый, а что?

Схватив стоявшее у стены весло, она подбежала к дороге и принялась выводить в пыли саженные буквы· «сооб»...

Самолет кружил над озером и почти не приближался.

— Может, это нас и разыскивают?— предположил я.

— Нет,— отвечал Ложка.— Зачем вас? Птица смот рит: утка разная, гусь — кто-то охотиться будет: обком, райком, исполком — начальство...

«Сообщите 124»,— написала Анна Ивановна.

Самолет пошел прямо на нас. Летел он низко, и мы видели склонившееся к стеклу лицо летчика. Развернувшись, Ан-2 сделал еще один заход со стороны озера.

«Сообщите 124 лодка полом...»

Сделав успокаивающий жест рукой, пилот повернул машину вдоль берега и над тем местом, где сидела в грязи моторка, покачал крыльями.

— Пешком не надо,— сказал нам Ложка.— Отдыхать надо, чай пить надо, дастархан надо.

Подошла хозяйка, поставила на место весло.

— Спасибо,— поблагодарили ее мы с Пупкиным.

— Чего там,— отмахнулась она,— велика радость пятьдесят километров по пыли топать.

Пока хозяева принимали рыбу, мы сходили к моторке и нагрузили по рюкзаку — у нас все ж и утки были, и кое-какие харчи, так что мы вполне могли сделать достойный вклад в очередное пиршество.

На соляном насте прочитали следы недавней охоты.

подкараулив в камышах возвращавшегося с водопоя сайгака, волк выскочил из укрытия и обежал сайгака кругом, чтобы не позволить ему прыгнуть в сторону, а то ведь раз прыгнет — и уже не догнать. Задавил, вспорол брюхо, выкинул потроха и, взвалив тушу на спину, уволок — рядом со следом волка тянулись две полосы от задних копытец сайгака.

В этот раз Анна Ивановна делила трапезу с мужской компанией: мы пригласили, Ложка не возражал. И даже вполне по-российски опрокинула стопочку.

Потом за Пупкиным примчалась машина. Лодку заправили, и мой напарник, приняв в подарок мешок свежей рыбы, благополучно отбыл, мне же велено было дожидаться другого транспорта: приятель дела свои завершил и следовало возвращаться в столицу.

Ну а пока я опять уснул. Произошло это точно после шашлыка из змееголова — диковинной местной рыбины, обличием своим напоминающей налима, после жареной утки, но, думается, перед ухой...

Ложка осторожненько разбудил меня:

— Эй!

— Что случилось?

— Возьми Анна Ивановна Россия.

— Как это?

— Он никогда не видел Новгородская область, грустный из-за этого, хочет посмотреть.

Анна Ивановна, нарядно одетая, стояла в дверях.

— Потеплее бы надо,— посоветовал я.— В Новгородской-то, поди, уже снег.

— Все взяла,— с покорностью отвечала хозяйка.

У дверей лежали сумки, узлы — ничего этого прежде здесь не было. Договорились, что в Москве я посажу Анну Ивановну на поезд, а дальше уж она поедет сама: нужную станцию она знала, название деревни помнила, неизвестно было, сохранилась ли сама деревня, а если и сохранилась, есть ли там кто-нибудь хоть из самой отдаленной родни — последние письма мать получала давным-давно.

— А если никого нет?

— Неважно: посмотрю — и назад, мне бы только увидеть,— смущенно сказала Анна Ивановна и спряталась за занавесочку.

— Родной земля постоять,— вздохнул Ложка.— Надо.

Вечером на «уазике» приехал приятель мой. Хозяин на-

чал настаивать на барашке, но ценой чрезвычайных усилий нам удалось продлить жизнь уготованному к закланию животному. Когда стали грузиться в машину, Анна Ивановна отозвала меня и тихо сказала:

— Вы уж простите, но передумала я — не поеду... Такое дело, что... боюсь: вдруг да останусь там, в России.

— Может, вам и оставаться не у кого?

— Все равно: приеду да в чистом поле так и останусь... Либо в лесу... Она мне всю жизнь снится, земля эта, хоть и не видала ее никогда... Нет, нельзя. Нельзя Ложку обижать — он добрый. Мы ведь с самого детства рука об руку: и в лепрозории, и на воле... Нельзя. Да и осталось-то всего ничего,— и Анна Ивановна улыбнулась.— Теперь если уж начудишь, так на исправление и времени не хватит...

Выезжали мы поздней ночью. Когда взобрались на плато, приятель мой попросил шофера остановиться и выключить фары. Мы вылезли из «уазика» и подошли к краю полуторастаметрового обрыва — жуткая, зачаровывающая картина открылась нам: внизу, освещенное холодным светом луны, расстилалось во всю видимую ширь озеро. Где-то под нами, в непроглядной ночной черноте, ютились рядышком чистые души Ложки и Анны Ивановны.

— Не видать ничего,— пожалел я.— Как будто и нет их.

— Решили, наверное, что мы уехали, да и спать легли,— предположил приятель.

— Огонь!— воскликнул шофер.

Там, далеко внизу, вспыхнул огонек керосиновой лампы и, покачиваясь, поплыл — хозяева вышли проводить нас.

— Ур-ра-а!— закричали мы в три глотки.— Ур-ра-а!

Чего уж мы так обрадовались?

— Возьми ружье,— попросил приятель,— устрой салют — хоть волков распугаешь!

Сколько высадил я патронов — не помню, я и не считал: заряжал да лепил в небо. И все смотрел на покачивающийся огонек, которым напутствовала нас благословляющая рука.

МОНАХ СЕВАСТИАН



овелось мне как-то заночевать у приходского батюшки: долго понапрасну пороги обивал, потом одна старушенция через дверь посоветовала: «Идить на кладбище — тама священник живет, он всех пускает».

С непривычки неловко было, да что поделаешь: погода стояла слякотная — на земле не поспишь. Отыскал кладбище: слева за воротами церковь, справа — домишко похилившийся. Только постучался — зажегся свет, словно меня тут ждали.

Хозяин — тщедушный старичок с седой бороденкой — встретил приветливо, почти радостно: похоже, он сильно истосковался по общению. Любопытство подталкивало меня навстречу, и в другой раз мы, наверное, долго бы проговорили, но была ночь, мне предстояло наутро отправляться к месту охоты, священник же собирался первым автобусом отбыть на станцию, а оттуда — в Москву.

Однако чаю он вскипятил, и под чаепитие мы с ним маленечко познакомились. Звали его отец Севастиан. Когда-то он был женат: «Давно, в дьяконах еще, но недолго», а овдовев, принял постриг и с тех пор монашествовал. Я в ответ рассказал ему о некоторых незадачностях своей жизни — он повздыхал, сожалеюще покачал головой и добавил к нашему разговору еще одну семейную историйку.

Началась она сразу после войны. Возвращался через это село солдатик. Мужики тогда, известное дело, были в необычайной цене — для примера отец Севастиан сообщил, что от тутошнего лесника, которого по причине преклонения возраста на фронт не взяли, шестеро баб народили детишек. «Что ж поделаешь?— объяснял отец Севастиан.— Население продолжать надобно? Надобно! А мужского полу, кроме лесника, никого нет. Вот они и постановили: мол, будем ходить к тебе, а ты выручай, а то вдруг все мужики на войне сгинут — что же тогда, народу прекратиться?.. В открытую постановили — ихние

мужья к той поре уже сгинули... Он сопротивлялся поначалу — совестливый был мужичок, я еще застал его, правда, совсем уж дряхленького,— но потом вошел в понимание...»

Такая вот была жизнь. И вдруг: солдатик, молоденький, при руках и ногах — заглядение! Бросились на него бабы и девки, а он — что: его дело солдатское. Короче говоря, побрел доблестный воин дальше, а спустя некоторое время некая юная красавица почувствовала, что «под сердцем у нее забилось еще одно»— слова отца Севастиана. Слушаю я его и недоумеваю: что же тут занимательного? А он все вещает и вещает...

Испугалась красавица — больно лют у нее родитель был: с фронта вернулся перекалеченным, пил, злобствовал — по пьянке вполне убить мог. Да кстати, в конце концов и убил — правда, не дочь, а случайного человека, в тюрьме и помер.

Пока можно было — скрывала, а когда скрывать стало затруднительно, подалась в соседнюю область на торфоразработки — вроде бы за копейкой, отец одобрил. Там народ сбродный, чужой, никому до нее дела не было — потихонечку и родила. Однако домой ребятенка принести не решилась и на обратном пути в мимоходной деревне подбросила. О людях этих знала, что они добрые, живут крепко, а своих детей нет.

...И опять: слушаю я рассказ батюшки, но ничего редкостного не нахожу, а дремота одолевает. Повествование же все течет, и конца ему не предвидится.

Потом женщина эта вышла замуж, родила еще двоих детей, вырастила их... И все это время не переставала секретно проведывать о судьбе подброшенной девочки, а той жилось хорошо.

И вот нынче летом они встретились в поле: рожь высоченнейшая была — столкнулись на тропинке. У дочери уж своих трое, и все — мальчики: старший в армии да двое маленьких — с маленькими она и шла. Встретились, поздоровались, как это принято по деревням, и разминулись. После этого с матерью, а ей недавно исполнилось шестьдесят, стало твориться неладное: бессонница, слезы, вой — муж собрался в город ее везти, к докторам, но она отказалась.

И пришла к отцу Севастиану.

«Приходит, значит, на исповедь и стоит мнется. Я говорю: «Ты, матушка, крещеная хоть?»— «Крещеная»,—

отвечает. «А в храме,— спрашиваю,— когда последний раз была?» — «В детстве».— «Ну ладно,— говорю,— что там у тебя?» Ну, она мне все это изложила и спрашивает: «Что же мне делать-то теперь? Признаться дочери или промолчать — так и уйти в могилу? Тяжко, батюшка,— говорит,— душа к ней так и рвется, так и рвется. Ведь мое, родное ведь!.. Вылитая я в молодости... Но боюсь,— говорит.— Скажу вот, что она — дочь мне, и вдруг да в ее сладившейся жизни что-то нарушится? А этого,— говорит,— не пережить мне. Пусть бы прокляла меня, только бы ей хуже не сделалось»,— и плачет, плачет. И я плачу. Ревмя ревем. А что отвечать — не знаю: не открыто мне, не открыто...»

Грустно, конечно. Однако, думаю, таких историй нынче в газетах полным-полно. Между прочим, интересуюсь у священника, не разгласил ли он случаем чужую тайну?

— Нет,— с готовностью отвечал отец Севастиан.— Я вам ни имени этой женщины, ни места проживания не сообщил — я ведь так... все более в отвлеченности.

Еще малость поговорили о послевоенном времени, потом — о войне. Выяснилось, что отец Севастиан воевал, трижды ранен, имеет боевые награды.

— Я, конечно, тогда по-другому звался — Петром, это уж при постриге меня в честь одного святого... Картина знаменитая есть: стоит он, к дереву привязанный, и весь стрелочками истыкан... Во-во, Тициана! Ну а мученик сам вообще-то начальником стражи у заграничного императора служил — давно, еще в третьем веке. Ну, император его за непоколебимую веру и... того... А я тогда — да — Петром был. В зенитных войсках...

Вот уж было мне интересно, но легли спать: я на диванчике возле печки, хозяин — в другой комнатенке: «в келии».

Встали затемно. Опять пили чай. Старик, продолжая вчерашний разговор, сказал:

— Так что не открыто мне, не открыто...

— Выходит,— решился подытожить я,— и церковь не всегда может помочь?

— Отчего же?— не согласился старик.— Если бы они обе ходили в церковь, я бы помог, а так: дар прозорливости надобен. Вот еду теперь в Загорск, в Лавру — к отцу Кириллу. Он прозорливый, поможет.

— Так вы что ж — за этим и едете?

— Именно,— удивился отец Севастиан моему непониманию.

— Специально за этим?

— Ну да... Не за колбасой же? Мы ведь мясного не потребляем... А если отца Кирилла на месте не будет,— старик задумался, вероятно, эта мысль только что пришла ему в голову,— если не будет... придется ехать в Печоры... Да,— твердо заключил он,— тогда в Печоры к отцу Иоанну.

Прощаясь, он извинился за бедность и приглашал и впредь заезжать к нему. Однако охота там оказалась никудышной — дичь была перетравлена, и более в те края я уже не попадал.

ВЕСЕННИЙ СОН



ородишко этот знаменит лишь своим прошлым: лет сто назад некая предпринимательница, скупив в округе леса, основала здесь бумажную фабричонку, которая вскорости начала поставлять бумагу двору его императорского величества и королевским дворам Европы.

Дело велось с размахом, но осмотрительно: из сотни деревьев ежегодно вырубалось только одно и на его место непременно высаживалось малое деревце хвойной породы.

Фабрикантша облагодетельствовала город железнодорожной веткой, школой, больницей, церковью, магазинами, народным домом — театральным зданием с механизированной сценой и, наконец,— «рейнскими погребами», в которых к стакану деликатнейшего вина бесплатно прилагалась телячья котлета. Монополька была изгнана в сельцо верст за десять, это вызвало гнев губернских властей: полицмейстер срочно выехал наводить порядок да в тот же день ни с чем и вернулся — своенравная барыня даже не соизволила явиться на станцию, и встречала полицмейстера лесная стража — дюжина мужиков как на подбор: все могучие, с бородами, все в одинаковых кафтанах, у каждого за плечом ружье. Высокий гость плюнул в сердцах на перрон и тем совершенно исчерпал содержание своего визита.

Потом, правда, в каком-то собрании, губернатор сумел уговорить фабрикантшу, и вертеп был приближен к городу на три версты.

В двадцатых годах эта одинокая женщина скончалась голодной смертью.

Фабрика и доныне стоит: она сильно выросла и производит гофрированный картон. Служит и железнодорожное полотно, не ремонтировавшееся, впрочем, со времени дровяных паровозов, служат и больница, и школа, и

народный дом, и магазины. Церковь вот только снесли да лес повырубили.

По всему видно, что хвалиться сегодня нечем. Но разве может провинция без хвастовства? Нет, конечно. Даже при самой бледной выразительности бытия какой-нибудь повод да найдется: на безрыбье, известное дело, и рак — рыба, а на безлюдье и Фома — дворянин. Однако ругать за это провинцию не следует, так как происходит упомянутое хвастовство не столько от самомнения граждан, ее населяющих, сколько от неукротимой любви этих граждан к родной земле.

Наш городишко тоже повод похвалиться нашел: «Про Степакова слыхали?.. Не слыхали? Ну как же!.. Как кто такой? Герой! Всамделишный! И всяких прочих орденов и медалей — прорва: жена его десять лет только тем и занимается, что атласные подушечки шьет. Шьет, шьет — и все мало. Да как же вы не слыхали?.. Удивительно... Ведь Степаков, он... он...»

Степаков, он — достопримечательность местного масштаба и ничего более. Был некогда депутатом, выступал на собраниях, призывал в районной газете к повышению урожайности и надоев, потом начисто отошел от общественных мероприятий, купил в пустующей деревеньке избу и уединился для охоты и пчел, которых в иные годы держал семей до шестидесяти.

Говорили про него, что он браконьер, что балуется пушнинкой — не ведаю. Может, оно и так, даже скорее всего — так. Но, решительно отвергая всякое нарушение всякой законности, замечу, что пушное дело у нас слажено крайне несовершенно и потому лишь малая часть вольной, то есть добытой охотниками, пушнины попадает в руки фабричных меховщиков. Несоизмеримо большая часть, минуя эти руки, сразу оказывается на плечах и головах морозонеустойчивых граждан.

Говорили еще, что жена Степакова погуливает. Я и про это совершенно ничего не знаю, однако знаю, что она лет на двадцать моложе его, как будто бы весьма недурна собою, что детей у них нет и что супруг с весны по ноябрь далеко в лесу, то есть, конечно, о семейной гармонии говорить в данном случае затруднительно.

По всей вероятности, Степаков приметил ее в ту пору, когда находился возле самой вершины районного эвереста. А потом он что-то гору оставил, да и сил, наверное, поубавилось... Эти обстоятельства едва ли могли притя-

гательным образом подействовать на молодую красавицу.

Родом он был вологодский — из Тарноги, кажется, или из Тотьмы — не помню, боюсь соврать. Можно предположить, что где-то там — в Тарноге или в Тотьме — была у него прежде другая семья, но только предположить, потому что и об этом я ровным счетом ничего не знаю.

Однажды мне довелось провести у Степакова в гостях целый день, и то, что он рассказал мне, заслуживает куда большего внимания, нежели свойства его семейного жития, которые, сколь ни были бы они грустны, вряд ли обнаружат в себе хоть гран неожиданного. Сдается, время непохожести несчастливых семей куда-то кануло.

Произошло это на весенней охоте. Я искал дорогу к труднодоступному мху, славившемуся обилием глухарей, не нашел и коротал вечер на тяге. Место казалось мне вполне подходящим, однако ни одного выстрела сделать не довелось. Между тем совсем неподалеку стреляли, и весьма часто. Я подивился — по моим расчетам, вокруг широко расстилалась ненаселенная глухомань, болота, и вдруг... Переночевав у костра, отправился в направлении вечерошней канонады, вышел на заросшее мелким березняком поле — посреди поля стояла изба. Вот так, вполне нечаянно, я и оказался у Степакова в гостях.

Мы, понятное дело, представились, а Степакова зовут редкостно — Досифеем Анастасьевичем,— и разговор естественным образом склонился к обсуждению прежних имен.

— У нас там,— начал Степаков про Тарногу или про Тотьму,— что ни старик, то по нынешним временам какая-нибудь диковинка. На грамотных батюшек, видно, везло — грамотные священники обычно по-гречески увлекаются. Вот, скажем, дядька мой — Феогност Философьевич или сосед — Калинник Евстратиевич... Старшую мою сестру Хионией зовут, младшую — Аскитреей...

Он перечислил еще десятка полтора родственников и знакомых, и это все были Нифонты, Ианикиты, Полиевкты, Менандры, Пантелеймоны и даже один не то Лавр Флорович, не то Флор Лаврович — неукоснительный, конечно же, латинянин.

— В двадцать восьмом батюшка отбыл на Соловки, и начали чудить кто как умеет: появились Исланд, Электрофик, Флюенца, Гоэлра... А теперь везде одинаково:

Вовки да Сашки, Таньки да Наташки — имена ничего, неплохие, но зачем же такое оскудение?

Я согласился, что это никуда не годится.

Потом Степаков угостил меня чаем с лепешками,— которые пек вместо хлеба — весьма, кстати говоря, приятными на вкус, и вызвался проводить до глухариного тока.

Шли мы по узкоколейке, проложенной в довоенные времена и брошенной в начале шестидесятых. Местами ивняк и лещина подступали уже к самому полотну, однако между рельсами оставалась еще тропинка — твердая и сухая, по которой можно было идти гуськом — так мы и шли: впереди Степаков, я — следом. И разговаривали.

— А как вы сюда попали?— спросил я его.

— После войны-то?.. Приехал знакомые места посмотреть — и остался. Я ведь воевал здесь. Об этом, правда, мало кто знает. Воевал, понимаете ли, так, что ни одного выстрела и не сделал — из окружения выходил. Аккурат по этому узкоколу. Вообще-то мы южнее стояли... Под Москвой наступление давно идет, а мы ждем-пождем. Ну, в феврале-марте командование стало примериваться: то деревеньку какую возьмем, то высотку. Немцы вышибут — мы по новой. Вот так с пушчонкой однажды и влипли: сунулись удирать — сзади танки, мы в лес — там болото, обогнули болото — какая-то часть стоит, мы дальше на север. Вдоль линии фронта и перлись. Километров сорок, наверное. И все с пушечкой, а боезапасу — один снаряд, подорвать в случае надобности... Сейчас к речке выйдем — посмо́трите...

Подошли к речке. Деревянный мост, некогда переброшенный через нее, давно разрушился, однако в нагромождении балок Степаков знал надежный ход, и мы, карабкаясь с бревна на бревно, медленно, но вполне благополучно переправились.

Мне доводилось слышать множество военных историй, однако я впервые находился с фронтовиком в местах его боевых действий, в местах, что немаловажно, почти не изменившихся за сорок лет, да еще и время года совпало...

— Мы чего шли к северу? Знали, что здесь, в болотах, сплошной линии фронта нет, и надеялись проскочить где-нибудь. Вот до этого места ползли трое суток — по десять верст в день. Хорошо еще, что снега не было. Огня не разводили: лапнику наломаем, уляжемся потес-

нее — вот те и вся ночлежка, околеваем, но спим. Харч давно кончился... Ну а сюда вот, к реке, вышли и поняли: не видали мы еще настоящего лиха... По мосту не перебраться — охрана, а река разлилась так, что... ну как сейчас!..

Сейчас лес был затоплен. Из темной, почти черной воды торчали кое-где верхушки цветущей вербы. Я спросил Степакова, что же тут охраняли немцы? Оказалось, узкоколейка использовалась для снабжения войск.

— Танки по ней, конечно, не перебросишь, но живую силу, продовольствие, боеприпасы да и орудия, если небольшого калибра,— можно. Тут вагончики были, платформы, паровозики-«кукушки»— движение круглые сутки шло. Специальные бригады путь ремонтировали, словом, жизнь кипела. Ну и охранялось все по высшей немецкой категории... Решили переплавляться. Отошли от дороги подальше, связали из валежин небольшой плот — нескладный, помню: все бревна разной длины — топорами-то не постучишь, так что — где длинное, где короткое... Ну вот, закрепили пушечку и — сначала пеше, потом вплавь, потом опять пеше — выбрались кое-как. Целый день потеряли! Прошли маленько,— а дело к ночи уже,— сбегал один на разведку, говорит: так и так, впереди поле, на поле деревня, у опушки — сарай. И мы из последних сил как рванули в этот сарай... Затолкали пушку, попáдали на гнилую солому — и как не было нас... И вот ведь, брат: знали, что немцы кругом, но... какое там! Помню, последняя мысль была: пусть хоть убьют, только бы не разбудили. Проснулись к полудню. Выглядываем — рядом с сараем этим... ну, метрах в пятнадцати — проселочная дорога и следов на ней немецких — полным-полно, да все свежие, прямо на глазах жижей затягиваются. То-то, думаю, немцы мне снились,— а они несколько раз снились: смеялись, кричали что-то, но я все равно не просыпался — сил не оставалось, так что наплевать мне на немцев было... А тут гляжу: не сон это — шли они вот здесь, совсем рядом, и смеялись, и разговаривали... Ну ладно. Просидели до темноты, а жрать охота!.. Направили одного в деревню. Возвращается: вареной картошки принес и рассказывает, что с утра мимо сарая нашего прошло четыре немецких взвода, вот так-то... Чудо нас сберегло, не иначе — надо же: никто не заглянул в ворота. Сидим мы, значит, голодные, продрогшие и не знаем, куда дальше двигать. Ночью подва-

ливают разведчики — наши, стало быть: тоже в деревню шастали, деревенские их и навели. Пушку заставили бросить: мы ее, понимаешь, волокли, волокли, столько мук из-за нее перетерпели и — нá тебе. Но пришлось, с нею бы нам не выбраться. Вывели нас разведчики, сдали, куда положено, тут само собою допросы и проч и проч... Так что не люблю я про это распространяться — невеселые времена... Ну вот вы и пришли.

Подошли к стрелке — они и раньше попадались, ответвления от основного пути, однако нужный мне поворот был именно у этой стрелки. Здесь нам предстояло расстаться. Степаков объяснил дальнейшие ориентиры, я поблагодарил и на прощание поинтересовался, с чего это он оставил шумную деятельность?

— А, это... Да никакой тут загадки нет: удушения не выдержал... Как бы вам это растолковать?.. Ну, к примеру: стал раз вопрос: сносить церквуху или реставрировать? Она в упадок пришла — луковицы с нее упали... Проголосовали, утвердили, снесли. Потом насчет очистных сооружений: проголосовали, утвердили, новый цех пустили без них, рыба в реке передохла. Вокзал сто лет не ремонтировался, в больнице пол сгнил, в школе потóлок осыпается: проголосовали, утвердили, банк построили двухэтажный. Хотя на кой он надобен, этот банк, если весь городской бюджет в кармáне штанов унести можно? Да что там банк — восемь памятников отгрохали, из них пять — одинаковые, но главное не в этом, главное — большие и не дешевше столичных!.. В общем, разваливали, разваливали город, наконец и до деревень добрались: как сессия — так новый список. Проголосуем, утвердим — и радио и электричество отрезаются, школы и магазины закрываются, почта обслуживать перестает, люди уходят... Вот так однажды прозевал я свою деревню — ну, ту, в которой мы дрыхли-то... Списком голосовали, а в списке — деревень двадцать было. Когда спохватился — поздно. Вот тут-то угнетенность мою как ветром сдуло: доколе, думаю, буду я совесть душить?.. Ну, бросил все, купил последний домишко и держусь теперь. Что ж, брат? Эта деревня нам жизнь спасла. И дело не только в том, что немцы нас, спящих, миновали: мы ведь, кто пушку тащил, с войны-то все до единого возвратились, кумекаешь?

Я признался, что не понимаю.

— Это действительно трудно понять... Но мы тогда

научились, можно сказать, самому главному: мы усвоили, что война — это, прежде всего, жуткий труд... Жуткий, не-че-ло-ве-чес-кий!.. А уж стрельба, взрывы, ранения, смерть — так, десерт. В общем, заматерели мы за те дни и дальше уж воевать нам было полегче — полегче, чем до того, и полегче, чем многим другим, хотя, конечно, и нас подырявило... А пушечку все равно жалко... Ну ладно, бывай здоров.

На этом расстались.

Спустя год я узнал, что Степаков срубил баню, еще через год там построило избу местное охотничье общество, а нынче осенью, говорят, колхоз спалил мелколесье и вспахал поле — глядишь, весной что-нибудь и посеют.



НЕСКОЛЬКО СЦЕН ИЗ ЖИЗНИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

прежние времена, когда люди чаще, чем теперь, вспоминали о смерти и размышляли о вечности, когда жили не торопясь и радовались, словно чуду, каждому мгновению бытия, существовал род деятельности, о котором если и вспоминают ныне, то лишь снисходительно, как о шалости, о баловстве. Деятельность сводилась к наблюдению окружающей человека природы и к записыванию своих наблюдений. Посвящавшие себя этому занятию назывались натуралистами.

Не берусь судить, насколько значителен их вклад в естественные науки, скорее всего, он невелик, ну да не в этом дело: главные заслуги добросовестных созерцателей вовсе не в обучении умственным знаниям, а в воспитании души. Натуралистом ведь не мог стать человек, лишенный любви к природе, именно любви — чувства щедрого, бескорыстного. Кроме того, в отличие от ученого, никогда не останавливающего внимания на том, чего он не умеет измерить, натуралист не только признает существование в природе тайн, но и благоговеет перед этими тайнами. Вот почему, делясь с другими людьми своим богатством, он одаривает нас не только знаниями — ценность их, увы, относительна и преходяща,— но и чувствами: как правило, безусловно добрыми, основанными на истинной, не зависящей от веяний дня духовности.

Теперь — другая жизнь. Теперь мы суетимся и заполошничаем так, словно впереди у каждого не один век, словно никому из нас сносу не будет. И впрягаемся в ярмо: в подписывание бумаг, в рычаги и железки, в таблицы, формулы, схемы, в пересчет купюр, в зеркало, слухи, вражду — и спешим, спешим... Задыхаемся, пот застит глаза, но — спешим, полагая суматошность вескою добродетелью и называя подчас «горением»— самую обыкновенную горячку. Ну а тут как раз — брык... Случается, не успеваем и сведать: где́ жили,

что́ это за земля, что́ было на ней прежде; не успеваем увидеть, что́ окружало нас; не успеваем осознать многообразие жизни — не успеваем ощутить себя частицей всеобщего бытия.

При таких скоростях — до созерцательности ли? Натуралистов подмяли, обошли и оставили далеко в прошлом. Но если как занятие профессиональное наблюдение за природой и перестало существовать, то как любительское увлечение — сохранилось. И прежде всего в среде охотников.

Насчет этих людей бытует известное предубеждение. Некоторые склонны связывать с представлением об охоте понятия «жестокость», «безнравственность», «зло» — и напрасно. Спору нет: охотничье сообщество занято прежде всего собственно охотой, то есть добыванием дичи. И вполне можно понять тех, кто этого древлеобычного пристрастия не разделяет. Касательно же безнравственности... Соловецкий монастырь до начала двадцатых годов нынешнего столетия держал две артели монахов-промысловиков, бивших зверя и птицу: на продажу и для прокорма гостей — самим монахам этот продукт за ненадобностью. Конечно, соловецкие черноризцы нам, принесшим на острова новый порядок, совсем не указ, но все-таки: каждое деяние свое и каждый помысел сверяли они с законом высшего судопроизводства, так что позволительно будет, думается, усмотреть в их заготовительском усердствовании некое благословение.

Малоопытный охотник и в самых богатых угодьях не видит дичи. Это обескураживает и уязвляет его: он начинает всматриваться, изучать повадки, следы — начинает наблюдать живую природу.

И вскоре уже совершается открытие.

Какая-нибудь полевка, пробегающая мимо тебя, стоящего на вальдшнепиной тяге, вдруг остановится, положит передние лапки на носок твоего сапога и, задрав мордочку, оцепенеет. В другой раз над тобою, затаившимся в утином скрадке, возьмутся кружить чайки, грачи, журавли. А к шалашу, где ты дожидаешься тетеревов, тихохонько подберется тетерка, просунет голову сквозь еловые ветви и, уставившись на тебя куриным глазом, будет стоять так с вывернутой шеей хоть четверть часа, хоть час; или еще заяц набежит: сядет в полуметре напротив — столбушок столбушком, даже ушами не прядает.

Так с удивлением обнаруживаешь, что и сам достоин исследования. Это обстоятельство побуждает взглянуть на себя как на представителя человечества. И что ж: неожиданные и слабознакомые нелицеприятности открываются взору... Но это — только начало.

Если достанет терпения, будет дозволено тебе засвидетельствовать события почти сокровенные: подсмотришь, как кабан наказывает ослушников-поросят, как ругаются белки, как любуется перелинявшим хвостом лиса; или, к примеру, глухарь, шумно слетев с сосны, исполнит перед тобою весенний танец; узнаешь, что выдра любит кататься зимой с горы, а крылья вольно летящих лебедей звенят наподобие медного колокола.

Может, и что-нибудь более редкостное сподобишься увидеть.

...Возвращаясь как-то с глухариных болот, я прилег отдохнуть на крутояре лесной реки, задремал и был разбужен вальдшнепами, устроившими побоище прямо перед моим лицом. Пригнув головы и растопырив крылья, они поочередно атаковали друг дружку. Располагались мы на свалявшейся прошлогодней траве, и кулички в азарте, случалось, цепляли за траву длинными клювами и, натурально спотыкаясь, опрокидывались вперед. Впрочем, отважных птах это ничуть не смущало. Я лежал на левом боку, старался не дышать, не моргать, вообще никак не шевелиться и боялся лишь одного: как бы ближний ко мне боец не уступил противнику последнюю перед моим носом пядь, а то уж очень щекотно вышло бы. Вдруг из-за моей спины на плечо мне выпорхнула вальдшнепиха. Ребята добавили жару и закувыркались пуще прежнего. Не знаю, сколько мог продолжаться отчаянный поединок, но вальдшнепиха спрыгнула мне на лицо, я вздрогнул — птичек смело, словно ветром.

В тяжкие минуты звери, бывает, обращаются к человеку за помощью, вверяя ему подчас и свою жизнь. Известно немало случаев, когда израненные лоси, например, выходили к селениям, испрашивая хоть какого медицинского обслуживания. Многим охотникам и егерям доводилось в пору разливов воды спасать зайцев, енотов, лисиц совершенно в традициях приснопамятного деда Мазая.

...Однажды — это было на даче — в комнату влетели встревоженные скворцы. Все присутствовавшие поняли, что случилась беда и выбежали в сад: на скворечнике возлежал котяра и пытался достать лапою птенцов. Хо-

зяйка дома подняла камень, прямо от крыльца бросила и сбила кота. Все были очень удивлены: мало того что хозяйка не имела, конечно же, опыта прицельного камнеметания, она была еще и невероятно близорука — с этого расстояния она не видела ни скворечника, ни кота. Кто уж водил ее рукою?

...Помню случай, когда птицы попросились мне в компаньоны: я полз по стерне, скрадывая гусей, а три вороны шагали следом. Оборачиваясь, я грозил им, указывал на ружье, но они лишь пригибались пониже, вжимаясь в стерню, и не отставали. Гуси заметили меня, снялись. Я поднялся. Тут улетели и вороны. Каркали они, как мне показалось, с пренебрежением.

И вот что примечательно, что интересно: чем более возрастает опыт, тем мягче становится охотничья страсть. И потому многие с годами начинают стрелять все меньше и меньше, а иные и вовсе отказываются от стрельбы, хотя с оружием не расстаются и продолжают посещать полюбившиеся угодья: мир, который открыла этим людям охота, манит, притягивает, не отпускает, и ружье — даже болтающееся за спиной — привычно настораживает внимание: обостряется зрение, обоняние, слух, шаг делается пружинящим и бесшумным.

В свой час свершится очередное открытие.

...Связисты, подвозившие меня на грузовике, проверяли линию. У бетонного столбика с навешенным коробком-усилителем остановились. Полезли к столбику с телефонной трубкой, чтобы, значит, «алё, алё», а там грязно — весной дело было. Посмотрели по сторонам — щит какой-то валяется: не то указатель бывший, не то транспарант. Взяли щит, перенесли, давай названивать. Гляжу, а на том месте, где щит лежал, жилье мышки-полевки: пятеро розовых мышаток — глаза еще не раскрылись, под кожей еще, и мамаша: красивенькая, шкурка переливается, блестит — грызуны вообще чистоплотны. День холодный был. Настолько холодный, что подмерзшие за ночь лужи так к полудню и не оттаяли. Что ж, думаю, делать? Щит забрали, а если даже и возвратить его — он уж и помят теперь, и в грязи — не уложится на свое место. А мышата пищат — вот ни в жизнь не подумал бы, что столь незначительные, столь маломерные существа могут с такою пронзительностью пищать. Поднялась мышь на задние лапки, посмотрела вверх, на меня — а чего тут смотреть, зреньице у мышей незавидное, постояла

и убежала в нору. Вот и все, думаю. Ну, думаю, и устройство у нас, у людей: и не мыслили зла причинить, а вот на́ тебе: целому выводку погибель. Всего-то и делов — недосмотрели маленько, и уже прах, тлен и ничего не поправишь — мне ведь этих мышат не накормить, они ведь через несколько минут от переохлаждения сдохнут.

Такого рода открытие.

Но мышка-мама опровергла безысходные выводы: высунувшись из норы, она с просительною надеждой посмотрела в невидимую высоту, потом подбежала к мышонку, схватила его за шиворот и уволокла под землю. Следом — другого, третьего: вероятно, где-то там у нее зимняя квартира была. Пятерых перетащила и снова пришла — считать не обучена.

Хорошо, конечно, что завершилось все без потерь, однако насчет устройства нашего, позволяющего нам даже без умысла, нечаянно, творить непоправимое зло, соображение было верным.

...Разбирая поленницу возле лесной избушки, мы с приятелем добрались до трясогузкиного гнезда — ни он, ни я не ведали, не замечали, что в дровах трясогузки живут.

Сколько-то там птенцов — не помню. Рты разевают... А мама и папа по крыше бегают. Ну, подравняли гнездо, соорудили над ним укрытие из полешек: мама и папа осмотрели постройку и не приняли ее — слишком свободными оказались подступы, безопасности не хватает.

Переложили потеснее — опять что-то не устраивает: прыгают птички, верещат, а к птенцам не приближаются. В общем, старались, старались мы, такого, казалось бы, изобретательного зодчества сумели достигнуть, но родители не признали гнезда. Так что при всем своем — в сравнении с трясогузкой — могуществе восстановить случайно порушенное течение жизни мы не сумели.

Это открытие можно считать фундаментальным: оно определяет наиболее вероятный итог невнимательного, равно и преобразовательского отношения человека к природе.

Только прочувствуешь, только впитаешь, а следом еще одно: всякая тварь живет так, как ей заповедано: волк — по-волчьи, заяц — по-заячьи, тюлень — по-тюленьи — и

не иначе. Ах, если бы и человек возвысился до жизни, достойной имени своего! Тогда бы гармония всеобщего бытия не нарушалась и всем бы — всем!— хватило всего.

Но и это открытие не последнее, за ним — новое, потом — еще, еще и еще...

Нет, кто бы что о натуралистах ни говорил: наблюдение за жизнью несхожих с нами существ — занятие благодатное и поучительное. Душеполезное.

ТУДА И ОБРАТНО



тот год Сережа Белов научился плавать. Сначала по-собачьи, потом — нельзя сказать, чтобы брассом, но — похоже и наконец — саженками. Дело происходило в Мышкине, славном приволжском городке, еще хранившем тогда — лет эдак тридцать назад — следы былого провинциального величия в виде двух грандиозных соборов с обломанными крестами, торговых рядов на главной площади да еще — некоторого числа кирпичных зданий старой постройки: крепких, с украшательной витиеватостью в кладке. Сережа был москвичом — родители его снимали здесь дачу.

Плавал он вдоль плотов, причаленных к берегу. Кто-то из взрослых сказал, что длина плотов — сто метров. Сумев одолеть расстояние пять раз, Сережа решил, что может теперь переплыть Волгу, и начал пристраиваться к ребячьим компаниям, которые время от времени подвигались на это предприятие. Старшие ребята его не брали — он было сунулся к ним, да не выдержал испытания: «Саженками можешь?»— «Могу».— «А по-собачьи?»— «Тоже могу».— «А топором?»— «Нет!»— радостно отвечал Сергей. «Тогда не возьмем». Такое испытание, значит.

Что же до его сверстников — все они были под присмотром, и заплыв мог состояться лишь в случае удачного соединения обстоятельств, иначе говоря,— при одновременном отсутствии родителей, бабок, старших сестер, дядь и теть. Ведь достаточно было кому-то из них обнаружить детишек удаляющимися от плотов, тут же организовалась бы погоня. Ну и, само собой, готовиться к заплыву надлежало в строжайшей тайне.

Собралось человек пять или шесть, подготовились, то есть стырили по булавке — знатоки утверждали, что от долгого плавания сводит мышцы и единственное спасение — укол. В назначенное время сошлись. Вчетвером: у кого-то не получилось. Поговорив о судорогах и втором дыхании, нырнули.

Похоже, второе дыхание к ним так и не пришло — уж очень долго барахтались. Конечно, боязно было — ведь они лавливали здесь рыбу — и с лодки, и с плотов — и знали, что под ними двенадцать метров воды, воды темной, непроглядной — лишь на длину опущенных рук просвечивали ее лучи солнца.

Благополучно разминувшись с караваном баржонок, преодолели фарватер. С кормы последней им что-то прокричал шкипер — Сережа не разобрал что, однако лицо шкипера было приветливым.

Затем путь пловцам пересек рыбак на весельной лодке: он смотрел на ребят пристально и серьезно, но ничего не сказал.

Одолев в последнем отчаянье заросли прибрежной травы, они выползли наконец на твердую землю и полегли неподалеку от пристани села Охотино. Отлежавшись, долго еще не решались пуститься в обратное плавание: ходили вдоль берега туда-сюда, завернули на кухню охотинского дома отдыха, где выпросили у поварихи по куску сахара, хотели еще посмотреть кино, но без штанов не дозволялось. Тогда — на кладбище: опять же занятие для храбрецов.

Побродили меж старыми каменными надгробьями, позаглядывали в церковные окна: внутри храма было темно — горели красные и зеленые лампадки и более ничего не было видно. Ни один человек не встретился им — должно, службы в тот вечер не предполагалось.

Потом снова сидели у Волги, рассуждая о карах, которые могли ждать их на противоположном берегу. И тут парнишка один, его звали Юркой, сказал:

— Я нынче и без того уже мать обидел... Она с ночной пришла, жратву приготовила, а я говорю: пахнет от тебя как-то — больницей и уборной, скоро уж весь дом провоняет...

— А она чего?— спросил кто-то.

— Заплакала... «Для тебя же,— говорит,— Юрочка...» Да я и сам знаю: денег не стало хватать, вот и пошла на подработку санитаркой, а я...

— Ничего, матери — они отходчивые,— со знанием дела успокаивали мы его.— Простит.

— Простит,— согласился он, поднимаясь.— Ладно, плыть надобно.

Далеко впереди мерцали огоньки Мышкина, и было до этих огней не пятьсот, а трижды по пятьсот мет-

ров. Очень скоро ребята поняли, что усталость не оставила их, что она лишь затаилась: течение сносило и сносило — хорошо еще сообразили перед возвращением подняться по берегу, насколько позволяла местная география — до впадения реки Юхоти. Тут еще по курсу возник колесный буксир с плотами — приближаться к ним было опасно, и мальчишки, теряя силы, выгребали против течения, чтобы не потерять из виду огни, чтобы не отнесло в далекую неизвестность.

Но вот плоты миновали их — на оконечности пылал костер, освещавший шалаш плотогонов и лодчонку, болтавшуюся в волнах. Глухая, вязкая чернота пала на воду. Сережу охватил панический страх. Судорожно заработав руками и ногами и чувствуя, как силы покидают его, он закричал: «Ре-бя-а!» С двух сторон отозвались. И хотя голоса эти были не менее испуганными, стало спокойнее.

— Плывем!— крикнул он как можно бодрее.

— Плывем!— донеслось справа.

— Ага!— слева.

...Очнулся Сергей от всплесков за своею спиною: оказалось, выкарабкаться на сушу ему удалось только до половины — ноги оставались в воде и время от времени конвульсивно дергались. Не сразу получилось и подняться: ползает, ползает по песку, а лишь попытается встать — ноги отказывают.

Кое-как доволоклись до дома. Втроем.

А через несколько дней хоронили Юрку. Событие это представлялось несформировавшемуся сознанию Сережи Белова вовсе не тем, чем оно было на самом деле: смешанное чувство восторга и ужаса от сопричастности непостижимому таинству владело мальчиком. Увы, именно так.

Потом, когда сознание распределило все по законным местам, душа не отозвалась — слишком уж много времени прошло, слишком много. Да и бедолагу того Сережа почти не знал — дети, как известно, сходятся легко. «Как тебя зовут?»— вот и приятели. Сходятся легко, легко и расходятся... Так что история эта в целостности своей с годами только тускнела.

Сохранились разрозненные картинки: улыбающийся шкипер, рыбак в широкополой соломенной шляпе и белой полотняной рубашке с распахнутым воротником, пчела, влетающая в окно храма, вылетающая обратно

и снова влетающая... Костер плотогонов, лодка в огненных отблесках бурлящей за плотами воды... Картинки запечатлелись хотя и ярко, но недвижимо: фотографии как фотографии. Между тем несколько слов, оброненных случайным прохожим и поразивших Сергея Белова очевидной, как показалось ему, бессмысленностью, облеклись со временем в суровую плоть и с годами стали все чаще, все тревожнее и требовательнее поверять устойчивость его духа: когда провожали Юрку, незнакомый старик, спешивший мимо, поинтересовался, кого хоронят, а услышав ответ, с неожиданною улыбкою заключил:

— Счастливый. Должно, без греха. А тут,— он махнул рукой,— живешь, живешь...— помолчал, вздохнул тягостно:— Как же я устал! Как я устал!— и пошел своею дорогой.

СВЕТ



детстве я много болел. Врачиха, лечившая поочередно корь, пневмонию, коклюш, ветрянку, краснуху и уважительное число ангин, однажды не выдержала: «Ну что с тобой делать — на помойку снести?» Врачиха была не злой, напротив — доброй, заботливой и, уж конечно, не собиралась выбрасывать на помойку больного ребенка, но спросила так для того, чтобы, думается, построжать родителей. «Знаю, что у вас большая семья,— сказала она еще,— знаю, что ответственная работа, но умоляю: бросьте все и немедленно отвезите его на море». Так впервые я оставил Москву и очутился в Анапе.

Если прежние мои ощущения были связаны в основном с тем, что приносили болезни: с горчичниками, уколами, компрессами, с полубеспамятством жара и постельной тюрьмой, то здесь — переставшему наконец болеть — открылась громадность мира и чувства устремились познать его. Оттого, верно, приметливость сопутствовала мне в то лето, как, может быть, никогда более во всей последующей жизни.

Было, конечно, в Анапе море, песчаный пляж, тянувшийся к горизонту, полчища белых крабиков на мелководье, базар с виноградом, персиками и ставридой: на рубль — пять... Был еще дом — старой постройки, кирпичный, в три высоченнейших этажа. Бомба не оставила ни кровли, ни перекрытий, ни окон, ни дверей — только стены. За стенами — груды битого кирпича, крошево штукатурки, и все это поросло сладко пахнущими цветами.

На пляже ржавел остов морской баржи, выброшенной после гибели обстрелянного буксира. Иногда к берегу прибивалась мина: народ разбегался по домам и ждал приезда саперов.

То и дело кто-нибудь да тонул. Вытащенного из моря утопленника непременно пытались общими усили-

ями «откачать»— воду действительно откачивали, однако я ни разу не видел, чтобы человек ожил. Что уж так отчаянно тонули? Трудно сказать: объяснение всякий раз давалось одинаковое — «дельфин защекотал». Дельфинов тогда у побережья держалось множество: возможно, по причине недопонимания человека они подвигались возвращать его в земную стихию, люди же, недопонимая дельфина, шли от страха ко дну.

В центре города стояла триумфальная арочка — небольшая, но вполне натуральная, сложенная из камней в честь стародавнего воинского успеха. У подножия ее на каменных лафетах возлежали две старинные пушки.

На высоком берегу, окруженные зарослями кизила и белой акации, сохранялись остатки старинной усадьбы: воротные столбы без ворот, постаменты без статуй, колонны без фронтона, крыльца и даже без самого здания.

В береговых осыпях попадались глиняные черепки — осколки греческих амфор.

Отец с матерью были тогда еще сравнительно молоды и любили друг друга. Но уже и в ту пору случались не лишенные тревожности разговоры, в которых отец просил ее оставить работу и сидеть с детьми, чтобы наконец «образовался хоть какой-нибудь дом». Однако вздор, благополучно внушенный ей в юности, осенял, как я теперь понимаю, все без исключения наиважнейшие ее шаги: просьбы отца наталкивались на возрастающее раздражение и в конце концов семья развалилась. ...Когда-то, в семнадцатилетнем возрасте, отрезав косу и повыкидывав из дома родительские иконы, матушка моя решительно ступила на стезю деятельности яростной и многотрудной: на знамени, которое она гордо несла через всю жизнь, аршинными буквами было начертано: «общественное»— для слова «личное» места недоставало. Обстоятельство это стоило ей в конце пути сомнений и разочарований.

Но Анапа находилась ближе к середине пути, там отец еще оставался с нами. Однако если сценки семейной обыденности тех дней смотреть на просвет, знак разрушения будет угадываться в них, как угадывается водяной знак на ассигнации или почтовой марке.

Для чего же дням этим суждено было запомниться? Уж не для того ли, чтобы однажды обнаружить, что

вся остальная жизнь умещается на них, как чашка на блюдце? И вправду: утопленники открыли мне ненадежность и хрупкость телесного бытия и одарили неразгадываемой тайной смерти. Ночные разговоры родителей завершились в некоторое время уходом отца, доброту и страдания которого я сумел оценить только тогда, когда его уже не стало, после чего, уверяясь, что иду нетореннлю тропой и творю нечто доселе невиданное, принялся с изумительною точностью повторять череду множественных его ошибок... Так козленок — скачет, кувыркается, валяется на свежей траве, наслаждаясь вольною волей, а потом вдруг обнаруживает, что воля и самостоятельность его привязаны к вбитому в землю колышку. Но теперь, кажется, почти все повторил и могу делать достаточно достоверные предположения о своей будущности. Развалины старинной усадьбы, триумфальная арочка и амфорные черепки столь трепетно изобразили прельстительность прошлого, что ушедшие времена сделались для меня с тех пор в высшей степени притягательными, а люди ушедших времен словно бы заключили со мною родство. Наконец, руины трехэтажного дома, полузасыпанная песком баржа, саперы на «студебеккерах»— печать войны коснулась и моих дней: легонечко, но коснулась, и печать эта несмываема.

Так во́т: обнаруживая, что жизнь наша, сколько ни крутись, ни фантазируй, ни своеобразничай, легко умещается на пятачке раннего детства, совершаешь благодатнейшее открытие, свет которого может озарить оставшиеся тебе часы и мгновения — до последнего. «Все — суета сует»,— учит древняя мудрость. «Не надо дергаться»,— говаривал примерно о том же мой отец, отродясь не читавший священных книжек.

СОДЕРЖАНИЕ

Шипов Я.

Ш63 Уездный чудотворец: Рассказы.— М.: Современник, 1990.— 302 с.

ISBN—5—270—00765—7

Герой рассказа «Уездный чудотворец» Иван Вакуров сорок лет проработал фельдшером в небольшой провинциальной больнице (сначала — земской, затем — районной). Не было в его жизни выходных, отпусков, да и вообще — покоя. Как всякий подвижник, он понимал свое назначение просто — отдавать, отдавать и отдавать.

Духовной стойкости человека, испытаниям, которым подвергается человеческая душа, посвящены и другие рассказы сборника.

Ш $\frac{4702010201-063}{М106(03)-90}$ 150—99 **ББК 84Р7**

ШИПОВ
Ярослав Алексеевич

УЕЗДНЫЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Рассказы

Редактор **В. А. Козаченко**
Художник **С. А. Астраханцев**
Художественный редактор **А. В. Дианов**
Технические редакторы **Е. А. Васильева, В. М. Котова**
Корректоры **Т. М. Воротникова, Т. Г. Люборец**

ИБ № 5579
Сдано в набор 25.05.89. Подписано к печати 04.01.90 А00804. Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура литер. Печать высокая с ФПФ. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 15,96. Усл краск.-отт. 16,38. Уч.-изд. л. 15,10. Тираж 50 000 экз. Заказ 448. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

К 100-летию М. А. Булгакова издательство «Современник» готовит выпуск шести сборников его произведений, куда войдут все известные повести, рассказы, романы, пьесы, фельетоны и очерки писателя. Перед читателем в хронологической последовательности пройдет вся творческая жизнь выдающегося художника слова.

В 1990 году выйдут первые три сборника.

В книгах «**ПОХОЖДЕНИЕ ЧИЧИКОВА**» и «**КОЛЕСО СУДЬБЫ**» собраны ранние произведения Михаила Булгакова.

В сборник **«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ** включены роман **«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»**, пьесы **«ДНИ ТУРБИНЫХ»**, **«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»**, **«БАГРОВЫЙ ОСТРОВ»**, **«БЕГ»**, неоконченная повесть **«ТАЙНОМУ ДРУГУ»** и вторая редакция пьесы **«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»** в качестве приложения.



рассказы
· рас
ска ·
· зы
рассказы
Рассказы


рас-
сказы
рассказы
рас•сказы
рассказы
рассказы